

Набрано
в типографии
Г. Гольдберг,
отпечатано
в типографии
Гемпель и Ко.
в октябре 1923
в Берлине

Adress list

Б Е С Е Д А

✓
E.C.

Ж У Р Н А Л
ЛИТЕРАТУРЫ И НАУКИ

ИЗДАВАЕМЫЙ
ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ

ПРОФ. Б. Ф. АДЛЕРА
АНДРЕЯ БЕЛОГО
ПРОФ. Ф. А. БРАУНА
М. ГОРЬКОГО
В. Ф. ХОДАСЕВИЧА

№ 3

С Е Н Т Я Б Р Ь - О К Т Я Б Р Ь 1923

Э П О Х А • Б Е Р Л И Н

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР
ФЕДОР СОЛОГУБ. Стихи	9
М. ГОРЬКИЙ. Рассказ о безответной любви . . .	15
ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ. Стихи	73
АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ. Россия в письменах. . . .	78
С. КИССИН. Крапива	161
СТЕФАН ЦВЕЙГ. Переулок лунного света. Перевод с немецкого	163
ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ. Поэтическое хозяйство Пушкина. (Продолжение)	183
ГОТТФРИД АВГУСТ БЮРГЕР. Ленора. Перевод Нины Берберовой	249
ЛЕВ ЛУНЦ. На запад!	259
ПРОФ. Ф. А. БРАУН. Заимствованные слова. . .	275
ПРОФ. ГЕОРГ ШТЕЙНДОРФ. Гробница фараона Ту- тенхамуна. Перевод с рукописи	320
ФРАНЦ ЭЛЛЕНС. Моральное и умственное состо- яние современной Бельгии. Перев. с рукописи	350
В. Е. ПЕТЕРС. Американская культура и американ- ская самокритика	368
ПРОФ. О. БАШИН. Научные заметки	380
БИБЛИОГРАФИЯ. В. Сеземан. С. Гессен. Основы педагогики.	385
Э. Эркес. Антология китайской лирики VII-IX вв. до Р. Хр.	405

*
Перепечатка, как всей книги, так
и отдельных статей воспрещается

*
Alle Rechte vorbehalten.

*
Copyright by «Epoche-Verlag».

*
Адрес редакции и конторы:
«Epoche-Verlag»
Berlin S. W. 68, Zimmerstr. 7-8.

*

Б Е С Е Д А

К Н И Г А Т Р Е Т Ь Я

Федор Сологуб

СТИХИ

Душа, судьбы необычайной
Тоску благослови,
И преклонись пред вещей тайной
Сжигающей любви.

— Ты только для меня! — сказал я
Возлюбленной моей,
Но я не знал, не понимал я
Тогда моих путей.

Сказалось роковое слово,
Спаялося в огне
Кольцо из милого былого,
Завещанное мне.

— Пылавшие во тьме сгорели, —
Сказала мне она,
— Тебе в земном твоём пределе
Я больше не нужна.

— Любовью сожжена безмерной,
 Я, смертью смерть поправ,
 Стезею вознеслася верной
 На росы райских трав.

— Прошла я путь необратимый,
 Не знаешь ты, где я,
 Но ты найди меня, любимый,
 И верь, что я — твоя. —

★

Под легкою мглою тумана
 Теперь обращается в когда-то.
 Сладостней нет обмана,
 Чем эта сказка заката.

Люди дневные, глядите-ж,
 Как мерцают золотые главы
 И таинственный город Китеж
 В сиянии вечной славы.

Горестна для сердца утрата,
 Не хочет оно быть торпеливым,
 Но не умерло то, что когда-то
 Верным воздвиглось порывом.

Стремитесь во мглистые дали,
 Не верьте, что время не обратимо, —
 В томлених творческой печали
 Минувшее не проходит мимо.

В неисчислимых обителях Бога
 Пространство и время безмерно.
 Не говорите, что сокровищ там много,
 Там все сохраняется верно.

★

Мой ангел будущее знает,
 Но от меня его скрывает,
 Как день томительный сокрыл
 Безмерности стремлений бурных
 Под тенью своих лазурных,
 Огнями упоенных крыл.

Я силой знака рокового
 Одно сумел исторгнуть слово
 От духа горнего, когда
 Сказал: — От скорби каменю!
 Скажи, соединюсь ли с Нею? —
 И он сказал с улыбкой: — Да. —

Спросил я: — Гаснут ли мгновенья
 В пустынном холоде истленья?
 Найду ль чертогов тех ключи,
 Где все псичет невредимо,
 Где наше время обратимо? —
 И он ответил мне: — Молчи, —

Уста, как пламенные розы,
 Таили острые угрозы,
 Но спрашивать я продолжал:
 — Найду-ль в безмерности стремленья
 Святую тайну воплощенья? —
 Он улыбался, но молчал.

★

На пастушьей дудке
 Кто бы так сыграл?
 По его погудке
 Всяк мальченку знал.
 Где бы в околodge
 Не раздался вдруг,
 Как с небесной лодки,
 Серебристый звук.

Как бы ни был занят
 Трудовой народ,

Всяк невольню станет,
 Песню запоет,
 И тоска не стонет,
 Сердце не щемит, —
 Голос друга понят
 И не позабыт.

— Это — пастушонок
 Генрих гонит коз. —
 Вот он, бледен, тонок,
 В рваном платье, бос,
 С полевых тропинок
 Сплел цветы в венок,
 Лютик да барвинок,
 Мак да василек.

И глядит, невинный,
 И поет, простой:
 — Знаю я, недлинный
 Путь передо мной.
 Мак мне шепчет сонный:
 «Небо там светлей».
 Ладан благовонный
 Веет мне с полей. —

Улыбаясь ясно,
 Запевает вновь:
 — Как земля прекрасна!
 Как мила любовь!

Утешайте, весны,
 Девушек земли,
 Чтоб фиалки росны
 Снова зацвели. —

На глазах слезинки,
 В песне сладкий смех:
 — Ранние росинки
 Ласковы для всех.
 Кто не знает лени,
 Радостно тому
 Встретить свет и тени
 И ночную тьму. —

М. Горький

РАССКАЗ О БЕЗОТВЕТНОЙ ЛЮБВИ

Проходя Театральным переулком, я, почти всегда, видел у двери маленькой лавки, в пристройке к старому, деревянному дому человека, который казался мне не на своем месте и лишним в этой узкой, темной щели города, накрытой полосой пыльного неба.

Человек или сидел у двери на стуле, читая газету, или стоял в двери, опираясь плечом о косяк, сложив руки на груди. Маленькая вывеска над его головою, черными косыми буквами говорила, что в лавочке продаются «Канцелярские принадлежности». За мутным стеклом окна были разложены пачки конвертов, блок-ноты и пестрые коллекции старых марок на квадратных картонах.

Иногда я останавливался перед окном будто-бы разглядывая покрытый пылью, выцветший, жалкий товар и, незаметно наблюдал торговца, а он сосредоточенно смотрел в окна дома против его, на старый ящик из кирпичей, обломанный временем, с извилистой трещиной в стене с двумя рядами тусклых окон, по четыре в ряд: карнизы их засижены голубями, в потоках голубинного помета и ржавая вывеска над окнами нижнего этажа.

«Портной Мучник».

Вероятно не менее сотни лет стоит на земле этот дом. И весь переулок — две унылые грязные ли-

нии таких же старых домов, плотно прижатых один к другому.

Человек — в длинном, очень потертом сюртуке, под сюртуком чувствуется сухое, но стройное тело; ноги — в разношенных ботинках, но видно, что ступня их мала, хорошей формы. Лицо густо обросло серой, аккуратно подстриженной бородкой, седоватые волосы удлиненного чепеа зачесаны за уши, маленькие и вырезанные четко. Волосы, должно быть, очень мягкие, они лежат плотно, точно склеены. В этой прическе есть что-то «интеллигентное», но она не гармонирует с длинным, сухим лицом и кажется, что благодаря именно ей хрящеватый, тонкий нос так подчеркнуто печально высунулся вперед. Странные глаза у этого человека: белки их синеваты, зрачки рыжего цвета, они прорезаны узко, взгляд их холоден, прям, но все таки кажется, что смотрят они вниз, в землю.

Я стоял у окна минуты по три и более, ожидая, что человек этот спросит, наконец:

— Что вам угодно?

Но он как будто не замечал меня, неподвижный, скрепив руки на груди, окруженный незримым облаком скуки, раздражавшей мое любопытство. Что сторожит он, о чем скучает?

В лавку его забегали гимназисты покупать марки для коллекций, он впускал их в дверь неохотно, говорил с ними кратко, как бы исполняя чужое, неинтересное ему дело.

И когда я вошел в его лавочку купить конверты, он меня встретил так же не любезно, завернул покупку, кратко сказал цену и скрепил руки на груди, явно ожидая скоро ли я исчезну.

— Давно торгуете?

— Давно.

— Глухое место?

— Да.

— Нет-ли у вас старинных монет?

— Не имею.

Более, чем ясно — этот человек не хочет говорить. Но мне попала на глаза открытка, — портрет женщины; прикрыв рот веером из перьев страуса, она сидела в широком кресле, глаза ее улыбались кокетливо, но, как будто иронически, лицо хмельное или очень капризное. Внизу открытки напечатано:

*«Ларисса Антоновна Добрынина,
известная артистка провинциальных театров».*

Еще открытка: та же дама в роли Офелии, со снопом цветов в руках, но глаза не безумны, а улыбаются той же непонятной улыбкой. Вот она в роли «Норы», «Марии Стюарт» и еще она, и еще. На всех портретах одна и та же улыбка кривит ее рот, большой, пухлый, резко отделяющий верхнюю часть лица от широкого и туповатого подбородка.

— «Лучше всего она — здесь! — внушительно сказал торговец, указывая длинным серым пальцем на портрет в кресле. — Это — мое издание! — добавил он с гордостью.

— «Никогда не слыхал ее имени», — сказал я.

Он пожал плечами, как бы обидясь.

— «Однако-ж она была весьма знаменита. Имя ее гремело».

Он назвал несколько городов, где артистка пользовалась «колоссальным успехом» и, с оттенком пренебрежения к моему невежеству, дал мне, избитыми словами газетных рецензий, характеристику ее таланта. Говорил он, закрыв глаза и как будто читая.

- Жива?
- Умерла.
- Давно?
- Девять лет.

Несомненно, это был какой-то чудак. Чудаки украшают мир. Я решил познакомиться с ним ближе, это мне удалось и вот что рассказал странный человек.

*

«Чтобы печаль моей истории была понятна вам, я должен начать ее издалека, с детских дней. Отец мой Клим Торсуев, известный мыловар, был человек тяжелого характера, нелюдим и в ссоре с жизнью, несмотря на богатство и удачу в делах. Огромного роста, редкой силы, волосатый, он ходил по земле наклоня голову, как бык и в некоторой слепоте от неведомой обиды, нанесенной ему. Можно допустить, что обида — от матери моей, она была дочерью майора Горталова, героя турецкой войны и когда мне было девять лет, а брату моему Коле — шесть, уехала от нас с одним знаменитым пианистом, и вскоре скончалась где-то за границей. Я ее помню в костюме русалки, всю в зеленых лентах, в цветах, черные волосы распущены до талии и на голове — роса из бриллиантов. В этом виде она спросила меня: «Хороша я?» И когда я сказал: да, очень хороша! — она ласково ударила меня по лбу, говоря: «Вот видишь, а ты меня не слушаешься, не любишь». Я обещал слушаться, но на Пасхе она уехала».

Мы сидели в углу маленькой, темной комнаты у стола, на нем, в серебряных подсвечниках горели две свечи и в старинном графине колебалось рубиновое пламя вина. Тесно и душно в комнате, стены ее покрыты, как серой плесенью, пятнами фотографий, в углу жарко

натоплена изразцовая печь, к ней прислонилось широкое кресло, в кресле сидит этот человек, вытянув ноги, скрестив руки на груди, глядя на желтые цветы двух огней. На узенькой двери в другую комнату, должно быть спальную, висит гитара, гриф ее украшен лентами. Против окна на улице горит фонарь, его осыпают стеклянные стрелы дождя, мутный масляный свет фонаря, проникая сквозь мокрое стекло окна, тускло освещает большую раскрашенную фотографию артистки Добрышиной, фотография, в черной с белым траурной раме, стоит на мольберте, рама увенчана серебряным венком — лавры и пальмовый лист.

Во всем, что наполняет комнату чувствуется нечто давно отжившее, какое-то сухое тление; все вещи источают тот странный запах, который дают цветы, высушенные временем до того, что когда коснешься их, они рассыпаются серой пылью. Сухое тление слышится в ломком голосе человека. Речь его почти лишена оттенков, говорит он точно читая, слова падают заученно и легко, напоминая грустное падение побитых морозом листьев дерева, опоздавшего сбросить свой летний убор.

— «Восемнадцать лет отец жил вдовцом, в доме у нас не было ни одной женщины, кроме старух: горничной и кухарки. Нашей детской жизнью он, угрюмый, не занимался. Восемнадцать лет я и Коля слышали, чаще всего, сердитый вопрос:

— «Это зачем?» Очень пугал он вопросом своим, как бы стену воздвигая между собой и нами; росли мы прячась от него. В доме у нас было семь комнат, одна другой темнее и среди множества разной мебели, очень удобно было прятаться. Меня он отдал в городское училище, но дальше учиться запретил, сказав:

— «Довольно! Привыкай к делу».

«А Коле, который был слабее меня, позволил кончить гимназию и даже допустил в университет по математическим наукам и химии».

— «Умер он в полноте сил и неожиданно; в жаркий день июня возвратясь домой после крестного хода, выпил домашнего пива со льдом и на пятые сутки лежал в гробу, разбухший, сложив деловые, волосатые руки на вздутом горою животе. Был неописуемо страшен: сердитое лицо его ошетилося рыжими волосами, как бы налилось таким, знаете, синим гневом, и казалось мне, что сейчас, вот, он крикнет хрипло судьбе своей:

— «Это зачем?...» Работу на фабрике остановили и в доме стало так же тихо, как в праздничные дни Пасхи или Рождества. Началась непривычная суета, прислуга топала и шаркала ногами шумно, говорила громче, я видел, что все довольны смертью отца и со стыдом чувствовал, что сам я тоже доволен. При жизни его в доме у нас только мухи жили свободно и могли жужжать полным голосом. Отец шагал по комнатам тихо, всегда прислушиваясь к чему то, чего-то ожидая и если ктонибудь неосторожно хлопал дверью, — это очень сердило его. А теперь только Коля, юноша чувствительный, говорил вполголоса, как привык при жизни отца и двигался так же тихо, точно опасаясь разбудить уснувшего на веки.»

— «Возню какую подняли, — обиженно говорил он. — Как будто обрадовались».

— «Что же — говорю — Коля, обижаться? Ты знаешь — его не любили. Никто не любил.

— «И ты? — спрашивает.

— «И ты, — говорю; — я человек прямой.

«Промолчал он, сидя у открытого окна, а в окно лез густейший запах кислот, гниющего жира, мыла и запах этот сопровождался необычным шорохом: дворник наш, кривой татарин Мустафа, шаркал метлою по земле пропитанной жирами, утоптанной до твердости асфальта. Раньше, в непрерывном шуме работы на фабрике, этот звук был бы не слышен, — неприятный и эдак, знаете, вычеркивающий звук.

«Коля, высунувшись из окна, сказал:

— «Перестань, пожалуйста, Мустафа!

«И говорит мне:

— «Он выметает память об отце. Ты разве забыл, что нельзя мести, когда в доме покойник?

«Утешаю его: теперь, говорю, мы с тобой начнем жить легче. Я стану работать, ты — учиться. Тебе не нужно будет просить рубль на театр и никто не крикнет тебе: это зачем? Пусть, говорю, это нехорошо, но мне отца не жалко. Я не актер, фальшиво плакать не умею. А, вспомни, говорю, как мы с тобой, неделю тому назад, ночью, едва не плакали от обиды? И сколько было таких обид!

«Он, глядя в небо, говорит:

— «Какое небо бесцветное и жесткое, жестяное... А фабрика наша и вся земля — как ржавчина и грязь на жести.

«Такие мысли часто являлись у брата и необычность их очень нравилась мне. О земле он говорил всегда с печалью и жалобно, как больной о теле своем. Но был здоров, хотя тоненький, хилый и такой, знаете, нежный, девичий румянец на щеках. Волосы темные, волнистые, черные глаза его смотрели на все недоверчиво и как будто удивленно. Учился играть на рояли втайне от родителя и вообще имел в себе что-то тихое, музыкальное.

«Говорю ему:

— «Самое лучшее, Коля, чего достиг отец при жизни — это наша братская дружба. Тяжелому его характеру обязаны мы тем, что он притиснул нас вплоть друг к другу, мы крепко и взаимно любим один другого, я желаю, чтоб эта любовь так и осталась на всю нашу жизнь. Хотя я и старше тебя, но знаю, что неуч рядом с тобою. Ты живешь другой жизнью, чем я, мысли у тебя свои и тебе приятна игра воображения. Вот, сейчас ты о небе сказал, а я не могу сказать так, не умею. И часто бывает: не понимаю я, о чем ты говоришь и почему?

«Тут он спросил, как виноватый:

— «Что-же я говорю особенное?

— «Не перебивай меня! Вот, говорю, ты жалеешь и любишь землю, как плоть твою, а я хожу по ней вполне спокойно. Я не воображаю себя другим человеком, я осужден жить в том образе, каков есть. Я думаю только о фабрике, о делах, о невесте моей. Боюсь я, что тебе будет скучно жить со мной и разведет нас эта скука по разным дорогам. А ты — еще мальчик, характер у тебя не окреп, время же теперь — трудное, студенты волнуются. Тебя могут втянуть в опасную политику и ты погибнешь, подобно многим. Вот, я люблю невесту мою, но когда подумаю, что войдет к нам она женой моей и я должен буду отдать ей часть жизни, — я боюсь. Жена моя может не понравиться тебе. И вообще правильно говорят: «Женщина в семью, как клин в дерево». Потом — пойдут дети. А как-же ты? И, вот, Коля, решаю я подождать жениться, чтоб ты не потерял меня...

«Он печально говорит:

— «Не желаю я, чтоб ты приносил себя в жертву мне.

«Именно так и сказал. Но я говорил еще и еще, все весьма убедительно и кончилось, как я того хотел: обнялись мы крепко и дали друг другу клятву не разлучаться ни в каком случае жизни и никогда ничего не скрывать друг от друга. Сознаюсь, тут, видите, кроме действительной любви к брату и некоторый расчет был: двенадцать лет жил я как зоологический зверь в клетке, ничего кроме мыловаренного дела не видя и не понимая. Я даже в городе редко бывал, там дела вел отец. А Коля через два, три года, обещал быть ученым химиком и, потом, имел он черту тихого такого упрямства, мне казалось, что эта черта тоже обещает много. Он читал серьезнейшие книги, даже на иностранных языках, говорил о политике и вообще очень интересно разбирался в суматохе жизни. Могу сказать, что жизнь занимала его мысли в той же мере, как фабрика — мои, иными словами: Коля относился к жизни, как к своему хозяйству. И, не скрою, что это было несколько смешно, несмотря на серьезность слов. Я сообразил, что ведь невеста от меня не уйдет, она была весьма влюблена, а брата, который умнее и делу нашему полезнее, я легко могу потерять. Но, — прежде всего, я любил Колю...»

Все время человек говорил одностонно, как бы читая псалтырь и глаза его были закрыты. Но тут он открыл их, — они были красны, полны слез и тоски.

«Я его любил! — повторил он, выпил стакан вина и, вытирая глаза платком, продолжал более оживленно.

— «До конца сентября, до начала театрального сезона, мы с Колей прожили незабвенно хорошо, в тесном единении и откровенных беседах, хотя Колю начали посещать товарищи. Один из них, Богомолов, медик из семинаристов, был неуклюжий, грубоватый, громогласный парень и такой, знаете, назойливо умный. Есть люди, у ко-

терых вместо души популярная библиотека, — он был из этого племени. Он с первого раза не понравился мне, потому что пришел со словами о свободе, свобода же, сударь мой, есть фальшивая иллюзия. Я почувствовал это тотчас же после смерти отца, когда фабрика начала работать и жизнь моя пошла неизбежной своей тропой. При жизни родителя я был свободнее, хотя и в плену его власти, а умер отец и — стало ясно, что свобода налагает нестерпимую ответственность за каждый вздох души. А г. Богомоллов начал утверждать и проповедывать, что человек совершенно свободен, существует сам для себя, он — есть круг, в коем сходятся все начала и концы, и весь мир, вся жизнь в нем, внутри его, — явная нелепица! В Бога же г. Богомоллов, отрицая свою фамилию, не веровал и все его умствования были бесцельнее полета стрижа, который мечется над землею по воздуху, ловя невидимых мошек, — стало быть: преследует свою цель. Я, конечно, пытался доказать г. Богомоллову, что его совершенная свобода есть сущая и совершенная бесцельность, но он, будучи сыном протоиерея, проповедывал с большим умением и, конечно, загонял меня в угол. Он показался мне очень опасным для Коли. Узкогрудый и тоненький, с девичьим румянцем своим, Коля стал еще более юным и беззащитным около этого гривастого, темного попovichа; речи его о свободе Коля слушал доверчиво и почтительно. А я уже тогда предчувствовал, что человек и во сне не свободен и даже неподвижность камня не есть свобода, ведь и камень существует до времени, пока его не изотрет в песок. Каждый человек — раб и пленник разнообразных обстоятельств жизни, Дьявол — раб своей злобы, а Господь Бог, — если он существует — раб деяний своих, недоступных разуму человека. Вот мои мысли о свободе!»

От рассказчика по комнате как будто разлеталась сухая и едкая пыль насмешливого раздражения; в каждом слове я чувствовал торжествующую убежденность человека, которому жизнь любезно пыталась оправдать и укрепить схему его мысли достаточным количеством фактов. В этом отношении жизнь неистощимо милостива. Огни свеч отражались в его рыжих зрачках золотыми искрами, синие белки стали теплее, он приподнял тонко очерченные брови и на его сухом лице явилось выражение самодовольного уныния.

— «Я всю жизнь занимался одним делом и у меня, поэтому, очень хорошая память, все прожитое я вижу как бы написанным на стене,» — продолжал человек, кивнув головою в угол.

Там, на круглом столике в бронзовой вазе торчал букет высушенных цветов, они казались вылепленными из какой-то грязноватой массы, формы их были уродливы и только внимательно рассмотрев их, я понял, что это цветы.

— «Кроме Богомоллова, который смешно называл себя пишеанцем, ходил к нам еще студент Павлов, сын почтмейстера. Этот был более приятен; маленький, худой, с мордочкой и бородкой козла, он имел в себе что-то шутовское, от клоуна и, желая скрыть это качество, носил золотые очки. Был очень шумен, все, чего касались его легкие руки — посуда, мебель — стучало особенно громко. Говорить он мог только о театре и, несмотря на явное его легкомыслие, печатал в газетах рецензии о спектаклях. Он знал актеров всей России и когда был опубликован состав новой труппы городского театра, смешно волновался:

— «Л. Добрынина? — кричал он. — Не знаю, никогда не слышал. Л? Любовь? Людмила? Лидия? Как вы думаете?

«До начала сезона он не успел познакомиться с Лариссой Антоновной, потому что пьяный, вывалившись из саней разбил себе голову о тумбу. Давно уже помер человек этот, но я до сего дня недоволен им. Есть на земле особенные человечки, сам по себе такой человечек как будто и не плох, но вашей душе напоминает только плохое. И сидя с такими вы чувствуете, что он чем-то будит именно дурное ваше. Да и вообще — удивительные люди водятся на Руси, люди как-бы нарочно рожденные для шумного занятия пустяками. Особенно много таких людей вокруг театра. На первый спектакль я с Колей взял билеты во втором ряду кресел, прилежся и Павлов, с завязанной головою».

Человек шумно вздохнул как-бы готовясь поднять тяжесть, выпил вина и снова закрыв глаза, долго укладывал руки на груди; пальцы рук странно шевелились.

— «Шел «Гамлет». И вот явилась на сцене Офелия...»

Открыв глаза человек строго проговорил:

— «Должен объяснить, что театр не правится мне. Это какая то торговля человеческой душой в розницу, по мелочам; выставка не искусно придуманной игры фальшивых чувств или же — осмеяние людей, которые только потому кажутся смешными, что живут простодушнее других. До этого дня я был в театре не более десяти раз и всегда уходил из него с таким чувством, как будто меня хотели обмануть, но — не удалось! Я не заметил, когда выпла на сцену Ларисса Антоновна, но услышав новый голос, взглянул: стоит Офелия и смотрит на меня с удивлением и такой, знаете, нерешительной улыбкой. Бывает, иногда, на рассвете, — в темноту комнаты пробьется сквозь щель ставня или занавесь жемчужная ниточка солнечного луча в такой ощутимости, что, кажется, можно

взять рукою этот милый луч. И вот так-же ощутимы показались мне лучи глаз Лариссы Антоновны. А голос ее сочен, глубок, голос женщины, хотя говорила она жалобно и робко, как подобает девушке Офелии, безответно влюбленной. Пред нею стоял нахалом Гамлет, в черном весь, как трубочист, изображал его известный тогда Аяров.»

Человек впервые усмехнулся, обнажив белые, плотные зубы.

— «Об этом Аярове стишки злые помню:

И со свистом, сквозь зубы он прочитал:

— Как свеча из воска ярого
От жары уныло топится,
Так и от игры Аярова
Зритель, с горя, в Волге топится!
Если ж Кином он прикинется,
Из архива им же вынутым, —
Вместе с Кином опрокинутым,
И смысл здравый опрокинется!

Прочитал, потемнел и продолжал тихо и медленно:

— «Не могу рассказать, что испытал я в тот вечер, но скажу — пусть это кощунственно — я, как будто впервые причастился святых тайн красоты. Хотя это не мои слова, их кричал в антракте Павлов, он вообще говорил храбро, неоглядываясь на смысл речи. В театре он становился подобен пьяному, а в этот вечер особенно живо хватал легкими руками людей за пуговицы, лацканы, рукава, неистовствуя, как подкупленный:

— Очарование! Талант! Божественная красота!

«После сцены сумасшествия он даже плакал, а потом потащил меня и Колю в уборную к Лариссе Антоновне. В уборной он весь рассыпался словами, целовал руки ей и вообще вел себя театрально, как принято в их быту. Я

видел ее такой же, как на сцене, с той же улыбкой на лице и те же лучи глаз, — глаза у нее были синеватые, спокойные, с улыбкой в глубине, а рука — сухая, горячая.

«Слушая Павлова, она смеялась негромко и как бы не веря похвалам его.

— «А вам я нравлюсь? — спросила она.

«Я думал — это она меня спрашивала и хотел достойно ответить, но услышал тихий голос Коли:

— «Да. О, да! — сказал он.

«Тут я почувствовал, что некоторое время брат был забыт мною, хотя мы стояли рядом. Это очень сконфузило меня, а восторг Коли — встревожил. Я увел его, в театре была моя невеста, дочь крестного отца Коли, мы пошли к ней. Она была барышня образованная, училась два года на курсах в Москве и тоже — театралка. Миловидная такая, здоровая и веселая девушка, с румянцем во всю щеку и с большим пристрастием к сладкому. Ей Ларисса Антоновна не понравилась:

— «Женщина оригинальной красоты, но ведь она не умеет играть, ходит по сцене для себя и точно ищет похвалу...»

«В этом было что-то верное, я тоже вспомнил, что Ларисса Антоновна, часто опускала глаза и, как будто, не туда идет, мимо людей. Коля начал спорить с невестой моей, а я, будучи наслышан о свободном поведении актрис, подумал, что наверное увлечется он Лариссой Антоновной и это потребует значительных расходов на подарки ей.»

Строго, точно обвиняя меня в чем-то, человек сказал:

— «Но — я подумал об этом потому что... хотел скрыть другую мысль, да-с! Прошу вспомнить, что оба мы воспитывались без женской ласки. К тому же, несмотря на

мои годы, я был человек сдержанный из боязни постыдной заразы. Была одна слободская девушка, швея, приятная мне, но в скорости погибла от укуса бешеной собаки. Около нашей фабрики довольно часто собаки бесились. Таков был я, а Коля — совершенно чистый девственник. И мне надлежало служить вождем его судьбы. Понимаете?»

Но закрыв глаза, он покачал головою, тихо говоря:

— «Все это — не так, не так...

И помолчав продолжал обреченно, точно против воли:

— «Когда я с Колей ехал домой, он, всю дорогу, улыбаясь молчал и мне было понятно: молчит он о том же, что и я. Дома, за чаем, мы разговорились как всегда, сердечно и я прямо сказал брату, что хочу искать благосклонности у Лариссы Антоновны и вполне надеюсь на успех. Сказал я это нарочно в самых грубых словах, но, конечно, никаких надежд не питая и не думая о них. Он рассердился на меня, чего я ожидал, рассердился и с большим жаром стал говорить о прекрасной душе женщины, говорил книжно и, отчасти даже стихами. Разумеется, я высмеивал его речи, хотя они были приятны мне, и завидовал я красноречию Коли. Сердитый, он ушел спать. И я тоже лег, но, среди ночи, встал и долго молился, — тогда я был уверен, что Бог — есть и несчастья людей не угодны ему. Молился я о том, чтоб все это — Ларисса Антоновна, Колино увлечение и смута в душе моей, — прошло как сон. Ночь, помню, была лунная и очень были собаки...

— «Н-ну-с, через день мы снова поехали в театр. Ларисса Антоновна играла «Даму с камелиями». Это пьеса неприятная, как вы, конечно, знаете, в ней все рассчитано на возмущение души жалостью. Но и в ней Ларисса Антоновна затмила всех неподражаемой своей красотой. В ме-

стах особенно рассчитанных на жалость, я ей не верил, но когда она говорила обыкновенные, житейские слова, я вспомнил оценку невесты моей: да, Ларисса Антоновна человек для себя, а не для театра! И это было приятно мне. Нравилась мне в ней такая, знаете, ленца движения и слов. Так жить может только человек очень серьезный, независимый. И мне показалось, что изображать таких женщин, как эта, с камелиями, Лариссе Антоновне не подобает, не достойно ее. Коля печально шептал мне:

— «Не ее роль. Скучно играет».

«В антракте мы с Павловым пошли к ней, но она переодевалась и, не пустив нас в уборную, пригласила, сквозь дверь, на новоселье к себе. Квартиру она сняла, здесь, напротив».

Человек махнул рукой на окно: за окном осень — неустанно сеяла дождь, в его тонких, стеклянных нитях огонь фонаря, вздрагивая шевелил желтыми лучами, как большой, жирный паук.

— «Ну-с и вот — новоселье. Первый раз в жизни попал я в табунок людей никогда невиданных. Знакомых — только один полицмейстер Маметкулов, человек кавалерийский и сам весьма похожий на старого коня. Все очень необычно, столы, например, были поставлены из угла в угол комнаты и от этого образовалась лишняя теснота. Цветы не в вазах, а рассыпаны по столу, прямо на скатерть. Ну, и многое другое, не говоря о речах. Меня и впоследствии всю жизнь удивляло в каждом собрании образованных людей буйство мысли и слов, причем каждый старается упрямо доказать как можно скорее и решительнее свое разномыслие со всеми другими. Не знаю более неприятного легкомыслия, как эти разговоры о смерти, Боге и любви. Семнадцать лет непрерывно слушал я

это блудословие языка и не мог привыкнуть к нему. И вовсе это не мудрость, а простое засорение ума. Больше всех шумел Павлов, он, в этой тесноте вел себя хозяином, как механик на фабрике. Была разыграна беседа, очень памятная мне по участию в ней Коли, — участию неожиданному для меня. Ларисса Антоновна сидела в центре общего внимания гостей, в переднем углу под образом, одета в темно красное платье, украшена цветами, пышная и волшебная, вся точно в огне. Рядом с нею — комик Брагин, человек очень богомольный и, как потом оказалось, негодяй. Был он весьма неприятен образом — костлявый, желтый, курносый, с провалившимися глазами и вообще похож на картинное изображение человеческой смерти. Он и начал разговор сожалением, что нет пьесы, героем которой был бы Христос; очень, говорит, хочется мне сыграть Христа. Ларисса Антоновна с живостью откликнулась:

«А я бы сыграла Марию Магдалину!» Тут вмешался Маметкулов, пожалев, что религиозные пьесы запрещены театрам, и долго доказывал, что народ, ныне теряющий веру в Бога, мог бы оживить веру эту через театр. Вообще — не стеснялись словами.

Вдруг я услышал тонкий и горячий голос Коли; он сидел далеко от меня:

— «В Бога верят люди злые и неискренние».

«Это настолько неприятно оггло меня, что я едва удержался, хотелось шикнуть на него, так знаете: шш! Разумеется, его неосторожные, форсистые слова вызвали большое возмущение, многие обиделись даже, а Ларисса Антоновна, удивленно приподнялась, спрашивая:

— «Как? Почему? Объясните!»

— «Я, говорит — объяснить не могу, но я так вижу и чувствую».

«Конечно, его высмеяли и Брагин начал рассказывать смешные анекдоты о евреях. На мой взгляд очень много способствуют травле евреев актеры, анекдотами своими. А между тем еврей необходим в жизни, как соль и перец. Заметил я так же, что из всех пьющих людей актеры напиваются наиболее неприятно. Очень забавно и противно видеть, как люди фальшивого ремесла, перестав притворяться, обнаруживают истинное свое ничтожество и пустоту души. И вот, когда они достаточно выпили и естественный надзор незнакомых людей друг за другом ослаб, — я выспросил Брагина: кто такая Ларисса Антоновна? К моему недоумению оказалось, что она довольно богатая женщина, помещица, муж у нее овцевод на юге, но она разошлась с ним, по причине влечения к театру. Играет всего второй год, дело свое любит, к мужчинам, пока, равнодушна. И приятно, и неприятно было мне слышать это. А Брагин говорит, усмехаясь, как бес:

— «Если вы беспокоитесь на счет дамских нежностей, так обращаю внимание ваше на Стрешневу водевильную; бабочка молодая, сочная и признает свободу действий.

— «Нет, — говорю — я не заинтересован в этом, а вот, брат у меня...

— «Ничего, — говорит — она и родным ей братом не презрывает, ежели он достаточно тароват...»

По переулку, сквозь дождь проехала карета, лучи ее фонарей тепло погладили мокрые стекла окна. Потом снова стал слышен удручающий шорох капель, унылый шум осенней ночи и желтый паук фонаря снова начал плести стеклянную паутину. Человек пристально посмотрел в окно и продолжал тихо сыпать сухую пыль слов, помогая осени творить на земле уныние и печаль.

— «Видя, что Брагин этот — негодяй, я, конечно, прекратил беседу с ним, но заметил, что он, подойдя к толстенной Стрешневой, подмигивал ей на Колю, а она была Брагина цветом по носу, Коля же горячо разговаривал с Лириссой Антоновной, а Маметкулов кричал на него:

— «Не понимаю молодежь, которая занимается политической, религией и вообще — вопросами! В Париже молодые люди просто учатся, просто любят и все вообще — человечески просто.

«Ларисса Антоновна сидела, нахмутив брови, играя вечером, лицо у нее было недовольное. Павлов, встряхивая козлиной головой говорил, точно дьячок:

— «Мы, Русь, — еловая арфа мира, мы откликаемся на каждый вздох человечества.

«Колю подхватила под руку Стрешнева и увела в другую комнату, но когда я с ним ехал домой и спросил его: как нравится ему эта веселая дама? — он ответил неприятно:

— «Дура и нахалка. А ты, говоря о Лариссе Антоновне грубо, ошибаешься, она очень хороший человек и душа ее в тревоге о серьезном...

«И дома он говорил о ней удивительными словами; никогда не слышал я таких слов и мне было печально от зависти, что я не умею говорить о женщине так возвышенно. И — скажу прямо — жутко было думать: а, что, если Лирисса Антоновна слышала бы Колину хвалу?

— «Ты — говорю — всего второй раз видишь ее.

— «Но, разумеется, эти слова — капля воды в костер огня. Кратко говоря — влюбился Коля. Он стал завсегдатаем театра и, в то же время, все ближе сходил с нищенцем этим, с Богомоловым, тот уже каждый день шагал по комнатам у нас, встряхивая лошадиной гривой и кар-

кал, каркал. Брал деньги у Коли, которому я положил на расходы сто в месяц. Конечно я видел, что все это не приведет Колю к добру.»

Человек встал, подошел к двери, остановился перед нею и, минуто, слепо смотрел на гитару.

— «Это инструмент Лариссы Антоновны, но играла она на нем плохо...»

Потом, махнув рукою, возвратился к столу, выпил стакан вина и расслабленно опустился в кресло.

— «Решил я братски поговорить с ним:

— «Помнишь, — говорю, — как после смерти отца мы с тобою поклялись ничего не скрывать друг от друга?

«И, вдруг, слышу ответ чужого человека; враждебный мне ответ:

— «Да, помню! Я — говорит — тогда же догадался, что ты хочешь встать на место отца и заставить меня жить по твоим законам. Я этого — не хочу. Но тогда у меня не хватило характера прямо сказать тебе об этом. А теперь я говорю: мне противна вонючая наша фабрика, стыдно, что у нас рабочие живут в грязи и чем то отравляются. В газете про нас написали жестокую правду.

«Говорил он с полчаса, непрерывно, со всей силой юности и неведением жизни. Заявил, что когда наши рабочие бастовали, он продал за шестьсот рублей часы золотые, отцов ему подарок, по случаю окончания гимназии, и деньги эти отдал Богомолу, собиравшему на поддержку стачки.

«Это меня точно камнем ударило, хотя и смешно было знать, что хозяин поддерживает стачку своих же рабочих. Конечно это — детское, но все таки...

— «Коля — говорю — веришь ты в мою любовь к тебе?

«А он:

— «Я не любви хочу, а свободы...

— «Коля, ведь я же понимаю, что ты влюбился в Ларису Антоновну и все идет от этого...

— «Это — говорит — никого кроме меня не касается.

«Тут я, единственно потому, что желал вытравить из него преждевременную эту любовь, допустил некоторое искажение действительности:

— «Ты — говорю, опоздал, милый, потому что с Нового года Ларисса Антоновна живет со мной.

«Конечно, это показалось ему очень больно, он даже отшатнулся, как будто у него зуб вырвали. Побледнел, смотрит на меня растерянно, губы дрожат, ложку серебряную согнул вокруг пальца, шепчет:

— «Нет. Не правда. Не может быть.

«Но я придумал убедительные подробности и Коля поверил мне, встал и молча, боком как-то, криво, оглядываясь на меня ушел к себе. А я испугался: то ли делаю, так ли?

— «Это было уже в конце сезона, в то время у меня с Лариссой Антоновной установились отношения доброго знакомства; почтительно любуюсь ее необыкновенной красотой, я никаких вольностей не смел позволить себе, а так как в дело ее антрепренера, она вложила солидную часть своих денег, я следил, чтоб не обобрали ее, она же охотно пользовалась моими советами, уважала мой серьезный ум и прямодушие моего характера. Решил я спросить ее совета на счет Коли и, приехав к ней в полдень, когда она пила утренний свой кофе, сказал, что — вот, мол, брат мой, юноша, любит ее и спросил: как она думает об этом заблуждении? Она, сначала, пошутила:

— «Вы, — говорит — в какой роли выступаете — сватом брата вашего или соперником ему?

«Но тотчас же нахмурила брови и сердито блестя прелестными глазами, с досадой заговорила, что с нее довольно любви мальчиков, стариков, военных, штатских, полицейских и революционеров.

— «Поймите — говорит — я хочу серьезно заниматься своим делом и ничья, никакая любовь не соблазняет меня.

«Сидела она, поджав ноги под себя, на диванчике, в малиновом, бархатном капоте — она очень любила бархат! — на бархате серебряные, с финитью, старинные застёжки, волосы распущены, — волосы у нее изумительно го обилия и густоты! Смотрит на меня отталкивающими глазами и говорит:

— «Не мешайте мне. Скоро я уеду за границу, летом буду играть в Липецке, и тем временем брат вылечится от детской болезни. В его годы — это легко проходит.

— «Ну-с, я был очень успокоен. Сам я, конечно, уже и тогда любил Лариссу Антоновну, но тогда это еще не было известно мне. Теперь я знаю, что полюбил ее с первого удара глаз. Сразу. Это — бывает при несчастных случаях. Они — всегда — сразу.»

Он замолчал и, пользуясь паузой, я спросил:

— Действительно, — красива была она?

— «Разве не видите?» — строго сказал он, кивнув головой на мольберт и поучительно добавил:

— «Для других, может быть, и не так красива, но каждый из нас любит самую прекрасную женщину... На первой неделе поста она уехала, поручив мне все свои дела. Уехала. В цветах, провожаемая восторгами поклонников.

«Один из них, товарищ прокурора, сказал мне, с завистью:

— «Счастливец вы.

«Счастье же мое заключалось в том, что однажды я, осмелись до слепоты в глазах, поцеловал ей руку. Колю,

когда он провожал ее, она совершенно напрасно, поцеловала в лоб, сказав:

— «Живите счастливо, юноша.

«И вот, остался я с Колей. Он сидел дни и ночи у себя наверху, за книгами, похудев, печальный. С ним — Богомолов. Как-то, за вечерним чаем, я спросил:

— «Коля, ты сердился на то, что судьба улыбнулась мне?

— «Нет, — говорит — не сержусь, но мне тяжело, потому что я чего-то не понимаю...

«Я, кажется, говорил, что в нем была черта упрямства? За эти месяцы, он как-то незаметно вырос, стал тверже. И еще более книжным. Говорить с ним стало мне труднее. Так, в некотором отчуждении, мы прожили до лета, а когда, в июне, Ларисса Антоновна приехала в Липецк, Коля тотчас же отправился к ней. Я прожил шесть суток в тихом отчаянии, по ночам у меня волосы на висках шевелились от страха. Я знал, чего боялся. Так и вышло: на шестой день Ларисса Антоновна прислала мне письмо, слова в нем торчали иглами и даже от бумаги шел презрительный запах. Она писала:

«Ваш брат сказал мне, что вы хвастались пред ним, будто я живу на содержании у вас. Отвечайте не медля: говорили вы это? Отвечайте, как честный человек, каким я вас считаю». Как честный человек я не мог ответить. Я уже, ради ее, отказался от девушки, невесты, которая любила меня. Из-за нее я потерял любовь к брату и чувствовал, что вся моя жизнь подорвана, покачнулась. Я ответил по телеграфу одним словом: нет».

Человек поднял руку вверх, как это делает свидетель на суде, принимая присягу, и твердо, с глубоким убеждением сказал:

— «Уверяю вас — ответить иначе я не мог! Понимаете? Не мог».

Синие белки его глаз налились влагой, он смотрел на меня тупо, как слепой, растирая пальцами горло, дважды, точно собака, щелкнул зубами, потом, покапливая, продолжал сипло:

— «Я думал, ожидал, что Коля... сделает чтонибудь... Думал, что Ларисса Антоновна тоже... например — соблазнится его юностью. Но он, через два дня, прямо с вокзала явился ко мне в контору, не раздеваясь, фуражка на затылке, точно пьяный, но прямой, как солдат, страшно близко подошел ко мне и сказал:

— «Петр, ты — мерзавец.

«Тогда я закричал ему:

— «Послушай, ведь я тоже, — пойми ты меня! — я тоже люблю ее. Ведь, вот я уже и не ждал тебя, думал — застрелишься ты и — не боялся этого, не жалел. А — я, ведь, люблю и тебя, брат, поверь! Но если навождение это не одолжимо, — что-же мне делать?

«Он снял фуражку, сел и смотрит на меня, потемнев; видно мне, что испугался он, убито мигают глаза его. Я говорю:

— «Ты красив, ты умнее меня, тебе легко любить, ты можешь говорить о женщине убедительно, ты ко всякой дойдешь. Ты любишь воображением ума, а я — всей плотью, всей душой...

«Он встал и запер дверь конторы. Подошел ко мне, суровый, я думал — ударить хочет, но он только взял за плечо меня, встряхнул.

— «Вот как? — говорит. — Понимаю. Но — как же теперь мы будем жить?

«Прижался я головой к руке его.

— «Не знаю....

«Но была уже радость в душе у меня; чувствую, что он сильнее, лучше меня, это я всегда знал, но в тот час — особенно ясно стало. Явилась надежда, что с ним у меня все обойдется благополучно.

— «Не знаю, говорю. — Ты меня умнее.

— «Зачем ты, — спрашивает — оболгал и ее, и меня?

«Ну, я не мог объяснить это, я уж сам не понимал — зачем? Он стал ходить по конторе говоря, что надо ему уехать на время и перевестись в другой университет, но я прошу:

— «Нет, этого ты не делай. При тебе мне, все-таки, стыдно, а без тебя я запутаюсь. Она в делах ничего не понимает, а я не могу ни в чем отказать ей.

«Он усмехаясь, спрашивает:

— «Но как-же теперь буду я, ошельмованный тобою?

«Конечно я выпросил у него прощение и решили мы сказать Лариссе Антоновне, что я шутил, а он меня не верно понял и юношеская горячность его неосновательно возмущилась.

— «Ну, хоть так, — согласился Коля и братски пожалел меня:

— «Ах, ты... Не думал я, что ты такой хитрый азиат. Хотя — не очень хитрый, не очень.»

И снова подняв руку точно для присяги, человек сказал внушительно:

— «Прекрасный юноша был брат мой. Честнейший юноша, великой души! Уж это я знаю...»

За окном дождь все плел свою сеть, у фонаря оставилась черная осклизлая фигура, подняла толстую ногу и сняв галошу, стала колотить ею по столбу. Дрожал в стеклянной паутине огненный паук.

Выпив вино, не охмелявшее его, человек продолжал ломким голосом, приподняв плечи, крепко скрестив руки на груди.

— «После этого мы с Колей начали жить так, как будто только что познакомились. Часто, по ночам беседовали о разных разностях жизни и Коля все больше удивлял меня обилием и печалью необыкновенных мыслей. Глаза у него стали ярче от худобы лица и синих пятен в глазницах, а в лице явилась такая, знаете, серьезная прозрачность.

«Чаще всего он говорил о том, что жизнь построена по форме пирамиды и хотя основание ее широко, но — гнило, непрочное, может раздаться под тяжестью и тогда все рухнет, развалится. Говорил он задумчиво пощипывая усики и усмехался.

— «Другой формы не могут иметь ни жизнь, ни мысль. Мысль тоже строится пирамидой: основание — огромное количество фактов беспощадной борьбы, а вершина — ничтожный, остренький вывод.

«Мысли эти я очень любил и принимал их как правильные, но мне было неприятно, что Коля без спора соглашается с нищенцем этим, с Богомолковым. Однажды обещал с нами Мортон, химик, управляющий фабрикой, замечательного ума француз! Богомолков проповедывал свои пустяки о свободе, а Мортон высмеивал его, утверждая, что суть жизни в разуме.

«Богомолков грубейше крукнул ему:

— «Таким разумом, как ваш, владеют и бобры, и муравьи, это не свободный разум, а только обезьянье приспособление».

«И всегда этот попович грубил, раздражала меня его топорная грубость, широкая бородастая рожа, грязные, не-

чесанные волосы. Мне кажется, что у него только голос был умный, а Коля думал, что он говорит мудро.

«О Лариссе Антоновне мы с Колей не говорили, только однажды, беседуя о ней с Павловым, он сказал:

— «Весь ее талант — в красоте, а настоящего таланта, для сцены, нет у нее. Я думаю — ошиблась она, не той дорогой идет. Скучно и холодно жить ей и вот она ищет чем согреть душу. У одного профессора дочь, безногая, парализная девочка, играя, греется перед картинкой, на которой изображен костер. Вот и Ларисса Антоновна греется у воображаемого огня.

«Павлов закричал, заспорил, заметался, а меня очень обрадовали умные слова Коли. Верил я ему. Сам я не мог судить о способностях Лариссы Антоновны и никакого дела не было мне до ее игры. Когда она выходила на сцену, я ничего не видел кроме ее, слышал только ее ленивенький голос, следил как двигается, точно по воздуху ее великолепная фигура. Легко она ходила и так, знаете, царственно, оказывая милость земле и людям. Восхищала меня гордая стройность ног ее. И груди... небольшие, расставленные далеко одна от другой.

Закрыв глаза, человек скорбно покачал головой.

— «О чем я говорил? Да. Обрадовало меня указание Коли, что она идет не своим путем, подумал я, что ошибочный путь этот, может быть, приведет ее ко мне. И когда она приехала, я пошел к ней очень уверенно, но застал ее в раздражении: летний сезон был неудачен и она потерпела убыток тысяч в тридцать. Я тотчас сообразил, как успокоить ее, сказал, что с ее деньгами я сделал выгоднейшую операцию на жирах и могу предложить ей двадцать семь тысяч с несколькими сотнями, — нарочно

не круглую сумму назвал, чтобы правдиво вышло. Обрадовалась она, — иногда человека и деньги радуют.

— «Нет, серьезно? — спрашивает. — О, вы действительно хороший друг. А как живет ваш сумасшедший брат?»

«Я сумел убедить ее, что Коля ошибся, не понял мою шутку. Нахмурилась, недоверчиво глядя в глаза мне, она спросила, взяв меня за ухо:

— «Шутка? Какая шутка?»

— «Однажды — говорю — я сказал ему, что если-б вы согласились...

«Она втиснула ногти в хрящ уха моего, сердито по-
нукая...

— «Ну?»

— «Выйди за меня замуж, — говорю.

— «Врете вы, — сказала она, оттолкнув меня. — Тут что-то не так. Не то было сказано. Да, да! Предупреждаю вас, сударь, со мною шутки плохи. Больно я уцпинула вас?»

— «Нет, — говорю — что вы...

— «Жалею. Но — я изо всей силы.

«Подумав немного, она сказала тихо:

— «Оба вы — очень милые люди, но какие-то старомодные, опоздавшие родиться. Станные люди. Будем друзьями, но без шуток, да? Иначе... И погрозила пальцем.

— «Удивительно одевалась она,» — продолжал человек, вздохнув и пристально глядя на косые нити дождя за окном; ветер спутал, изорвал их и теперь они сыпались стеклянными зернами в окно и на фонарь.

— «И в узком платье, закрытом до горла, и в широком, все равно — она точно голая. Понимаете? Да. Нагая. Такое гордое тело. Мне даже как-то страшно было смо-

треть на нее... И — досадно: неужели другие так-же видят ее, как я?

— «Дома Коля спросил: что это у тебя ухо-то? Я сказал что подстригая бороду, уцпинул ножницами. Начался сезон. Город у нас, вы знаете, старинный, купеческий, особенных тонкостей публика не любит, ей нравятся русские пьески, особенно костюмные; а когда по сцене ходят люди в пиджаках и, не умея понять, кто, что или кого любит, скучноватыми словами обыденно говорят про это — в чем тут рассеяние скуки и развлечение? А Ларисса Антоновна любила именно такие, новейшие пьесы играть Гауптмана, Ибсена. Поэтому, когда товарка ее Соснина, сварливая баба, играла «Чародейку» или «Марию Стюарт», публика шла в театр охотно, а Лариссу Антоновну не любили и, хотя Павлов писал о ней очень похвально, смотреть ее ходили только дамы из-за модных костюмов, да молодежь, а партер и ложи пустовали. Полных сборов она не делала и это очень раздражало ее.

— «В нашем мире, где не любить — невозможно, а любить — не умеют, театр мог бы научить любви к людям, к женщине, к жизни, — говорила она.

«Жила — широко; если не играет, то уж вечером у нее неизменно гости, ужин, вино, катанье на тройках И все вокруг нее, как безумные. Павлов, зеленый, кашляя и задыхаясь, кричит:

— «Будем как солнце!» Бемер, водеvilная, цинические песенки поет, Брагин, конечно, о еврейх чушь порет, Маметкулов ржет конем и тут же кричит — Бог, смерть, любовь! Мороз по коже подирает от этой сумятицы. А Ларисса Антоновна сидит царицей и нехорошо, чуждо улыбается. Часто вспоминал я слова Коли: действительно, вот — зажег человек костер, смотрит, как в нем сгорают люди в пепел, а самому одиноко и холодно.

«В такие вечера моя любовь к Лариссе Антоновне сапоги-скороходы надевала, а всех людей хотелось мне на мыло переварить. Мы, я и Коля, наблюдаем друг за другом, как два вора, намеренные украсть одну и ту же вещь, но каждый в свою пользу. Я думаю, что Ларисса Антоновна понимала нас; как-то, выпив с горя, она задорно спросила:

— «А, что, милые братья, не боитесь вы, что я съем вас?»

— «Да. Так и спросила. Я — промолчал, а Коля ответил умной шуткой.

— «Пусть лучше съест львица, но не исцарапает кухонная кошка.

«Иногда мы с Колей, впадая в тоску, откровенно спрашивали друг друга:

— «Что, брат?»

«И — смеялись. Даже — смеялись. Коля, как-то, сказал:

— «Она — зайчик солнечный.

«Вскоре мы перестали смеяться.

«Явился в городе англичанин Вильям Проктор, пенковое дело интересовало его; по русски он говорил плохо и Маметкулов познакомил его с Лариссой Антоновной, она знала и английский и французский языки. И вот, знаете, сел этот Проктор монументом около нее и сидит, ворочая серыми глазами. Высокий, точно литой весь, лицо загорелое, лоб разрублен и что-то непреклонное в нем. Курит ужасно, водку пьет, как теленок молоко, и не пьянеет, только глаза щурит. Вид у него в это время таковой, как будто удивляют его люди, но он им не верит и удивления не хочет показывать. Только однажды, когда очень талантливая актриса Соня Званцева, спела ему

детскую песню, он прищелкнул языком, точно выстрелил и сказал ей.

— «Спасибо. Это — больше всего, что я знаю.

«Поцеловал ей руку и смешно ушел ни с кем не просясь. С этого случая Ларисса Антоновна сразу стала как-то тише, явилась у нее эдакая нега, кошачья в движениях н-ну, одним словом, вы понимаете...

«А Коля мой еще более потемнел, вытянулся.

— «Вот — говорит — настоящий охотник на нашего зверя, этот — не промахнется.

«Учиться Коля бросил, лежит в кровати до полудня, потом ходит целый день по комнатам в туфлях, не одетый и назойливо свистит. А я, узнав, что англичанин — картежник, познакомил его в клубе с одним товарищем прокурора, о нем говорили, что он играет не чисто, но ловко. Я надеялся, что он выпотрошит англичанина. Он и выпотрошил. Но проигрыш, частью, пришлось мне заплатить. Позвала меня Ларисса Антоновна и говорит:

— «Дайте мне пятьдесят тысяч под вексель.

— «Пожалуйста. Дела ее я знал лучше, чем сама она и, разумеется, понял, зачем ей деньги. Не дать — не мог. Если-б она приказала:

— «Приготовьте постель, у меня Проктор почует! — так я-бы, вероятно, приготовил и постель. Может-быть зарезался-бы потом. А, вернее, нет. Не зарезался-бы и тут. Ведь — живу же. А бывало и хуже Проктора. Он скоро уехал, а Ларисса Антоновна осталась в сердитой печали и еще более резво начала кутить. Коля тоже пристранился к вину. Очень тяжело вспоминать все очень, Господи! Я предлагал ему: съезди за границу, в Петербург, в Сибирь. А он говорит: едем вместе.

— «Голубчик, ты-же видишь, — у меня нет шансов.

«Он хмуро отвечает:

— «Погода — женского рода. А ты — хитрый, ты терпеливый, ты можешь дожидаться хорошей погоды и даже — создать ее.

«Он начал говорить злобно, насмешливо и смотрел на меня не хорошо. Сидит, качает ногою и, насвистывая, так смотрит, что мне становится тесно в одной комнате с ним.

«Весь пост Ларисса Антоновна прожила в городе, на Пасхе снова начались спектакли, а в среду на Фоминой, ночью, Коля застрелился в Театральном садике, вот тут, за углом. Что-то вышло у него с Лариссой Антоновной неизвестно что, но — вышло. Накануне смерти он был у нее, они вместе ходили на кладбище на могилу Павлова. Да. Застрелился Коля в сердце. Привезли его домой, завыл я волком и все для меня провалилось в черный мрак, как будто вихрем бросило в колодезь, в яму и там вертит, кружит, бьет. Помню: зубы Коли насмешливо оскалены, а под его левым соском на груди — пятнышко, точно паучок. Ни крови, ничего, а только темный паучок. Потом такая, знаете ненависть вспыхнула к Лариссе Антоновне, что явись она в этот час, не знаю, что сделал-бы я, но — было-бы ей плохо. Приехала она с Брагиным к ночи, уже темно было и вот так-же дождь шумел, я ее встретил в зале, закричал на нее, затопал, но она молча и, так, знаете, властно, отстранила меня рукою, спрашивает грубо:

— «Где?

«Накидка, вроде театрального плаща, вся обрызгана дождем, опустилась с плеча и ползет по полу. Лицо Лариссы Антоновны белое, до синевы, глаза нестерпимо горят и весь вид такой, как будто из страшной сказки она пришла. Встала на колени пред диваном, где лежал брат, гладит лицо его одной рукою, а другой крестится, громко говорит:

— «Ну, прости, мальчик, прости! Ведь я говорила тебе... Боже мой! Прости...

«Я тоже стою на коленях рядом с нею, шепчу.

— «Это вы сделали. Ваше дело... Говорю, а злобы на нее нет у меня, только страшно очень и такая, знаете, пустота во мне, ясность, все вижу, все замечаю, каждое изменение ее лица, каждое движение пальцев.

— «Молчите, — говорит она — молчите!

И тоже погладила лицо мое ладонью, как будто и я мертвый. Страшно горячая рука была у нее и дрожала, и я весь дрожал. Встала она, подошла к окну:

— «Дайте, говорит — крепкого вина. Пригласил я ее к себе; этот подлый скелет Брагин, тоже пошел с нами, очки протирает, как будто ничего не случилось. Велел я подать вина, чаю и вот, сударь мой, с этой ночи началась жизнь недоступная никакому воображению. Выпила она фужер портвейна, потом — чаю с коньяком и сразу вспыхнула вся, глаза еще более дико разгорелись, — глаза у нее, как это видно на портретах — были насмешливые, всем чужие. Заговорила она угнетающе и грубо, никак я не мог подумать, что женщина образованная и красивая решится говорить так обиженно и сокрушительно.

— «Вот, — говорит — убил себя милый умный мальчик, потому что я не уступила его желанию. Но — что-же мне делать? Неужели я должна покорно отдаваться в руки всех, кто меня хочет? Брагину, который третий год ожидает своего часа, вам — вы, ведь, конечно, тоже надеетесь видеть меня на своей постели? Но, послушайте, неужели за то, что Бог наградил меня красотой, я должна платить каждому кто ее хочет, если даже он противен мне?

«Я, знаете, даже покачулся от стыда и страха, услышав ее слова. Страшно было то, что понял я — была прав-

да в ее словах, обнаружили они предо мною жизнь ее с другой, очень трудной стороны. А Брагин, тоже выпивши, скорчив свою костлявую рожу, говорит:

— «Лариссочка, я не люблю драм, не верю в драмы. Все очень просто. Богатый студент застрелился? Ничего! Со святыми упокой, а для вас — рекламочка.

«Я схватил его за шиворот, хотел ударить, но Ларисса Антоновна отвела мою руку, точно я бессильный ребенок.

— «Оставьте его, — говорит, — он негодяй. Очень талантлив, но — негодяй. Может быть, потому и талантлив. Хорошие люди редко бывают талантливы.

«Брагин, подлец, согласился с нею:

— «Это — верно. Я притворяюсь хорошим только на сцене и это мне всегда самому смешно оттого и публика смеется. Публике приятно видеть, что хорошее — смешно и жалко...

«А Ларисса Антоновна говорит свои отчаянные слова:

— «У меня есть цель, я хочу изгнать со сцены пошлость, вымести старый мусор, показать душу современной женщины, которая во многом переросла сама себя и не знает что ей делать с собою? Ей мало любви, мало материнства, у нее есть еще что-то. Что? Я не знаю, но — что-то есть.

«Тысячу раз слышал я потом эти речи, тысячу раз!

— «Мне трудно, — говорит. Мне очень трудно. На сцене я все еще чужой человек. На пути моем становятся люди, мешают жить, работать, хватают за ноги, и вот — лежатся трупами... Ваш Коля — умный, милый, но не надо, не надо-же мне никого... Говорит она и все пьет вино, как пожар заливая. Пил Брагин, я то-же. Я допил до слез, жалко было мне Лариссу Антоновну, себя, Колю. Ее — особенно. Встал на колени пред нею и говорю, что

могу всю жизнь служить ей, как собака. А она, погладив волосы мои, согласилась:

— Да, — говорит — Петруша, у вас верная, честная, собачья душа, я знаю.

О, Боже мой, Боже мой...

Что-то зашурпало в углу около печи. Человек вздохнул, покачнулся и, подняв оплывшую свечу, осветил угол.

— «Там — крыса. Она в этот час всегда начинает... скребется».

Потом он долго неподвижным взглядом смотрел в окно, дождь неустанно чертил сеть косых линий, оплетая ими огонь фонаря. Черные полушария плыли в тусклом пузыре света, — шли под зонтами люди из театра.

Кто-то под самым окном крикнул:

— Нет. Не могу.

— «В ту ночь я полюбил Лариссу Антоновну настоящей, безответной любовью. Летом она сняла дачу на Оке, под Рязанью, я часто ездил туда к ней и видел: живет она, как всегда, шумно, суетно, охотятся на нее разные новые люди. Спрашиваю:

— «Мешают они вам?

— «Да, — говорит — мне все мешают, а помогает жить только один человек, — вы, Петруша.

«Конечно, — мне праздник такие ее слова, а она была щедра на них и этим крепче привязывала меня к себе. Она и вообще была щедра. Непонятно это: она — не добрая была, а на ласку словом не скупилась, деньги тоже швыряла как шелуху и очень нужно было следить, чтобы не ограбили ее разные ловкачи, промышляющие корм жалобами на несчастья свои. Деньги — она давала людям с такой улыбкой, что будь я нищим и то-бы десяти копеек не попросил у нее. Презирала она людей, неудач-

ливых-же — особенно брезгливо. Бывало слушает чьи ни-будь сетования на жизнь и вдруг, улыбнется глазами, прищурится и скажет:

— «Ах, как мы несчастны!

«Слова эти как сугроб снега падали на меня и боясь ее презрения, я молчал пред нею о несчастии моем, почерпая все радости жизни в заботах и тревогах о ней. Встречала она меня всегда приветливо, как родного и, представляя знакомым, говорила внушительно:

— «Прошу любить, это бескорыстный друг мой.

«Люди-же, разумеется, считали, что она живет со мною. Да. Прошу любить. Меня и полюбила комическая актриса Соня Званцева, дама миловидная, талантливая, добрая и неистощимой веселости; она жила вместе с Лариссой Антоновной. Сидел я с нею в саду, над Окой, любуясь затканием солнца, жаркий такой вечер был, пахучий, липа цвела. Закурив папироску, Соня спрашивает:

— Что, Петруша, бедный рыцарь, трудно вам?

— «Нет, — говорю — ничего! Боялся правду сказать, зная, что если заговорю — буду жаловаться на Лариссу Антоновну.

— «Полноте, милый — говорит — разве я не вижу? Третий год наблюдаю. И, позвольте сказать прямо:

Понапрасну, мальчик, ходишь,
Понапрасну ножки бьешь,
Ничего ты не получишь, —
Понапрасну пропадешь!

«А, вот, я, говорит — люблю вас, хоть и непристойно женщине первой говорить это. Люблю. Очень. Потому что — вижу, как вы умеете любить и жаль мне вас, хорошей, бабьей, материнской жалостью.

«Смутился я, встал и — хоть в реку прыгнуть! А река, знаете, течет, мутная как моя жизнь. На глазах Сони — слезы, а говорит она, смеясь.

— «Так я вас люблю, что больно. Как девченка. Вот как...

«Я, очень глупо, сказал:

— «Благодарю вас, только...

— «Цыц! — говорит она тихонько и руку протянула, точно отталкивая меня. — Уходите. Но, в случае чего, помните, что есть на земле человек, который любит вас по просту, всей душой, без фигур. А у Лариссы душу умнишко с'ел...

«Все бы это было хорошо, хотя и печально, не скажи она последних слов о душе Лариссы Антоновны. Обидно стало мне. Я душу ее, может быть, и не понимал, но любил и чувствовал. А тут, человек из соперничества, из ревности, уничтожает дорогую эту душу. Поклонился я ей сухохато и осталась Званцева на скамье, покуривая, а я ушел в лес. И такая схватила там за сердце меня лютая тоска, что, поверите-ли, впервые за всю мою жизнь заплакал я. Трясусь весь и плачу, понимая, что может-быть, единственно возможное для меня счастье, сам оттолкнул. И за Лариссу Антоновну обидно. В таком был состоянии, что, не заметив, на муравьиную кучу сел и закусили меня муравьи. Кусают, а я не понимаю, что это такое, сижу. Потом должен был идти купаться и вытряхивать платье, белье. Всю ночь прогуливал на берегу, а в душе, знаете, адакое черное пожарище и разрушение всех сил. Утром, после завтрака, Ларисса Антоновна позвала меня к себе, говорит резко:

— «Софья из-за вас сыграла мне драматическую сцену и очень плохо, это не ее амплуа. Что вы отказались от ее

предложения, — это довольно глупо, но — ваше дело. Если-же вы, сударь, жаловались ей на меня, так это трижды глупо, но — уже мое дело. Жаловались?

— «И не думал, — говорю.

«Посмотрела она на меня, улыбнулась этой улыбкой, пронзающей душу.

— «Кажется — говорит — правда. Вот что, сударь, вы от меня не ждите ничего, у вас со мной никогда не будет никаких романов, так и запишите на память себе. Наконец: я, вообще, довольна тем, что вы отказались от Софьи. И за себя и за нее. Ей с вами скоро стало-бы скучно, а мне без Вас неудобно. Видите, каков я зверь?

«В тот день была она в белом кружевном платье и сквозь кружево сияет тело ее, — смотреть больно. Все на ней белое, чулки, туфельки, каштановые волосы коронуют голову ее и сердито-насмешливо улыбаются глаза. Лежит на кушетке, туфля с ноги упала, пятка круглая точно яблоко. В комнате солнце, цветы, — невыразимо великолепна была она в цветах и солнце. Страшная сила красоты женщины, сударь мой...

«Вспомнил я Колины слова:

— «Солнечный зайчик....

«Помолчав, она говорит задумчиво:

— «Вы, Петруша, не знаете, как талантлива Софья. Ей развернуться негде, для нея нет пьес. Если-б мне половину ее таланта. А она, вот, хочет быть женою мыловара. Послушайте, бросьте вы, это ваше мыло, зачем вам оно?

— «Хорошо, — говорю.

«Фабрика действительно не пужна была мне, я уже знал, что останусь на всю жизнь одинок. Возвратясь домой, я предложил управляющему, Мортону, найти поку-

пателя, но он изумился, рассердился и сказал, что не продаст никому, а сам купит. Так и сделал, я ему продал все очень выгодно для него, он был достойный человек. А я поехал в Рязань, где играла Ларисса Антоновна, поселился там в гостинице. И вот началась моя новая жизнь, двенадцать лет жил я этой трепаной жизнью, двенадцать лет-с! Трудно было привыкнуть к бродяжничеству, безделью, к цыганству, к разным грязненьким гостиницам, меблированным комнатам, к жизни среди людей всегда новых, всегда чужих. Был я как-бы зерно, которое судьба, на мельнице своей, мелет с песком. Неисчислимо на Руси количество людей, которые живут неизвестно зачем, — кажется, я уже говорил, что всего больше таких людей около театра, около обмана. Потому что театр — насквозь обман. А Ларисса Антоновна играла правдиво, обнаженно, без прикрас и даже когда она говорила самые густо-театральные слова, публика не верила ей, другие же актрисы, нарядной фальшью этих слов, вызывали у публики искренний восторг и слезы сочувствия. Я и сам скажу: Ларисса Антоновна не интересно играла, хотя я не люблю и не понимаю никакой игры, кроме музыки. Трудно было понять: хорошего или плохого человека изображает Ларисса Антоновна? Публика — требует ясности, думать она не любит, предпочитая говорить. Это и законно: каждый человек стремится к упрощению жизни, каждому из нас курица гораздо понятнее, чем ласточка. А простота Лариссы Антоновны была загадочна и потому хотя красотой ее очень восхищались, но успеха она не имела. Конечно, она видела это и это мучило ее; вижу я — начинает она все больше презирать людей. Бывало выпьет и, пристукивая кулачком по столу, сверкая глазами, убеждает сама себя:

— «Врете, скоты, я заставляю понять меня, заставляю. Театр — не забава...

«Безмерно жалел я ее; она сердится, а я, мысленно, уговариваю:

— «Бросьте все это, не мечите перед свиньями бисера души вашей.

«И молось: Господи, столкни ее с этого пути! А она — свое:

— «Заставлю любить меня!

«В обыденном, грязеньком смысле слова, ее, разумеется, любили каждый сезон, в каждом городе. Смешно и горько было мне видеть натужное волнение гимназистов, студентов, взрослых опытных охотников за любовью, противно наблюдать как старые, брыластые псы, с одышкой и вставными челюстями вертелись и выли, истекая слюною вожделения. И — кутежи! Кутить она привыкла все чаще, пила все больше, но вино на нее почти не действовало, крешка была. Только зарумянится, да зрачки станут шире, а глаза прищурит еще насмешливее и режет взглядом, как ножом. Язык у нее тоже беспощаден был, а иногда она говорила так грубо, точно пощечины сыпала. Очень назойливо и нахально ухаживал за нею прокурор в Херсоне, слащавый такой, лощеный, с лисьей мордой и холодными руками покойника, любил он говорить по французски и всегда читал одни и те же стихи:

«Я — и нож и — вместе — рана,
Оскорбленная щека
И разящая рука.
Кроткой жертве, мне — тирана
Сердце злобное дано...

«Как-то, за ужином, он поцеловал ей руку, а Ларисса Антоновна, брезгливо вытирая поцелуй его платком, громко и убийственно спросила:

— «У вас — насморк?

«Он позеленел и так замигал глазами, точно его ослепило.

«Говорила она и хуже этого, резкие и даже неприличные слова не стесняли ее, всегда приобретая в устах ее особенную остроту. К поклонникам она относилась задорно, капризно и очень любила стравливать их одного с другим. В Минске за нею ухаживали вице-губернатор и фабрикант, так она их так стравила, что разыгрался скандал на весь город и даже в столичных газетах писали о нем. Там она увлеклась виолончелистом из оркестра, мальчишкой евреем, но вскоре велела мне дать ему стипендию и отправила в Вену учиться. Да, забыл я: комик этот, Брагин, удавился на крюке от лампы, прислав Лариссе Антоновне и мне гнусные письма. Жил негодяем и умереть прилично не решился... Христа играть хотел, хе-хе! Это вот, тоже, знаете весьма часто замечал я: чем подлее человек, тем упрямее стремится играть благородную роль. Некоторым это даже удается... Хотите еще вина?»

Он встал и согнулся в углу, у печи, говоря:

— «Вино у меня хорошее, любимое ее вино, Сент-Эстеп. В свое время я его выписывал прямо из Франции».

Осторожно открыв две бутылки, он поставил одну предо мною, из другой налил себе полный стакан и закрыв глаза, двигая кадыком, медленно высосал его. Вытер платком рот и продолжал, плавно, мягко, тихими словами, как будто акафист читая.

— «Увлекалась она часто, но, знаете, как-то вдруг и наскоро, словно обязательную повинность природе отбывая. В Тамбове из-за нее тюремный инспектор подрался с офицером, была дуэль, инспектора ранили, а она отказалась принимать обоих и не доиграв сезона, уехала с помещиком одним в имение к нему. Он раскопками курганов

занимался, чужак такой, неуклюжий, беспомощный и везь в улыбках. Ее вообще интересовали чужаки. У помещика она прожила двадцать шесть дней, я всегда точно считал дни ее романов, не знаю для чего, может-быть, думал, что когда-нибудь придется мне напомнить ей все это. Ведь — человек я и в эти дни утешал себя надеждой, что отомщу ей.

«Бывало вижу: смотрит Ларисса Антоновна на когонибудь особенно обнимающим взглядом и уже знаю: начинается. Никогда не ошибался. И перестая ходить к ней. По ночам скрипел зубами и думал: не отравить-ли мне ее? Смейлись надо мной во всех городах. А как только освободится она, снова торчу около нее, во всем покорный. Конечно — хмурюсь, а она мне пальчиком грозит:

— «Петруша — не дурите.

«Однажды, не стерпев, выпивши, спросил ее:

— «Неужели не стыдно вам превращать человека в собаку?

«Она посмотрела на меня пристально и, вздохнув, отвечает:

— «Едва-ли вы человек».

«Очень удивил меня этот вздох и как бы даже успокоил, стал я терпеливее. Увлекалась она писателем одним, пьесы писал, человек заносчивый и грубый. Он, во время ужина, должно быть, уцепился за стол, вскочила она и говорит:

— «Петруша, этому господину пора домой, к жене, проводите его.

«Н-ну, я его провожал, знаете, не очень вежливо. Хватушко был он. Писателей я видел несколько человек, и во всех, — как в актерах — было что-то бабье, фальши-

вое, наигранное. Все они какие-то канатоходцы, шагают осторожно, балансируя желанием всякому угодить, поправиться.

«Так, цыганской этой жизнью, в шуме скандальном, в пустяках и выдумках, прожил я около Лариссы Антоновны пять лет, а на шестой год в Томске, началась для меня иная жизнь, хуже или лучше — не могу сказать. Народ в Сибири грубый, звероватый, но Ларисса Антоновна хорошо играла там «Нору» и очень понравилась молодежи. Обложили ее сибиряки, сидят вокруг медведями, чавкают и ее жуют глазами. Меха дарят, катают на лошадях и вообще такой дым развели, что даже я, человек сдержанный, как-то замотался и ослеп. Ларисса Антоновна в превосходном настроении, сияет, даже еще более красивой стала. Вдруг я узнаю, что двое богачей пари держат: который из них одолеет ее до Нового года?

«Пригласил я их обедать в ресторан, в отдельный кабинет, а со мной был револьвер «Браунинг» — Сибирь, знаете, и почти каждую ночь я возвращался домой поздно, — так вот, говорю я охотникам этим:

— «Вы это пари ваше — бросьте и вообще Лариссу Антоновну не смейте беспокоить. У меня нет причин жалеть себя и, если замечу я, что не убедил вас — бапки разmozжу. Они, сначала, хотели повалиться на меня, но я отпугнул их, показав револьвер, тогда они поняли, что я серьезно настроен.

— «Ну, — говорят — ладно. Попытались напоить меня — не вышло, только сами напились. Один был худощавый, бородатый, на икону святого юродивого похож, а глаза — разбойника, другой толстый, красный и отчаянный пакостник в речах. С пьяну, бородатый все перстень с рубином совал мне, уговаривал взять в подарок. Вероятно, все это

обошлось бы хорошо, но, на свое несчастье, Ларисса Антоновна узнала о пари. Выдал я ее в гневе, но в таком — никогда! Стояла она спиной ко мне глядя в окно на выюгу, и медленно так, тяжело обернулась ко мне, — совершенно незнакомое лицо, ослепительно злое. Приказывает:

— «Позовите этих скотов ужинать ко мне.

«И вот — ужин; сидим за столом, четверо, Ларисса Антоновна отлично одета, любезна, шутит и вдруг, среди шуток, говорит:

— «Между прочим я пригласила вас сегодня затем, чтоб сказать вам: вы оба мерзавцы. Они — хохочут, думая, видимо, что это все шутка, а Ларисса Антоновна и начала отчитывать их, да так, что они раскалились до красна и хоть избить ее готовы. Ну, тут я их выгнал. Стоит она среди комнаты, крепко трет лицо руками, смотрит на меня, как на незнакомого:

— «Идите и вы, — говорит. — Уходите.

«Боязно было оставить ее одну, но послушаться я не посмел, ушел. А через неделю, что-ли, когда она снова играла, в театре, на верхах, начали свистеть. Там свистут, снизу шикают на них, шум, брань, дамы визжат. Кое как доиграла она акт, бегу к ней в уборную, она спокойно сидит перед зеркалом, пудрится, спрашивает:

— «Это, конечно, они устроили?

— «Не знаю, но — наверное, — говорю. Тут к ней врывалась публика, сожаления, извинения, руки целуют, она милостиво улыбается, а глаза ее горят растерянно и дико. На следующем спектакле снова свист, шум, в антракте кто-то подрался, вмешалась полиция, а на другой день приехал к ней полицеймейстер, пьяница и грубиян, не знаю, что он сказал ей, но в тот же вечер она объявила мне,

что едет в Пермь, там держал театр ее — же антрепренер. И вот, когда сидел я в купе у нее, говорит она:

— «Что, Петруша, жалко вам меня? Это очень плохо, если дошло до того, что вы меня жалеть начали.

«И с эдаким страхом, тихо спрашивает:

— «Неужели нет у меня таланта, неудачница я, не могу победить людей? Скажите правду.

«Правду я знал, но — сказать не решился, она бы меня за эту правду... Утешаю, как могу, а она все говорит, спрашивает:

— «В чем мое несчастье?

«Колеса гремят, за окном все двигается, качается, смотрит она в окно, шепчет:

— «Падаю, падаю...

«Никогда она не говорила так жалобно. Конечно, у нее были причины жаловаться: играла она уже более десяти лет, а имя ее было не громко, в столицы ее не приглашали, мотались мы с нею по захолустьям, да и деньги свои она уже прожила. Только красота и свежесть оставались с нею, как будто на век приросли...»

Рассказчик замолчал, точно задохнулся, разжал руки, страшно размахнул ими и вцепился пальцами в ручки кресл, наклонясь вперед, глядя в мутное, сырое пятно света за окном, в пузырь опаловый пронизанный стальными нитями дождя. Минуты две он слушал, распахив глаза, тихий плеск и шорох, настойчивое журчание воды, стекающей по жолобу. Серое, сухое лицо его обострилось еще более, когда она заговорила снова:

— «Приехали мы в Пермь. Над городом, во тьме, снежная буря, вой, свист, стон, эдакое адово веселье и двигаешься, как будто не по земле, а — сорвало тебя с земли и несет куда-то в белых тучах. Дня три гудела эта

тоска и вот, как-то вечером, приглашает меня Ларисса Антоновна чай пить к ней; пришел я; сидит она, сиротливо, устало, в капоте, бордового цвета с золотом, волосы распущены, и, точно девушка, знаете. А ей было уже почти сорок. Сидит ласковая, тихая. Похудела она за эти дни.

— «Милый вы мой друг, — говорит — бедный вы мой друг, плохо было бы мне без вас, нянька моя! И вот, за то, что вы так бескорыстно любите меня, — я вам испортила всю жизнь, да? Испортила?»

«Я — не вытерпел, никогда еще она не говорила со мною так, упал на колени, целую ноги ее, бормочу:

— «Испортили, да...

«Гладит она голову мне, шепчет:

— «Непоправимо?»

«Горячо капаят на шею мне слезы ее. И, тут, знаете, впервые овладел я ею, в углубление несчастья моего. Опомнися, — вижу: сидит она полуобнаженная, на постели, укладывая груди в лиф, лицо у нее спокойное, слышу задумчивый голос:

— «Ну, вот мы и поженились. Хорошо со мною? Теперь давайте чай пить. И — шампанского спросим...

«Просто, знаете, смертным холодом обожгло меня, бросился на пол, к ее ногам, рычу, реву:

— «Не любите вы меня, не правлюсь я вам...

«А она вскочила, бежит по комнате, бьет себя кулаком в грудь, и шепчет, задыхаясь:

— «Милый, голубчик, но — если нет... если нет у меня — не могу. Поймите — нет!

«Господи Боже, да это — я понял, это и опрокинуло меня. Сажу на полу, качаюсь, а она, в слезах, мечется по комнате, вокруг меня, сверкает обнаженное тело ее, холодное для меня...

«Кричит:

— «Распылила я сердце свое на потеху идиотов!

«Я умоляю ее: бросьте сцену, едемте за границу, денег у меня много, пожалейте себя ради Христа!

— «Нет, не могу, — говорит — не могу! Не верю, что нет таланта у меня. Но вы должны уйти, довольно вам горя, довольно мук. Уйдите, еще не поздно. Из жалости — не любят, это оскорбительно, когда из жалости. Вы — добрый, чудесный друг, но со мною вы погибнете, изломаю я вас...

«Долго и — очень благородно, очень сердечно говорила она, но, разумеется, все глупо, невозможно. Посадил ее на диван, сам сел на пол к ногам ее, говорю:

— «Никуда не уйду я от вас, не могу. Живите, как хотите, а я буду около вас.

«Она снова начала было — целовать меня, но я сказал: не надо, не насилюйте себя. Как она плакала, Боже мой...»

Он и сам заплакал; по желтым щекам в бороду, скупо катились мелкие слезы, он тряс головою, не отирая мокрые щеки и говорил надсадно:

— «После того шел я за нею неотступно еще семь лет. Как будто сам Дьявол невидимо встал между нами, держит нас за руки, но не пускает ее ко мне, издеваясь надо мною. Невозможно, постыдно рассказать, что вытерпел я! И она тоже, и она не меньше. В театре у нее становилось все более неблагоприятно. С товарищами по сцене Ларисса Антоновна никогда не дружила и они постоянно затевали против ее различные интриги, а теперь все это усилилось, завихрилось круче, должно быть потому, что она стала мягче с ними, теряя свою величавость и пренебрежение к ним. В жизни действует такой закон: чем дальше от вас люди, тем они лучше, а чем ближе — тем хуже. Брагин

говорил: не сажай женщину на колени себе — на шею сидит! Тоже можно сказать вообще о всех людях. Актеришки, конечно, влюблялись в Лариссу Антоновну, актрисы ревновали и ненавидели ее. Известно, что нет ничего легче лжи и клеветы. Раньше Ларисса Антоновна умела не допускать людей близко к себе, жила никому не завидуя, ничем не хвастаясь, — ни умом своим, ни тонким образованием, а тут я стал замечать, что она, теряя уверенность в себе, начинает понемногу и хвастаться, и прихвастывать, — рассказывает, например, об успехе своем в таком-то городе, а я знаю, — успеха у нее там не было. Конечно и актеры знают это и хотя сами они все — хвастуны, но над ней посмеиваются. Показывает она им мои подарки и говорит, что этой ей публика поднесла. Выдумала, что ее будто-бы очень приглашал в Москву, в свой театр сам Станиславский, а этого никогда не было. Не было-с...

— «И ум свой начала она парадно выставить пред людьми, и образованием кичиться. А тут еще толкнул ее доктор один, странный человек, но, тоже видимо, не своей тропой шел. Маленький такой, аккуратно выточенный, чистенький весь, даже как-то не похож на русского. Носил какой-то пиджачек, странного покроя и, не смотря на свои седые виски, был похож на юношу; Коля, в его лета, вероятно, таким был бы. Острижен доктор ёжиком, смотрит через очки, темные, тихие глаза виновато улыбаются. Однажды Лариссе Антоновне нездоровилось, он пришел и бросил якорь около нее, каждый день сидит. Не мог я понять: злой он или добрый, но — источен печалью и потому так остро горьки его речи? Всегда речи его были неприятны, но говорил он их как будто поневоле, не от себя и они не обижали. Рассказывает ему Ларисса Антоновна о нездоровье своем, а он:

— «Это приближается к вам печальное безобразие, которое мы смущенно именуем красотой старости...

— «Все мы — говорит — герои, ибо умеем забывать о том, что осуждены на смерть. И жизнь наша — унылая трагедия, полная милой веселости.

«А о любви он выразился очень обидно для Лариссы Антоновны, сказав:

— «Любовь к женщине подобно печальному деянию Бога, который тоже безуспешно пытался создать прекрасный мир из пустоты, из ничего.

«Казалось-бы Лариссе Антоновне надо обидеться, — какая-же она пустота, какое ничего? Но она ни чуть не обиделась, к великому удивлению моему. Разговаривали они целыми вечерами и вскоре я вижу, что сошлась Ларисса Антоновна с доктором. Разумеется, это было больно мне, я ведь, все-таки, не терял надежду заслужить ее любовь упрямством моим, но доктор не стал неприятен мне, я даже еще больше подружился с ним. Уж очень прямодушен был он; однажды говорит мне:

— «Я знаю, что пью ваше вино и целую вашу женщину.

— «Нет, — отвечаю — женщина принадлежит не мне, а несчастью моему.

«Он пристально посмотрел на меня и говорит стихами, — он любил стихами говорить:

— «Вы знаете:

«Судьба сильнее угнетает нас,
Почувствовав, что мы ей поддаемся»

— «Вижу, что Лариссе Антоновне хорошо с вами, ну и слава Богу.

— «Своеобразный вы человек, — сказал он.

— «И вы тоже, отвечаю.

«Поглядели мы с ним друг на друга, улыбнулись. Выпили. Пил он очень много. Лариссе Антоновне действительно хорошо было с ним, стала она меньше кутить, больше сидела дома, стала спокойнее душою.

«Вот ее беседы с доктором были поистине значительны и серьезные, хотя оба они углублялись в те же обыкновенные мысли: о Боге, о смерти и любви. И — так, знаете углублялись, что мне даже страшно бывало, — как будто уже и не люди говорят, а... не знаю, чему уподобить. Как будто — нет людей, но просто два голоса, начисто оторванные от всего живого, состязуются в пустоте ночной тишины. Согласия между ними не было, но говорили они миролюбиво и внимательно прислушивались друг к друг. Доктор утверждал, что жизнь человека подобна полету пули, направленной в неизвестную цель — траектория, говорил он — и что никакого высокого смысла в жизни не заключается. Эти отверженные слова несколько напоминали мне Колю. А Ларисса Антоновна с великой настойчивостью доказывала, что в жизни скрыт высочайший смысл, но чувствовать его может только женщина, возбудитель всяческих желаний, страстей, в том числе и порочных. Некоторые мысли ее я принимал как совершенную правду из любви моей к неукротимой гордости души Лариссы Антоновны. Помню, например, она говорила:

— «Женщине доступно нечто, не всегда недоступное мужчинам: женщина чувствует зарождение новой жизни во плоти ее, она является постоянным источником обновления сил мира. Она видит, так же, что ею зажигаются лучшие мысли, ее ради совершают подвиги, от нее вся красота и поэзия, и если-б не было женщины, вы думали-бы только о пище, живя как звери. На земле нет ничего тверже и понятнее женщины и вам не на что опереться, кроме ее.

«Однажды она сказала:

— «Матери умирают всегда спокойнее отцов, потому что матерям доступно сознание непрерывности жизни.

«Доктор усмехнулся, говорит:

— «Животные умирают еще спокойнее женщин.

«На этом они поссорились. Иногда — как будто вихрем, взрывалось что-то в душе Лариссы Антоновны и мы с доктором отлетали от нее, как две пылинки. И всегда это выходило как-то вдруг, без причин, из-за слов. Помню, сидели мы втроем, Ларисса Антоновна молчала, а я рассказывал о моей поездке в Москву, вдруг доктор тихонько говорит:

— «Преступники и женщины слышат когда о них думают...»

«Как она рассердилась! Точно ожгли ее эти слова. И — кутеж дня на три, а потом лежит в постели, сердце болит у нее.

«Доктор чахоткой страдал и скоро уехал в Швейцарию. Ну, тут же началось совершенное безумие, — Ларисса Антоновна как с горы побежала, молодость свою догоняя. Это, заметил я, со многими женщинами бывает: стукнет их по сердцу сорок ударов годовых, настанет бабий век и закружится, бедняга, забыв о стыде, как будто в один год хочет с'есть все, что в жизни не доела. Так и Ларисса Антоновна; завертелись около нее какие-то мальчишки, актеры, которых она раньше презирала, косоглазые студенты; воспалены все, потеют, визжат друг на друга. С месяца, у нее даже двое любовников было: куплетист и студент стихотворец, себя называл гениальным поэтом, а Пушкина — недорослем. Куплетист, конечно, хвастаться начал своей победой, ну, я ему дал по бритой морде, прибавил к пощечине пять тысяч и сказал: «Уезжай, болван, в

Калугу!» Нарочно городишко выбрал похуже, поскучнее. Уехал он...

«Это были самые тяжелые годы жизни моей. Бывало, уйду от нее и всю ночь, до рассвета, хожу по улицам, сторожем сокровища моего, а оно украдено у меня, оно в чужих руках. Шагаешь в тишине, несешь сердце свое, полное горькой обиды и тоски, думаешь: какой смысл жить без счастья, без ответной любви? Смотришь в окна домов; вот, в каждом доме кто-нибудь любит, а ты — голоден и жалок в одиночестве твоём. Сколько таких ночей, прожито мною! Тяжело в лунные ночи одинокому человеку таскать по земле тень свою.

— «А Ларисса Антоновна уже, знаете, начала фарсы играть, ходит по сцене в полуголом виде, ножки, груди показывает. Я — с ума схожу, умоляю ее:

— «Едемте за границу!

«Нет, не едет. Написал доктору в Швейцарию: не можете-ли помочь, повлиять? Он ответил мне невразумительно и даже как будто насмешливо, не понял я его письма, только приписка в конце, памятна мне осталась ничемностью своей, приписка такая:

«Лев Толстой говорит: «Понятие вечности, есть болезнь ума». А я говорю: Любовь — болезнь воображения. Наиболее нормально относятся к любви кролики и морские свинки».

«Глупо как-то вышло это у него.

«Вот, тоже, заметил я у образованных людей неприятную привычку: много у них накоплено разных мыслей и, потому-ли, что они любят хвастаться ими, точно купцы деньгами или потому, что тяжело им носить эти мысли в себе, но — распускают они их, не глядя куда, как — извините! — мужики вопль свою. А, между тем, с мыслями надо - бы

осторожно обращаться, никто, ведь, не знает, какие — верные, какие — нет. Иногда мысль человеку, как собаке игла, закатанная в хлеб, проглотит собака этот катышок и — мается, не редко издыхает. Даже, вот, я, человек не доверчивый, иногда чувствую, что окормлен чужими мыслями и не свои слова говорю. Человек — не мыслями живет, а бессмысленным желанием. Ум, учитель недоедливый диктует ему:

— «Возле идет человек.

«А ученик пишет...

— «Во зле идет человек...

«Это я, однажды, в училище такую диктовку написал, так учитель сказал мне:

— «Дурак, я тебя грамоте учу, а ты философствуешь!

«Да. Безобразно закружилась Ларисса Антоновна, смотрел я и думал: где благородство, где гордость ее? До слез, до отчаяния жалко было видеть, как она показывает со сцены тело свое, точно нищая язвы, милостыню выпрашивая. Дошло даже до того, что и на меня она стала обращать внимание, — это всего большее и горше было мне.

«Обнимает и шепчет:

— «С'елá я вас, Петруша? Ну, простите, ну, поцелуйте меня!

«Я — целовал. Скрепя сердце, чуть не плача, а — целую и даже усердствую дать ей как можно больше удовольствия, только бы отвести ее от грязного вихря, видел я, что она мучается, жалко ей отдавать душу свою во власть насытой плоти. Лицом постарела она немножко, и в фотографиях уже не так охотно снималась, как прежде, но тело у нее было девичье и ненасытно. А мне уже за срок и перержавела, перегорела мужская сила моя. Вспомнить страшно и стыдно любовные припадки Лариссы Ан-

тоновны. Господи, Господи, — что обязан переживать человек!

— «Бывало, — уснет она, а я сижу над нею, смотрю и шепчу безумно:

— «Это — ты? Ты?

«А за окнами или вьюга воеет или мороз трещит, сияет лунная ночь; — с трудом выношу я эти, все обнажающие лунные ночи и летом, и зимою. Сон они гонят и всегда ведут с собою, светлые, холодные мысли, будь прокляты!

«Не понимаю, как я вычерпал и выпил горе мое, не сойдя с ума. Не знаю, как Ларисса Антоновна могла мириться с душой своей, покорно отдавая себя на терзания запоздалого чувства. Валялся в ногах ее, умолял: уедемте! Нет. Как пьяного из кабака невозможно было вывести ее из омута этого, из театра. А над нею насмехались, — открыто, безжалостно и она видела это, разумеется. И от этого все больше пила, а к людям у нее явился эдакий страшок и лисья ухватка, становилась она с ними льстива, как-то принижаться начала, а об успехах своих рассказывала только мне одному. Целые вечера слышу я одно и тоже:

— «А, помните, во Пскове... А, помните, Петруша, в Херсоне...

«Слушаю я и, чтоб приятно было ей, сам прилипаю, выдумываю чего не было. Она понимала мою ложь, замолчит вдруг, присмотрится ко мне и, кинется на шею:

— «Милый, как вы меня любите!

— «Да, — говорю — я люблю. Вы только не беспокойтесь...

«А она:

— «Изю всех насмешек судьбы над человеком, — нет убийственнее безответной любви.

«Это, она, конечно, о докторе. Но — не верил я, что любит она доктора, так уж это было у нее, — последняя копейка души. Мечта. Выдумка.

— «В сорок четыре года начались у нее опасные сердечные припадки и доктора сказали мне, что она может умереть неожиданно, на ходу. Тогда, наконец, уговорил я ее уехать за границу, — к морю, потребовала она. Поселились мы около городка Сан-Себастьяно, на морском берегу, сняли небольшой домик, обставил я его красиво, — на, вот, Ларисса Антоновна, умирай! Очень хорошо было там, на краю земли, и люди чужого языка тоже всегда кажутся лучше своих, ведь не понимаешь, что они говорят. Только по ночам страшно мне жилось, ночи там как-то вдруг настигают; едва солнце окунется в океан — сейчас — же, из-за гор, выплывает ночь, придавит землю и воду. В тихие ночи до бессмыслия угнетала меня эта, знаете, пустота под звездами и безграничие океанской скуки. Угнетал, конечно, бессмысленностью своей, океаний грохот и вой прибоя волн. Поглядишь в окно: катится на берег темное что-то, как-бы гонят табун белогривых коней, бешено скачет табун и вдруг — прыгнет на землю, ударит ее, охнет земля и домишко наш дрогнет весь, стекла в окнах заноют. Но — все-таки лучше, когда есть движение и шум, а в тихие ночи — нестерпимо! Вспоминал я тогда Колины речи о земле нашей, упоенной горем, и виноватозлые речи доктора. Забыта земля наша, забыта среди звезд, и одиноки, чужды друг другу люди на ней! И, вот, когда подумаешь об этом, станет проникновенно ясно до чего нужна человеку любимая женщина. Права Ларисса Антоновна: с кем лучше можно забыть об одиночестве своем? И в такие ночи любовь моя к ней углублялась бесконечно во тьму свою.

«Лежу, бывало, или тихонько, босиком, шагаю по своей комнате, жду: вот — охнет океан и услышу я предсмертный крик Лариссы Антоновны. Может, она уже вскрикнула, а я не слышал? Отворю дверь в ее комнату, встану на пороге, слушаю — дышет? Чаще всего видел я, — сидит она, прислонясь к спинке кровати, — утоная в белом, как в пене, сидит, закрыв глаза, неподвижно прислушиваясь к шуму океана и такая, покорность в ней, такая теска! Умная, она понимала, что умирает, но, из гордости, не говорила об этом. Сам задохнешься в тоске, сядешь на пол у двери, полужив, полумертв и сидишь час, два, три... Иногда, услышав, что я не сплю, Ларисса Антоновна позовет меня:

— «Петруша, идите ко мне, побудьте со мною!

«И тихонько начинает:

— «Помните, как меня в Курске принимали?

«Я, конечно, помню все, что ей чудится.

— «Замечательно принимали, — говорю. — И вся ваша жизнь — замечательная!

«Устанет она, замолчит, я ткнусь головою в ноги ей, лежу, молча молюсь ей:

— «Счастье мое, жизнь моя — не умирай!

«Но однажды она, печально, говорила:

— «Боже мой, как быстро седеете вы!

«Видя, что для нее тягостно я стал немножко подкрашивать волосы. Это, сударь мой, совершенно невыносимо, жить для того, чтоб видеть только одно, — как умирает любимая женщина! Так, в параличе души, прожил я двести восемь дней, а на двести девятый скончалась Ларисса Антоновна. На террасе. День был тихий, душный, даже океан не очень шумел. С утра еще Ларисса Антоновна сказала:

— «Сегодня я чувствую себя удивительно легко.

«И вышла на террасу, села в кресло, молча, как всегда, разглядывала волнение пустоты морской. Сиделка, Агата, принесла ей букет цветов, погладила она их милыми руками, спрятала в цветах лицо свое и вдруг, встала, схватила за перила, — покачнулась... Я едва успел подхватить ее...»

Человек встал, оглянулся дико, и сунув руки в карманы, прислонился к изразцам печи.

— «Вот и все! Там, под горою, на маленьком кладбище, я и похоронил ее. Не хотелось везти в Россию, где она не нашла счастья. И сам, года полтора не мог вернуться сюда, где горе было единственной пищей моей души. Он взглянул на меня, нахмурился и строго сказал:

— «Однако, вы не думайте, что я жаловался на Лариссу Антоновну, нет, это я рассказал только по причине вашего желания. Жаловаться же, вообще бесполезно; человек человеку глух, подобно камню...»

На белом фоне изразцов лицо его очень потемнело, особенно — под глазами. Он стоял закрыв глаза, прямой и, как будто еще тоньше стал за эту ночь.

Нити дождя за окном блестели, светлее, огонь фонаря потускнел. Отдаленно, едва слышно ворковали колокола, точно медные голуби, — это благовест к утренней службе в монастыре.

Человек неохотно и тихо говорил:

— «Потом я все-таки вернулся в Россию и, вот, снял здесь квартиру, потому что Ларисса Антоновна напротив жила и все началось отсюда. Издал ее портреты, продаю открытки с них, не для выгоды, разумеется, а так...»

Он протянул длинную сухую руку в угол, указывая на вазу, на букет засохших цветов:

— «Цветы эти — те самые, которые она последними держала в руках, но — погибли цветы! Советовали мне в известковой воде вымочить их — не помогло. Лаком покрыл, — тоже не помогло, только единственного образа лишились они.»

Он подошел в угол, к столу, осторожно, тонкими пальцами потрогал безобразные комки серо-грязного цвета и сказал глухо:

— «Рассыпаются цветы прахом, и никакими средствами остановить это невозможно...»

Владислав Ходасевич

БЕРЛИНСКИЕ СТИХИ

Нет, не найду сегодня пицци я
Для утешительной мечты:
Одни шарманщики, да нищие,
Да дождь — все с той же высоты.

Тускнеет в лужах электричество,
Нисходит предвечерний мрак,
На идиотское количество
Серощетинистых собак.

Та — ткнется мордою нечистой
И повернувшись отбежит,
Другая лапою когтистой
Скребет обшмыганный гранит.

Те — жилимся, присев на корточки,
Повесив на бок языки, —
А их из самой верхней форточки
Зовут хозяйские свистки.

Все высвистано, прособачено.
Вот так и шлепай по грязи,
Пока не вздрогнет сердце, схвачено
Внезапным треском жалюзи.

✱

ПОД ЗЕМЛЕЙ

Где пахнет черною карболкой
И провонявшею землей,
Стоит, склоняя профиль колкий
Над изразцовой стеной.

Не отойдет, не обернется,
Лишь весь качается слегка,
Да как-то судорожно бьется
Потертый локоть сюртука.

Заходят школьники, солдаты,
Рабочий в блузе голубой, —
Он все стоит, к стене прижатый
Своею дикою мечтой.

Здесь создает и разрушает
Он сладострастные миры,
А из соседней кануры
За ним старуха наблюдает

Потом в открывшуюся дверь
Видны подушки, стулья, стклянки.
Вошла — и слышатся теперь
Обрывки злобной перебранки.
Потом вонючая метла
Безумца гонит из угла.

И вот из полутьмы глубокой
Старик сутулый, но высокий,
В таком почтенном сюртуке,
В когда-то модном котелке,
Идет по лестнице широкой,
Как тень Анда — в белый свет,
В берлинский день, в блестящий бред.
А солнце ясно, небо сине,
А сверху синяя пустыня...
И злость, и скорбь моя кипит,
И трость моя в чужой гранит
Неумолкаемо стучит.

✱

AN MARIECHEN

Зачем ты за пивною стойкой?
Пристала ли тебе она?
Здесь нужно быть девицей бойкой, —
Ты нездорова и бледна.

С какой-то розою огромной
У нецелованных грудей, —
А смертный венчик, самый скромный,
Украсил бы тебя милей.

Ведь так прекрасно, так нетленно
Скончаться рано, до греха.
Родители же непременно
Тебе отыщут жениха.

Так называемый хороший,
И в правду — честный человек
Перегрузит тяжелой ношей
Твой слабый, твой короткий век.

Уж лучше бы — я еле смею
Подумать про себя о том —
Попастся бы тебе злодею
В пустынной роще, вечером.

Уж лучше в несколько мгновений
И стыд узнать, и смерть принять,
И двух истлений, двух растлений
Не разделять, не разлучать.

Лежать бы в платье измятом
Одной, в березняке густом,
И нож под левым, лиловатым,
Еще девическим соском.

★

Все каменное. В каменный пролет
Уходит ночь. В под'ездах, у ворот —

Как изваянья — слипшиеся пары.
И тяжкий вздох. И тяжкий дух сигары.

Бренчит о камень ключ, гремит засов.
Ходи по камню до пяти часов,

Жди: резкий ветер дунет в окарино
По скважинам громоздкого Берлина, —

И грубый день взойдет из-за домов
Над мачехой российских городов.

Алексей Ремизов

РОССИЯ В ПИСЬМЕНАХ

П а р и ж с к и й к л а д

КЛАД

Эка, куда его занесло! Ищи среди бела дня на Набережной в Париже —

нарочно не придумаешь!

Клады кладутся с зарокон — и первое дело: знать зарок.

А зарок зарокон рознь: один зарок — на голову человека, другой — на сорок голов воробьиных, третий — на «отчу», а бывает — на матерное слово:

выругайся — и клад покажется, а без того всю жизнь ходи вокруг

и — ничего!

Клад в Париже лежал с зарокон на матерное слово.

Вот и подумайте!

Ведь это на Москва-реке с таким зарокон — да тот же, ну... Пильняк давно бы его, походя, забрал, а тут — в Париже —

Ведь население еще не просвещено! и не только мысленно, а и громко не употребляют таких слов!

Да и из русских заезжих, ну, скажите, кто из литературного круга разумеет? Возьмите для примера самого Милюкова или Фондаминского с Авксентьевым, ну нарочно при всех попробуйте проэкзаменовать!

Да им самое ходовое из этого словаря коломенского, что тому же Пильняку по-английски.

Да, трудно придумать что-нибудь более несообразное и более замысловатое, как такой зарок — в Париже!

*

Купил Поляков соломенную шляпу. У Делиона купил на Сен-Жермене. Надел — крепко. Идет — посвистывает. (В Европе все посвистывают, у нас — не полагается!)

Дни яркие — солнцем проняло — прёт.

А у него с глазами чего-то:

и не двоится, а муть,
закмурится, потрет — пятно —
ультрафиолетовое.

Шел Поляков по Набережной к книжным ларькам:
не найдется ли какой книжки окультной?

Сколько хотите! — и окультной и по терапии.

Остановился. Прицелился — книга к книге, всякие —

Но только что за корешок тронул, откуда ни возьмись ветер — как ду-нет:

шляпу-то и сорвало,
вскрутило!
и — в Сену.

Тут Поляков не удержался: досадно — новенькая ведь! у Делиона! — да как матнёт —

И кто бы подумал:

Поляков жизни благочестивой —
Поляков-Литовцев!

прошлым летом вместе на гору Андекс подымались (это в роде как наша Лавра монастырь) и с Элиасбергом, и какие уж там слова, он и песен-то не поет... Пойдите! у Шестова — рисовал Шестова Борис Григорьев, зашел Поляков посмотреть — это Борис Григорьев! Или и в самом деле прав Шкловский: уши даны человеку не для того, чтобы все слушать, а чтобы хлопать ушами!

Поляков не удержался —

И в ту же самую минуту в глаза его влипли листы — лист за листом — расписанные, как нарезанные, с усиками, закорючками —

а это клад вышел!

Тронул: бумага старая, а живет. И ничего сразу не разберешь — чего это? — а наше — русское.

— Сколько? — спросил Поляков по-французски.

И не торгуясь, заплатил мелочь —

продавец-то и сам ничего не понимает, откуда?

Забрал Поляков связку и домой.

А какая была шляпа — соломенная! — Делион!

★

Как ехали из России, взяли мы с собой земли — так с пёрсточку в костяной коробке —

русская земля!

Был я всем и стал ничем, как и всякий тут русский без России.

А земля — это и память и крепь.

Жили мы у Делион на Кирхштрассе. Только что начали обживать: подвесил я над столом паука, открыл «Обезьянью палату» и за работу.

Русскому человеку тут, в Германии, большое ученье: начинай с аза и долби, как школьник —

книг, каких хочешь, — ведь нет такого вопроса, над которым бы не потрудились немец! — и вокруг работа кипит: слышали вы, как проходит поезд, как он дышет, так тут работа.

Ноябрь — там в России первопутук, а здесь дождище, самая осень и только клён стоит перед окном зелёный.

В субботу приходили дети — в «Обезьянней палате» им вольготно: ведь для них все в ней живое от пряника «Michel'я» до черного Унтергрундика, такого косматого духа, который по подземной дороге — от Wilhelmplatz до Wittenbergplatz — ночью один катается, винтики проверяет.

Приходила Ира, — играли в медведи.

Приходил Гиви, персидский мальчик, разговаривал с ним по-грузински — дети на всех языках понимают! И Леночка: ей все кошечку хочется, медведей не надо — медведей она не боится, сама пугает.

Приходила Женья: я ей «книжку писал», она мне домики рисовала.

Потом Гржебинские дети и Юра — «паука смотреть».

И Андрей Белый —

я ему про сон, что мне снилось сегодня, как ходили мы с ним по дорогам, потом входим в комнату, а там лежит на постели — большущая черная, как унтергрундик черный, ворона, а брюшко и лапки лягушьиные. И не то она спит, не то так отдыхает. И Андрей Белый будто сказал, что эта ворона — вороляг — это я. Вот, говорю, никогда-то я не думал, что я —

И еще звонок — Поляков-Литовцев.

Знал я Полякова еще по Петербургу — у Вячеслава Иванова на «башне», много тому прошло! Все с театром, какое уж благочестие, а тут гляжу — и леп и благообразен (портрет Сорина в «Жар-Птице» видели? — живой!)

— В Обезьянью палату?

— Послом обезьяньим из Парижа, — смеется, — а это хабар обезьяний (Affenbestechung).

И подает сверток.

Признаюсь, подумал на сигары —
либо, думаю, кофе!

Такое было постановление обезвельволпала, чтобы все обезьяньи кавалеры несли всякий по силе в обезьянью палату: кофе (настоящий), сигары, папиросы, табак и бумагу — канцеляристу «хабар обезьяний».

А развернул — рукописи.

«Ну, — думаю, — есть у нас русская земля, а вот и наша старина рукописная: еще крепче будет крепь!»

— Откуда?

— Купил я соломенную шляпу. У Делиона купил на Сен-Жермене. Надел — крепко. Иду — посвистываю. (В Европе все посвистывают!)

И рассказал Поляков все по-порядку до самого того места, как ветром унесло у него шляпу и как с досады выругался он последними словами, — «новенькая ведь, соломенная, Делион!» — и как в ту же минуту вдруг увидел среди книг и эти рукописи.

— Ничего не понимаю! Что-то о построении Петергофа, а имена: Савинков, Милуков, Бурцев, Шатилов, Аничков, Лукьянов, Путилов, Карташов, Бронштейн и несколько писем не то Алексею Максимовичу, не то Алексею Михайловичу? Ничего не понимаю!

Тут дети стали прощаться и с ними Андрей Белый — домой пора.

Выкрасил я им рожицы на прощанье в разные краски: кого в красную, кого в синюю, кого в зеленую.

Простились они с моим Feuermännchen'ом — нос у него колбаской розовый, колпачок на голове черный, а сам озабоченный:

еще бы, зима идет, надо тепло беречь!

И долго — к великому моему страху — шумели в прихожей и на лестнице.

Проводил я детей, за посла взялся Полякова.

Сварил я ему кофе — по особому рецепту А. М. Поляковой! — в карлсбадском кофейнике: носик с пробкой, что-бы кофейный дух беречь.

И стало послу жарко —

как там у ларьков книжных на Набережной весною жарко, пошел посол о Париже рассказывать:

как был у старейшего кавалера обезвельволпала у Льва Шестова, о его новой книге о Паскале «Маковка мысли» и как его рисовал Борис Григорьев.

Прокуковала кукушка девять кукуков.

Заторопился посол:

некогда! — нишет он повесть, по листу отхватывает в сутки!

Пошел выпускать его за дверь.

— Спасибо! спасибо! — забывшись, громко крикнул в догонку.

И уж тихонько — совсем неслышно — вернулся в комнату:

там рукописи — крепь крепкая, как земля.

★

Пять дней, не разгибаясь, сидел я над рукописями — клад разбирал.

В трудных местах, где очень уж хитро и стерто, помогала С. П.

68 документов — 1701, 1719 — 1725 и 1732 гг. — Петр (1682 — 1689 — 1725), Екатерина (1725 — 1727), Анна Иоановна (1730 — 1740), не хватает Петра II (1727 — 1730) — или ветром со шляпой унесло? 97 имен — мастера, вельможи, комиссары, а действуют в Петербурге, в Петергофе, в Стрельне, в Красном.

Вот какой кирпич!

Все переписал (трижды переписал!) — букву за буквой, строчку за строчкой. Переговорил каждое слово — слово за словом — ведь писали, как говорили! Я как прошелся по годам — от года к году.

Подклеил, склеил, переплел — разными золотыми и серебряными бумажками, разноцветными, как камушками, покрыл переплет.

(Иван Пунин за эту работу мне картинку свою подарил — «революция»).

Поедем в Россию, это будет первый наш дар России — клад.

КЕДРИКИ

Нет нигде по всей Устюжине от Северной Двины и Вычегды и выше до Устьысыольска я не видел таких кунавых кедров, таких и тихих и шумящих вековой сибирской сурью, как в Коряжемском монастыре в монастырской ограде.

Монастырь за Сольвычегодском по Вычегде — в белые ночи колокол слышно.

А какие орехи!

С орехами с кедровыми скоротаешь и самые длинные зимние вечера, когда на Устюжине саженный снег и только сорок колоколен сорока церквей сольвычегодских гудут — — ко-ло-ко-лами.

Соль Вычегодская (Сольвычегодск) — это наш северный Rothenburg!

А за белой зимой разольется весна, зашумят кедр —

★

1701-го марта въ — день по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и бѣлыя Росіи самодержца (каков прислан указъ) ис Приказу Правнских Дѣл за приписью дьяка Ѳедора Михайлова у Соли Вычегодской в Приказной Избѣ перед выборными земских дѣлъ бурмистры Николаевского Коряжемского монастыря келарь монах Мина сказал:

«Что велено по Переписным книгам прошлых 186-го (1678) и 187-го (1679) годов для нынѣшней свѣйской службы впред для запаса к городу Архангелскому поставить по шти четвериков з двора муки ржаной в новых рогожных четвертных кулях по нынѣшнему вешнему водяному пути к отдаче провианских дѣл к подьячим Алексию Наумову с товарищи» —

«И Николаевского Коряжемского монастыря с монастырских своих со штиде-

сять с пяти дворовъ половничьих, с пяти дворовъ бобыльских, с четырех дворов скотских, с одного двора на приѣздъ — всего с семидесят с пяти дворов по шти четвериков муки ржаной з двора в новых рогожных четвертных кулях по нынѣшнему вешнему водяному пути поставить собою без всякого задержания у города Архангелского к отдаче провиантских дѣл к подячим Алексию Наумову с товарищи.

«А буде мы, келарь, того (вышеписанного запрошеного хлеба по нынѣшнему вешнему водяному пути у города Архангелского к отдаче подячему с товарищи не поставим, и нам тотъ хлѣб, по указу великого государя, поставять вдвое на Воронеже в Азовской отпускъ самим собою.

«А как тот запросной хлѣб к городу Архангелскому (в отпускѣ будетъ) поставим и в отдаче будем, и о том мы, келарь, у Соли Вычегоцкой в Приказной Избѣ вѣдомо учинимъ на писмѣ.

Такова подана за рукою келаревою
1701-го.

Сказку келареву о поставке хлеба писал не сам келарь — келарь Мина только исправил: вычеркнул «каков прислан указ» и «вышеписанного», а «в отпуске будем» заменил «поставим и в отдаче будем» и в самом конце к «ведомо учиним» прибавил «на писме».

— Теперь можно и на-бело переписывать!

И вдруг вспомнил —

за окном в монастырской ограде кедры шумят —

И тут же на «сказке» сделал приписку — широкой разгонистой строчкой:

*припамятовать когда поездка будет к Устюгу
свести два кедрика к Ивану Агаонову Смолнякову.*

ВИНО И ТАБАК

Вино и табак — вещи соблазнительные.

О происхождении и вреде их столько написано, что ей Богу ж ничего и не придумаешь.

1719-ый год — первая пора табачная у нас в России: на табак была мода и создавались легенды и были свои мученики.

А табак не такой был, не эта вот моя смесь —

куриный помёт со мхом — Hühner Unrat mit Moos, на этикетке птичка!

а горлодёр — голландский.

Курил его князь Дмитрий Михайлович Голицын (теперь на Руси и князья перевелись, одни остались обезьяны) и сам директор над строениями оберкомисар Ульян Акимович Синявин и его брат комисар Федор Синявин.

Вино же в России искони — от Бахуса.

И первый его слуга — сам царь Петр.

Да и государыня Екатерина Алексеевна не брезговала.

А уж Савинкову и сам Бог велел.

Простое вино курилось дома — с Водочного двора принимайте, не простое же заморское из Голландии Любе доставлял.

1

1719-го году еевраля въ 25 день принял я, копраль Демѣнтеѣ Савинковъ из спрjemu дворянина Ѳедора Боранцова простаго вина, которое он принял на Водочном дворѣ у инспектора, триста девяносто ведръ, в том я, копрал Савинковъ, ему, дворянину Боранцеву, і сию росписку дал.

А росписку пісал по его, Демѣнтьеву, велѣнію ярославѣцъ посацкой человекъ.

Петръ Иванов.

★

Того же году августа въ 2 день принял я, копрал Демѣнтеѣ Савинковъ, из спрjemu дворянина Ѳедора Боранцова, которое он принял из дому свѣтлейшаго князя, [Меншикова] простаго вина двести девяноста пять ведръ, в том я, копрал Савинковъ, ему, дворянину Боранцову, і сию росписку дал.

А росписку писал по его, копрала Демѣнтѣя Савинкова, прошенію ярославѣцъ посацкой человекъ.

Петръ Иванов.

2

Государь мой милостивыі братец

Ульян Акимовичъ, [Синявин]

Князь Дмитрей Михайловичъ [Голицын] приказал мнѣ до вас отписать, чтоб вы изволили прислать их денги 300 рублей за взятой от них табак.

Зело о семь изволилъ приказывать, чтоб прислали денги немедленно!

Братъ и другъ Вашъ,
государя моего,
Ѳедоръ Синявинъ.

Іюня въ 18 день.

3

Государь мой

Ульян Акимовичъ, [Синявин]

Сего 1719-го году в ноябре мѣсяце по указу Ея Величества всемилостивѣйшей государыни царицы і великой княгини Екатерины Алексѣевны прислано от васъ в вѣдомство мое за проданное вино денег две тысячи рублей.

А за сколько ведръ тѣ денги к нам присланы и по какой цѣне за ведро, того не вѣдомо, і затѣм в приход тѣх денегъ записать не по чемъ.

Прошу васъ, прикажи о том нас увѣдомить чрез писмо свое, дабы намъ по чему было внести оныя денги в приходную книгу.

Покорный слуга ваш

Родион Кошелевъ.

Санктъптербурхъ.

Декабрь 1 день

719 году.

4

Мой господинъ,

Понеже указомъ изъ Правительствующаго Сената кроме меня денги на вексель никому давать не велено. І нынѣ нужду имѣю в Москвѣ в денгахъ. Того ради изволь подателю сего писмо господину Ивану Петровичъ Любсу меншему денги, которые нынѣ перевести надобится, оному Любсу меншему места меня отдавать. И я здесь такие денги, сколько онъ приметъ, стану платить.

В покорности прибываю

слуги ваша

Сантптербух.

Herman Meier

Декабрь 28 день

1720 году.

БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ

Борис Неронов пишет князю Алексею Михайловичу Черкасскому.

(А. М. Черкасский (1680 — 1742) — б. ближний стольник (1702) с 1714-го член комиссии городских строений, канцлер.)

Не своей рукой пишет Неронов, — доброписец из XVII века строчит, — своеручно он только подписывается.

И только однажды —

о веревках в сад Его Величества для обвязывания елей

за подписью пристянул:

— отпусти спешно!

Но и со слов писаное — живо.

Неронов послал Кишкину в Петергоф подъем (лебёдку) для подъема фигур, а потом не раз писал и при встречах напоминал Черкасскому, чтобы вернули подъем. И вот промешкали — спрашивает о подъеме государь, а подъема-то нет!

— для милости Божьей, пошли сегодня!

Не дай Бог: схватится опять, быть грозе.

А так все мирно и тихо.

Надо две кожи — красную и сыромятную, сибирского татарина для уборки (убирания), больших собак —

— которых не потеряем!

Надо досок —

— на дело в сад государыни царицы лавок.

Надо железной проволоки «против образца» —

— для дела клетки.

У птичника Симона Шталя (S. Stahl) в птичнике завелись кинарейки — это клетка для кинареек. А скоро будут и «красные вороны».

Кожи, доски, проволоки, веревки отпустят из Казенных амбаров от Якова Шатилова и Заборовского.

И для медведей веревку — шестьдесят сажен веревки — от Заборовского ж:

— велено изготовить четырех медведей белых к свадьбе.

Чья свадьба? кого Петр выдает замуж? —

надо свадьбу сыграть не какнибудь, надо чтоб —

— с белыми медведями!

— Весь Петербург белыми медведями!

★

1

Отправить.

Государь мой князь Алексей Михайлович,

Двѣ кожи — красную и одну сыромятную прикажи отпустить, не помешкавъ. И сибирскаго татарина для убирания. И собакъ болших пожалуй, которых не потеряем.

Слуга вашъ

Борис Неронов.

Подано генваря 5 дня 1719 году.

Г об отправленіи тѣх кож к дворянину Якову Шатилову указ послан того ж числа.

2

Отправить.

Государь мой князь Алексѣй Михайловичъ,

По указу Ево Величества велено изготовить четырех мѣдвѣдей бѣлыхъ къ свадьбе.

Того ради васъ, мой государь, прошу, прикажи отпустить шестьдѣсятъ сажень верѣвокъ противъ обрасцовъ.

Слуга ваш, моего государя,

Борис Неронов.

Генваря въ 19 день.

Об отпуске веревокъ к майору Заборовскому указ послан.

3

Государь мой князь Алексѣй Михайловичъ,

Много-кратна я до вас, моего государя, писал и словѣно просилъ, чтобъ изъ Питергофа приказали привѣсть подъемъ, который послонъ былъ отъ меня для подъему вигуръ хъ Кишъкину.

Того ради васъ прошу, прикажи ево привѣсть поскорѣе— понеже его изволил спрашивать Государь!

Для милости Божь, пошъли сего дня!

Слуга вашъ

Борис Неронов.

Генваря въ 21 день.

4

Отправить.

Государь мой князь Алексѣй Михайловичъ,

Надлежитъ к столярнымъ дѣламъ сто досокъ пилованныхъ в восемь вершковъ ширины на дело в сад Государыни Царицы лавокъ, да сто досокъ топорныхъ.

Того ради вас, мой государь, прошу, прикажи оныя доски отпустить и перевезть на Мостѣрской двор казенными лошадми.

Слуга вашъ, моего государя,

Борис Неронов.

Генваря въ 22 день.

Об отправленіи тѣхъ досокъ к майору Заборовскому указ послан вышеписанного числа.

5

Отправить.

Государь мой князь Алексей Михайловичъ,

По ведомости птичника Симона Штала надлежитъ дѣлать для кинарѣкъ клетку изъ проволоки.

Того ради вас, мой государь, прошу, прикажи для дела той клетки отпустить проволоки железной противъ обрасца два пуда.

Слуга вашъ, моего государя,

Борис Неронов.

Феврала в 5 день

1720.

Об отправленіи той проволоки к дворянину Якову Шатилову указ послан в вышеписанного ж числа.

6

Государь мой князь Алексей Михайловичъ,

Надлежитъ в сад Ево Величества для обяыванья елей семь сотъ сажень веревокъ толщиною в два дюйма в округлость.

Того ради вас, мой государь, прошу, прикажи оные веревки отпустить.

Слуга вашъ, моего государя,

Борис Нероновъ.

Отпусти спешно!

Подано еевралья 22 дня
1720 году.

Посланъ еевралья 22 дня 1720 году.

ПОДЪЕМНЫЙ МОСТ

— Начинается строить через Мью реку подъемный мост!

Напуганные «концом мира», а при всяком взрыве большого человеческого воления для напуганных «конец мира» — и кров и пугало, никогда не поймут и не почувствуют подъема и одушевления при вести о новой стройке.

— Начинается строить через Мью реку подъемный мост!

Да еще из ничего.

Или почти из ничего: из того, что есть.

А в Казенных амбарах не так-то уж много, чего есть — надо все сделать, достать, выработать.

И притом в спешном порядке — «без замедления».

Это уж второй мост: первый — Большой, а этот пока без названия — у Мытного двора.

Мост деревянный.

Доски — с Охты; цепей нет — цепи сделают вольные кузнецы; копры бить сваи — от архитектора (архитекта)

Трезина (Трезини); прочие припасы (матерьялы) из Казенных амбаров от командиров: мел, обивальные нити, напари, долота, говяжье сало — от Якова Ѳ. Шатилова, веревка — от майора Заборовского, уголь — от капитана Миллюкова.

Только вот плотников нет — не идут на работу, и у Большого моста не работают.

Зимнее время — самый злющий мороз — январь.

Да и с ковшами беда:

«сети перепортились и земли ими тоскать не можно».

Тоже вот, как со шлюзами: две сделаны, а одной нет — кирпичу не хватило и плиты для фундаменту. Еще в прошлом году требовали, а все нет. А теперь бы самая пора подвезти зимним путем и поставить у Соляных амбаров: плиты с Тосенских заводов, кирпич с Казны.

Будет, все будет, но не так скоро: невозможно, не поспевают!

Послано письмо за «подписанием князя Алексея Михайловича Черкасского» к архитектору Ѳонарлеусу: Ѳонарлеус этим ведает.

Если есть воля, а этот дар есть и величайший, воля всеильна, такая на своем поставит:

— лежебок вскнутнет, лодарей за шиворот в работу, с таким несметным богатством — Россия! — это не то, что Голландия или там — только бы мастеров, и все на работу! и все можно — города, дворцы, мосты —

А строит мост через Мойку А. Девиевр, в помощниках — Василий Туволков.

Государь мой князь Алексѣй Михайловичъ,

Сами вы извѣстны, что по Его Царского Величества указу

— зачинаетца строить чрез Мью рѣку подъемный мост —

И к строению того надобно желѣзныхъ припасовъ по нижеозначенному при сем реэстру, по которому тѣ припасы и доски прикажите прислать до нас без замедления.

А что бревенъ и другихъ припасовъ потребно будет, справясь в преведъ, пришлетца до васъ извѣстие в скорости.

В протчем слуга
Милости вашей

А. Девиеврѣ.

Генваря 18 дня 1720 году.

Подано 20 дня генваря.

Реэстръ

гвоздей желѣзныхъ длиною 12 дюймов — 10 пуд,

корабельныхъ — 15 пудъ семи дюймовъ;

желѣза осмиграннаго — 20 пуд толщиною полтора дюйма;

на боуты — 20 пудъ желѣза полоснаго длиною каковы будутъ, толщиною 1 дюймъ, шириною в 3 дюйма;

16 цепей длиною разныхъ мѣръ: четыремъ дина — 20 еутъ, четыремъ же дина — 11 еутъ, четыремъ — 23 еута, четыремъ — 6 еутъ; толщию всѣхъ — 1 дюймъ; длиною всякое звено — 4 дюйма;

досок — длиною 60 еутъ, шириною 16 дюймовъ, толщиною 2 дюйма;
топорного тесу — 1000.

★

Доски отправить съ Охты и перевезть наймомъ, а цепи делать — нанять волныхъ кузнецов.

2

Что есть отправить.

Государь мой князь Алексѣй Михайловичъ,

При семъ прилагается по поданной вѣдомости Василья Туволкова потребностямъ к строению подъемного мосту реэстръ, по которому прикажите отправить без замедления.

Также плотниковъ изволили вы послать к строению того моста, но и по се время не бывали.

Также и у Болшова подъемного мосту не работаютъ и по се ж время.

В протчем слуга
вашей милости

А. Девиеврѣ.

Генваря 21 дня 1720 году.

Реэстръ

бѣлого мѣлу — 1 пуд;

обивальныхъ нитей — полдюжины;

12 напарей — диометръ: половина — полтора дюйма, другая — в одни дюймъ;

16 долот — шириною в два дюйма и в одинъ дюймъ.

★

Об отправленіи тѣхъ припасовъ изъ Казенныхъ анбаровъ что есть къ дворянину Якову Шатилову указъ посланъ генваря 21 дня.

3

Отправить. А буде нѣтъ, купить.

Государь мой князь Алексѣй Михайловичъ,

Прикажи прислать картузныхъ веревъ, которыя надлежать на сѣте ковше — которыми тоскать изъ воды землю, два пуда.

Понеже тѣ ковши і сѣти перепортились і земли имъ тоскать не можно.

Въ протчемъ слуга

Милости вашей

А. Девиеврѣ.

Генваря 23 дня 1720 году.

★

Об отправленіи тѣхъ вервей изъ Казенныхъ анбаровъ. А буде нѣтъ, о покупке і подаче в канцелярію вѣдѣнія: у кого имѣны и по чемъ ценою куплены будутъ.

И дворянину Якову Шатилову указъ посланъ генваря 25 дня.

4

Государь мой князь Алексѣй Михайловичъ,

Чрезъ сие васъ прошу, соблаговолите приказать отъ править потребного къ строенію подъемнаго мосту черезъ Мѣю рѣчку у Мытного двора безъ замедленія, чтобъ в томъ не учинить остановки, а имѣнно:

къ битію свай четыре копра с принадлежащими снастями и припасы.

А буде в скорости не можно прислать копровъ, то прислать х копрамъ —

веревковъ сорокъ сажень толщиною восемь дюймовъ тонкихъ в двенадцать прядей, сто сажень для ковки боутовъ и скобъ и протчаго, уголья — тридцать кулей, на подмаску копровъ сала говяжья — два пуда.

При семъ слуга

милости вашей

А. Девиеврѣ.

Генваря въ 27 день

1720 году.

★

1720-го генваря въ 28 день об отправленіи копровъ писать къ архитектору Трезину. А нынѣ для скорости вышепомянутыя припасы отпустить, записавъ в расходъ с роспискою.

Об отправленіи припасовъ указы посланы вышеписанного ж числа, а имѣнно:

о веревкахъ — къ маэру Заборовскому,

о уголье — къ капитану Милокову,

о салтѣ — къ Якову Шатилову.

5

Об отпуске припасовъ дать указъ на заводы.

Государь мой князь Алексѣй Михайловичъ,

В прошломъ году писалъ я къ вамъ указомъ Царского Величества, чтобъ отпустили кирпичу на желѣзной видъ, также і плиты на припективую для слюзы, —

ис которого кирпичу здѣлано двѣ слюзы, а на третью не достало, которая будет противъ тѣхъ дву одна.

А надобно кирпичу на желѣзной видѣ — 30.000 да 6 сажень плиты для фундаменту.

Того ради изволте приказать отправить нынѣшнимъ зимнем путемъ и поставить возле Соляныхъ анбаровъ.

При сем слуга
Милости вашей

А. Девяевъ.

Февраля въ 21 день
720 году.

★

Об отпуске тѣхъ припасовъ указы посланы февраля 22 дня:

плиты — с Тосенскихъ заводовъ к подпорутчику к Арсухину,
кирича — с Казны.

Письмо послано к архитектору Фонарлеусу за подписаньем князя Алексѣя Михайловича Черкаского.

БРАУНШТЕЙНОВА ВЕДОМОСТЬ

И опять беда —

Петр спрашиваетъ Кишкина:

— Зачали ль кровли и потолки в Монплезире на полатки делать?

Семен Кишкин бывалый человек, в 1706 г. курьером ездил от Петра к царевичу Алексею (Алексей Петрович казнен в 1718 г.), не моргнулъ, ответил:

— Зачали.

Или с перепугу такое выскочило.

Какой там зачали!

«Полатный мастер» архитектор Браунштейн — Braunstein (Леблон помер 27. 2. 1719 г.) еще в октябре прошлого года (1719) требовал матерьялъ крыть кровлю и на подбойку потолков (потолков) и на пол в малых палатках в Монплезире, четыре месяца прошло, а ничего еще не отправлено.

Кроме того Петр затеялъ сделать два люст-гауза и надо чтобы к весне было все кончено (всеконечно), а нет ни досок, ни бревен.

А в Петербургѣ все имется:

замки и петли — в Казенном амбаре,

«досные припасы» — на Охте,

а если каких досок нет, можно взять от Мошкова за деньги.

— Мастеровые люди и арестанты помираютъ с голоду без провианта!

Вот она беда какая.

★

Браунштейнова ведомость подана князю А. М. Черкаскому по немецки с переводом на русский.

Написано — как сказано, что и в русском — по говору:

gleinen (kleinen),

fünfen (finden),

kombt (kommt),

— mächlich (möglich),

frihe Jahre (Frühjahr)

Буква d — везде прописная. Diese, also, als — везде В — dieße, alßo, alß. Вместо ä — ё: die Döcke вместо die Däcke. В некоторых словах, где надо с большой буквы.

написано с маленькой и наоборот: fußboden вместо Fußboden, Lang вместо lang. Описка: beschagen вместо beschlagen.

Сокращения: Ibro Fürstl(iche) Durchl(aucht), Großzarl(iche) Majest(ät)...

Справлял мой разбор немецкий и толковал проф. кильского университета Dr. S. Keller.

1.

Отправить.

Сиятелиѣиши князь

премилоствѣиши мой государь,

Повелит ваше Сиятельство в Питергоф бочку сороковую вина приказать отправить для салдат больных і мастеровых людей і арестантов, і на заплату во дворецъ мызнику взятого вина на салдат сентября 9 дня в пришествие Его Величества прошедшаго 719 году.

вашего княжеского сиятельства
нижайши слуга

Семенъ Кишѣкин.

Генваря въ 22 день
720 году.

Подано еевралья 7 дня 1720 году и об отправленіи того вина из Казенных анбаров к дворянину Якову Шатилову указ посланъ еевралья 8 дня 1720 году.

2.

Замки отправить и пѣтли из Казны, а доспыя припасы съ Охты. А буде какихъ досокъ нѣтъ, взять от Мошкова за денги съ мельницы государыни царицы. И оно все отправить наймомъ.

1719-го 18 октября подана роспись о послѣдующих материалах, по которой еще і по нынѣ ничего не отправлено, что надлежали к малым новым палаткам при Момплезире на крышку кровель, на подбойку потолков і на полъ:

600 досокъ — (къ 10 каморам на пол в по...) 10 еут длиною, 1½ дюйма толщиною на (полъ) кровли;

300 досокъ — 14 еутъ длиною, в 1½ или 2 дюйма толщиною на полъ;

300 досокъ на подбойку потолков для штукаторной работы;

70 дубовых досокъ въ 1 дюймъ толщиною на пиластры в галерию, что при Момплеесе;

1000 маленькихъ брусковъ, на портал и которые будутъ в большой прешпехтливой на канал;

7500 гвоздей в 7 дюймов длиною на кровли і на подбивку потолковъ і на полъ;

20.000 гвоздей на подбивку прутковъ в потолки по штукатурную работу; петли і замки к дверям і окончинам чтоб повелѣно было здѣлать в Санктъпитербурхе.

Будучи в Питергофе, Его Царское Величество изволил приказать здѣлать два люсть-гаусы в прешпехтливой, а нынѣ при Питергофе к той работе досокъ і бревенъ, какія к тому дѣлу потребны, ничего нѣтъ. А надлежит оныя люсть-гаусы по Ево Величества приказу к предбудущей вѣсне всеконѣчно, дабы на то дѣло отправлено было 200 досокъ — 1½ дюйма толщиною да 100 бревен ординарной длины і толщины.

3 еевралья 1720.

Браунштейнт

Ano 1719 Den 18 Octobr ist Dieße Specivication Eingegeben worden weil nun Dießelbe nicht zu fünten ist so wird Ihro. fürstl. Durchl. nochmahls Ersuchet wegen Einige Materialien zu Verfertigung Der gleinen Palleen so bey Monplaisier stehen nehmlich Daß Dach Darauff zu machen von Brettern wie auch Die Decke mit Brettern zu beschlagen und Den fußboden zu legen

600 Bretter zu 10 fuß Lang $1\frac{1}{2}$ Daumen stark zu die Decker

300 Bretter 14 fuß Lang $1\frac{1}{2}$ oder 2 Daumen stark zu die fußbodens

300 Bretter oben an Die Decken wo Die Stukatorarbeit kommt 1 oder $1\frac{1}{2}$ Daumen stark und Die Länge wie sie Ordinaire sein

70 Eichene Bretter von 1 Daumen stark Die Pfeiler zwischen Die großen fenster in Der Gallerie Darmit zu begleiden

1000 Gleine Latten zu Die Porthalen so in Die große Perspektiv an Den Canal komen

7500 Bretter Nagel zu Dem Dach und Den fußboden wie auch an Die Decken wo Die Stucator Arbeit komt zu 7 Daumen Lang

20.000 Gleine Nagels Die gleine Latten Darmit an Die Decken zu schlagen Da Der Alabaster Daran hangen bleibt

Die Bender und Schlößer an Die Thüren und Fenstern werden Ihro fürstl. Durchl. in St. Peterburg befehlen zu machen weil in Peterhoff nicht solche Leute sein

Mußn haben Ihro Großzarl Majest kürzlich befohlen zwey Lusthäuser (befohlen) zu machen in Die Perspectiv und weil nun ganz seine gesetzte Bretter in Peterhoff sein und ihro Majest. befohlen gegen Den frihe Jahr fertig zu sein also wird Ihro Fürstl. Durchl. ganz unterthänigst Ersuchet 200 Bretter von $1\frac{1}{2}$ Daumen so bald als es möglich nach Peterhoff zu schükfen wie auch 100 Balken

Peterhoff, Den 3 Febr 1720

Г. Браунштейн

3.

Доски по прежнему указу и правянтъ отправлять немедленно.

Сиятелищйшии князь
премилостивйшии государь,

Сего числа Царское Величество изволил спрашивать меня:

— Зачали ль кровли і потолоки в Момплъзире на полатки делать?

И я досес:

что зачали.

Токмо прошу вашего Сиятельства меня не оставить в сем слове!

дабы доски пильные отправить немедля по вѣдомости Бронштейновой.

Да прошу о провианте на мастеровых і на арестантов: понѣже помирають з голоду бѣс правянта!

Вашего княжеского сиятельства
нижайшии слуга

Семенъ Кишѣкинъ.

Февраля въ 8 день

720 году.

МЕЛЬНИЦА

Сквозь туман петербургский вижу, как в Копорье, Дудоровке, Стрелиной рубят леса. И сквозь сосны, ели, березу — мельницы. Круть мельничная, шум воды, вой ветра.

Мельницы — крупяные, мучные соломосечные, масленые, цементовые, каменнотесные.

Вода и ветер — единственный тогда двигатель, мельница — как фабрика.

Сквозь туман петербургский видится — валят леса, крутят мельницы — взгорыхнуло! — неугомонная воля — новая Россия.

В красном строит цементовую (сементовую) мельницу архитектор Ягон Кристьян Ферстер. Заведует стройкой — Евсевич Савинков.

Савинков должен достать все припасы — весь материал:

приискав, приторговать сосновые леса,
дуб, липу, а вместо кизилия и пальмы, зенгауту,
напилив, перевезти из Петербурга от Зенбулатова,
железо и сталь — из Казенных амбаров от Баранцова,
железный вал, гвозди, шипы, железную доску
«против моделей» с Оружейного двора от Арзухина,
медные орехи — от архитектора Микеттия (Мекетти).

И все надо «непрерывно» и «немедленно».

А мельничный крепкий камень сделают в Красном каменоломщики.

Дьяк Лука Тарсуков, дьяк Петербургской Городовой канцелярии, скрепив указ, отдал самому Савинкову и другие указы ему же — к командирам: к Зенбулатову, Баранцову, Арзухину.

Лука Тарсуков знает! — и не только свою указную канцелярию.

— Когда в драке бьют по морде, — говорит он Савинкову в напутствие, — это ничего, подживет, а когда при этом крушат и вещи, это уж чего. Морда мордой и останется, а от вещи дребезги, куски, — пропало! А вещь — это — дух живой! И за это мало по морде.

А на взморье в избе — пять бумажных окон! — гудит ветер:

тысячу лет гулял здесь на воле, а теперь и его
в работу — изволь колеса вертеть.
— Сшибануть разве — —! стройку!

1

Государь мой Иван Юрьевич,

Прошедшаго октября в последних числах подал я в Кантору Лесных дел, дабы позволѣно было вырубить в смотрени вашей милости к будущему лету для обжегу кирпича дровъ тысячу пятьсот сажень.

А нынѣ просил я господина вахтмистра Каетырева, чтоб послал к вашей милости о позволени тех дровъ указ.

И оной господинъ вахтмистер сказал мнѣ:

то мое доношение отдал вашей милости и празал вам оное число дровъ вырубить нам позволить.

Того ради, государь мой, послал до вас нарочно того солдату, которому велѣно быть у рубки и приему тех дровъ.

Прикажи, государь, взявъ у него скаску, какъ надлежит, пожаловать послать ведѣнии своего салдатом лѣснаго смотрения билетъ, дабы позволили вырубить в Капорской, в Дудоровой і Стрелинской ведомостях дровъ — тысячу пятьсотъ сажень в тех мѣстах, гдѣ і наперед сего рублены — из бѣрезовых, сосновых, еловых...

2

1721-го июня въ — день по указу Великого Государя камисару Ѳедору Ѳедоровичу Шатилову в поданном въ-
дении камисара Ігнатова написано:

«По присланному к нему указу, по требованию вашему, для отпуску пяти окончинъ в-ызбу, которая поставлена на Взморье подле масленой и крупяной мельницъ, и по тому указу тѣх окончинъ купить не сыскано. И по помѣте камисара Федора Акимовича Синявина велѣно окончины дѣлать бумажные. И по полученіи сего указу о дѣле тѣхъ окончинъ учинить по сему указу непремѣнно».

3

Указ Его Величества Императора и самодержца все-россійского из Городовой канцеляріи.

Порутчику Евсееву Савинкову в поданной вѣдомости архитекта Ягана Крестьяна Оерстера написано:

«Надобно к пристройке мучной мельницы в селѣ Красномъ на речке Дудоровке, в которой будетъ дѣлать сементъ, материалов, а именно:

один сосновой вал — длиною дватцати четырех еутъ, толщиною двух еутъ;

осмнатцать досок — длиною в три еутъ, шириною дву еут, толщиною трех дюймов;

осмнатцать досок к жолобу х колесу — длиною трех сажен, шириною семнатцати и осмнатцати дюймовъ, толщиною трехъ дюймовъ;

двенатцать досокъ, которые будутъ в водяномъ колесе — длиною трех сажен, шириною двенатцати дюймовъ, толщиною в полтора дюйма;

восем дубовых досокъ к сухому колесу — длиною семи еут, шириною дву еутъ, толщиною пяти дюймовъ;

четыре штуки дубу ж на ручни к оном колесу — длиною семи еут, шириною четырнатцати дюймов, толщиною семи дюймов;

двѣ доски дубу ж к шестерне — длиною десяти еутъ, шириною четырнатцати дюймов;

сто (тритцать шесть) еут дерева кизилю (палмы) — разные штуки на дѣло палцовъ к сухому колесу (к шестерне толщиной трех дюймовъ);

36 палмова дерева к шестерне — толщиною тѣ (трех дюймовъ) штуки по 3 дюйма;

сто пядесят бревен сосновых или елевых к починке той мельницы: свод — длиною четырех сажен, толщиною осми вершков;

дватцать бревенъ ясных к подставамъ под пол — длиною двух сажен, толщиною осми вершков;

на покрывание одного анбара и на обивку (того) кругом у старой соломосечной мельницы шесть сотъ досокъ — длиною четырех сажен, толщиною одного дюйма;

тритцать штукъ дерева липы ко всякой работе; четыре шипа и один вал желѣзные против мадели ж, а имянно — валъ длиною девяти еутъ, толщиною четыре дюйма;

четыре мѣдныя орѣха против мадели ж;

сто пуд желѣза;

один пуд стали;

двести топорных досок к мощению пола и перегородки ящиков;

восем тысяч гвоздей разных рукъ против маделей;

одинъ крепкой камень — толщиною чрез диаметри в три еута;
одна желѣзная доска против мадели».

И по Его Императорьскаго Величества указу велѣно по вышеписанной вѣдомости оного архитекта:

сосновые лѣса, прискав, приторговать тебѣ настоящею ценою, и по какой ценѣ и, у кого имянно приторговано будетъ, о том тебѣ прислать в Городовую канцелярию вѣдение за рукою немедленно;

а дубовые доски и штуки дубовые ж и липовые, напилював, а вмѣсто кизиля и пальмового дерева зенгауту отпустить — от порутчика Зенбулатова; а желѣзо і сталь — ис Казенных анбаров; желѣзный вал і гвозди, четыре шипа и одну доску желѣзную против маделей — здѣлать на Оружейномъ дворѣ;

четыре мѣдные орѣхи против мадели ж — у архитекта Микеттия;

мельнишной крепкой камень велѣно здѣлать при Красномъ селѣ каменоломщиками.

И означенные припасы из Санктъ Питеръ Бурха перевезти к той мельнице на казенных лошедах, которые есть у тебя, Савинкова.

И по полученіи сего указу о вышеписанном тебѣ вѣдать, и о подряде лѣсовъ, а других о перевозке из Санктъ Питеръ Бурха на казенных лошедах учинить тебѣ по сему указу непременно..

А об отпуске и о пиловане дубу, липы и зенгауту — к порутчику Зенбулатову, и о желѣзе і стали — к дворянину Баранцову,

а о дѣле против маделей желѣзных штук на Оружейном дворѣ — к прапорщику х Арзухину,
а о дѣлѣ (орѣховъ) мѣдных орѣхов — к архитектору Микеттию — указы посланы.

Таков указ отданъ порутчику Савинкову самому в канцеляріи июня 5-го дня 722-го году да за скрѣпною дьяка Луки Тарсукава.

Тако ж и прочіе указы х командирам отданы ему ж Савинкову.

ПО ПУНКТАМ И СВЕРХ

1721 г. кончилась великая северная война (1701—1721).

С 1721-го — самая горячая стройка, заканчивают работы начатые в войну.

Главные работы в Петергофе, — в «Питере» по сокращенному.

Генерал-архитектор Леблон, строитель Петергофа, Стрельны (Стрелиной мызы), Дубков, помер от оспы в 1719-м году. На его месте — «полатный мастер голанец» архитектор Браунштейн.

Работы делаются по пунктам Е. И. В. и сверх пунктов — в совете мастеров:

- как покажет полатный мастер голанец,
- как Мишель присоветует,
- с позволения Мекентива (Мекетти).

Директор над строениями оберкомисар Ульян Акимович Синявин. Под ним в Петергофе комисары: Павлов, Карпов, Елчанинов и русский архитектор М. Г. Земцов.

Лето 1723 года.

Уж кроют свинцовыми досками каскады, площадку перед малым гротом, палаты в Монплезиере.

Фонтанный мастер француз Полсолем (Содем) изготовляет эти доски: в амбаре, где работает столяр Фарсуар, поставлены станы.

Кровельный мастер — швед Константин Генекре.

Пояльщик — Потап Басемщиков.

А Монплезир кроют железом и сверх намётом —
— дабы от дождя какой вред не было.

Еще одно лето работы и не по пунктам, а уж сверх — свинцовой крышкой покроют самого и намёта не надо: вреду бояться нечего.

Спешат во всю — «к празднику», «чтобы не упустить удобного», «к пришествию» — одно лето осталось! (Петр помер в 1725 г.).

Все делается «с поспешением», «с неусыпным старанием», «с неоплошным смотрением» и принуждением:

— материал отпущать без остановок!

— быть у работы беспеременно!

— чтобы работы отправлялись без остановки!

Все отделывают совсем в отделку, последний гвоздь вколачивают —

солярный мастер Мишель и Кардасей доделывают галереи (галарей) на малой марлинской каскаде у шлюза (слюза);

балясы красят пока белой краской, потом будут росписывать;

в верхних галереях полы настилают;

роют малые дождевые каналы;

набивают глиной — укрепляют — у больших фонтанов против большой, гладкой каскады, где положены чугунные и деревянные трубы;

Антон Квадрный за штукатуркой смотрит;

Кардасей белым камнем отделявает босейн и перед каскадою;

маляр Федор Григорьев с учениками золотит урны;

дожидают живописца Короваку для молеванья; во флигере печники делают печи из образцов (изразцов);

как в Монплезире (по Мишелю) делают вставни или затворы в малых палатах у спальни;

отделывают каскады по лестницам и в Монплезире и росписывают;

у шлюза галереи и зымцы (карнизы) прибавляют и росписывают;

Франц Цыглер и Конрад Оснер привезли из Петербурга две деревянные фигуры к концам стоков, деревянного драка и две деревянных курицы (работа Пинови) — фигуры переделывают, а к драку и курицам Полсодем свинцовые трубки делает для фонтана в нишелях решетчатых;

проводят от большой фонтаны (фонтана) чугунные трубы к нужнику в Монплезире: надо поднять свинцовый ящик в столчаке, чтобы из лягушек било воды одинаково.

Страшно спешат. У мастеров — людей для работ с избытком («с удовольствием»). Не проронить бы какой работы!

Оберкомисар Ульян Синявин всегда под железной рукой: скорей!

★

«В Монплезире по другую сторону шайфы или чуланец конечно вели поставить и росписать, а

в нужнике сукном зеленым столчак и стены убить. Во флигере ко всем дверям замки прирешать. И вычистить и насыпать можжевельником, садовнику скажи, подле большого пруда ров покрыть досками и засыпать землю, буде успеет сегодня, буде же не успеет, чтоб не расчищал, и рыбу, как возможно, за решетку вели сажать больше и присланную карпи вели тут же посадить. Солдат петергофской команды из Стрелиной мызы сойми, а оставь пятьдесят человек, кои у каменной тѣски, о чем к Бачманову присем письмо. А яхта, которая прислана от светлейшего князя, вели поконопатить и починить не вынимая, в босейне, повали на бок. И на всех работах, чтоб исправно было — надеюсь, что завтра императорское величество будет [к] Бронштейну до сих мест. Дай шлюпку и пришли ево немедленно сюда, а квартирмистеру вели явиться у меня! Во флигере кроватей по пяти и по шти надобно изготовить и столов, чтоб было числом двадцать и с старым. А кроватей не худо б, чтоб и больше изготовить! В голорях штукаторную работу надобно конечно поспешить и очистить начисто весь сор по дорогам, — с подкреплением садовнику прикажи! Мосты в верхних голорях чтоб гладки были и крепки, где ставятся будут игры. И провести покрытый канадец от саду мимо флигерей, чтоб вода не вливалась на мост с огорода. Учеников, как на кашкадах, так на фонтанах определить лучших отменных, и сделать им роспись и определить над ними добрых урядников и кап-

ралов, дабы всяко свое место знал и меня репортовать».

★

А комисар Павлов под вечным «на тебе все взыщется» знает, дело не убежит, и на ордера «предлагает свои известия», рассвечивая их не общим, а словом своим именным на каждую работу:

«в большом канале разломанной стены на 11 сажен, в том числе камнем выкладено и глиною набито, а дерном не выстлано на 5 сажен;

«на четвертой стороне стенки в одну линию сваи побиты, брусёв наложены и щиты защают; в другую линию сваи бьют и сегодня начнут на двоих связи класть;

«от моря под фашины землю ровняют, от малого прудка речки мелким камнем выкладывают, перемиду делают.

★

А надо спешить — надо во что бы то ни стало исполнить все по пунктам к сроку — еще, еще одно лето! — а и загнул-таки задачу, какой там на лето! — да и средств нет —

Денег не хватает на жалованье, нечем платить —

— кровельный (покрывальный) мастер Генекре непрестанно докучает!

— резному мастеру Оснеру только в сентябре выдали 100 рублей в зачет заслуженного жалованья за прошлый год!

— мастеровые из солдат не получили за семь месяцев!

— а рекруты, «употребленные (размещенные) по шестокам» к старым солдатам, «будучи в работе и видя к пропитанию неимущество», бегут — за июль сбежало 10 человек!

А с Пудож и из Нарвы камень везут: затеваются новые работы уж не в Петергофе, а в Петербурге — у Летнего дома и Госпиталь (Шпиталь).

И опять надо деньги.

И какой-то народ безтолковый: ведь каждому надо втемашить в башку всякую мелочь, иначе или перепутает или такое устроит, греха не оберешься.

В Петергоф из иностранцев — послов и посланников — никого не пускали: караул стоял в гавани и на сухом пути за мызниковым двором у моста и от Ораниенбаума (Аранибома) смотрели.

И вот, наконец, фонтаны и каскады — работа итальянцев с архитектором Микентевым (Мекетти) — готовы.

Петр затеял выдать замуж старшую свою дочь цесаревну Анну Петровну за герцога голштейн-готторгского Фридриха Карла.

Прусскому посланнику барону Мардефельду было решено в Петергоф, и велено было для него отворить все фонтанные воды.

Старичок, скорбный ногами, этот Мардофельт, прибыл.

В приказе обергофмейстера Матвея Алсуфьева между прочим сказано, чтобы лошадям его давали овес и сено. И тут же оговорено:

«пока он в Петергофе будет».

А не оговори, с дурьей-то головы чего доброго мардофельтовых лошадей будут кормить до скончания веков лошадиных, — всего станется!

Тоже и в другом приказе.

Меншиков распорядился, чтобы всем петербургским гарнизонным полкам, что на работах в Петергофе, быть к Богоявленеву дню в Петербурге на стоянии у воды.

Ульян Синявин в ордере к Павлову по этому случаю пишет, чтобы отобрать у мастеровых людей этих полков инструменты в казну. И добавляет:

«а когда оные полки в Петергоф возвратятся, тогда по прежнему им те инструменты отдайте».

Иначе может всякое быть: с великого — то ума отобрать инструменты отбирают, но уж назад не жди, не получишь — «велено отобрать!»

Или все это не оттого — не потому что везде такой дурак подобрался, нет, дурак-то дураком, а это исконное наше, от «грозных» и «тишайших» столбцов идет — необыкновенная предусмотрительность от всегдашнего подозрения в злоупотреблении: человек-то уж очень не надежен!

А тут — в «гороскат петровский» под железной рукой, в таких тесках и таком вопиющем «неимуществе» всего жди.

И все эти толковые ордера, «нашпорта», весь этот подробнейший «бумажный аппарат» вовсе не от неумения, а от глубочайшего недоверия человека к человеку, а к русскому (к своему) в особенности.

И это такое исконное русское, такое же, как Кардасей — из Cœur Dacier, а еще лучше Полсолем — из Paul Solem.

Двести лет прошло, а нынче весной звонят, слышу русский голос: приехал из Москвы Комковендровский, желает видеть. Комковеновский? Через двести лет русский человек из com (andor) Kenworthy произвел Комковендровского. А вскоре после этого Sir Bernard Pares сошел за Перцова—Петр Петрович Перцов, хорошо еще не Крючков!

Кровля свинцом покрыта, галереи росписаны, фонтаны
бьют и каскады — русский Версаль готов.

Петр построил русский Версаль —

не ударить в грязь перед Европой!

Петр — «орлова полку», ни в каких столчках, зеле-
ным сукном убитых, не нуждался, любил море, механику
— фонтаны — рѣзь и строил, все отделывал так, чтобы
как там в Европе

Россия, как Европа!

И это по пунктам —

нет, еще больше, сверх —

Россия удивит Европу!

1.

Господинъ камисаръ Степан Карповичъ, [Карпов]

Сего апреля 6 дня просил насъ резнаго дела мастер
Эрбгартъ Эль-Крисаръ в Санктъ Питер Бурхъ для резяни-
цых работ к архитектору Мекентиву с вышеписанного
числа того ж апреля да 8 числа.

И ваша милость благоволи дать ему пашпортъ.

Доброжалательный

вашъ слуга порутчикъ

Питеръ Гофъ

Апреля 6 дня

1723 году.

Курташевъ.

2

Господинъ камисар Павловъ,

По полученіи сего, іс прибывшихъ в Питергоє из Нова-
города судовъ з деревьями, отправъ сюда для сажания в

садах Его Императорского Величества одну барку з деревь-
ями, посадя на неѣ Орлова полку капрала і дватцать чело-
вѣкъ салдат.

А по выгруске тѣх дерев, на той баркѣ отправлены бу-
дутъ отсюда в Питергоє на аранжерею брусъя.

Такъ же для сажания здесь оных дерев отправъ сюда
Орлова полку капитана со всею ево командою немедленно—
которым уже надлѣжит у работ быть здесь зав-
трашняго дня.

Садовника удовольствуй людьми для сажания дерев,
дабы какъ возможно наискорые тѣ деревья посадить —
чтоб тѣм деревьям в нынѣшнѣе вѣшнѣе время
не учинилось какого повреждения.

И коликое число какихъ дерев в пересадке будет на
упалые мѣста і на квартиры, вели записывать имянно.

И скажи садовнику, чтоб на квартиры сажал деревья
на хорошей земли!

понеже у него в прошлом году многое число
дерев посохло, которые были посажены на квар-
тирах.

Слуга вашъ

Ульянъ Синявин.

Из Стрелиной.

Юня 2-го дня

1723-го году.

3

Господинъ камисар Павловъ,

О всехъ питергоєскихъ работахъ, которые нынѣ дѣ-
лаютца по пунктам Его Императорского Величества і сверхъ
пунктовъ, учина купно с Земцовым обстоятельной репортъ—
что нынѣ здѣлано и дѣлаетца,

о чем і ко оному Земцову при сем прилагаетца пісмо.

И учиня тот репорт, привези ко мнѣ в Стрелину утрем: понеже я завтнешняго дня поѣду в Санктъ Питербурхъ — и надлѣжит мнѣ о тѣхъ работахъ доносить Его Императорскому Величеству.

Ранея приезжай!

Слуга вашъ

Ульянъ Синявин.

Июня 22-го дня
1723 году.

Господинъ камисаръ Павловъ,

Репортъ о питергоескихъ работахъ Его Императорское Величество изволил читать весь.

И принялъ за благо.

И указалъ тѣми работами поспѣшать къ празднику.

- А особливо галарей, что у союза конечно обѣ здѣлать къ празднику ж.
- И хотя только бѣлою краскою выкрасить!
- Такъ же и в верхнихъ галарейхъ полы здѣлать конечно ко оному же времени.
- И малыми дождевыми каналами, кои вновь дѣлаютца, поспешать.
- Того ради оными работами поспѣшайте, дабы конечно къ празднику здѣланы были. И в томъ имѣй неунынное стараніе і мастеровъ в томъ принуждай, а особливо Мишеля в додѣлке галерей у слюза!

Слуга вашъ

Ульянъ Синявин.

Из Санктъ П. Б.
дня 24-го іюня
1723 году.

Благородный господинъ камисар, [Карпов]

По приказу господина директора над строениями Ульяна Акимовича отправлены отсюда в Питергоеъ на шлюпке сво резного дѣла мастер Кондрат Оснеръ да колокольной игральной мастер Оерстер.

А на той шлюпке изволте прислать сюда тотчас для золочения желѣзной болшой двери в грот Лѣтняго дому Его Императорского Величества моляра Оедора Григорьева з двумя ево учениками.

Да для згону отсюда ж в Питергоеъ пилованных досокъ в плотяхъ приплите сюда две шлюпки немедленно, о семъ пишу вамъ приказ от ево ж господина директора и остаюсь

слуга вашъ

Иван Румянцов.

Из Санктъ П. Бурха.

Июнь 24 дня
1723-го.

Господинъ камисаръ Павловъ,

Понеже у Болшихъ еантанов, что против Болшой гладкой каскады, где положены трубы, не токмо что лошадь, но и человекъ можетъ провалитца, такъ же і в другихъ во многихъ мѣстахъ такая худоба есть, чего надлѣжало было смотреть тебѣ неоплошно.

Того ради оныя всѣ мѣста вели укрѣпить конечно завтре.

А ежели гдѣ явитца такая худоба, то взыщетца на тебѣ!

Ульянъ Синявин.

Июня 30-го дня
1723 году.

7

Господинъ камисаръ Павловъ,

Для дѣла в Санктъ Питербурхе на реке Охтѣ блоков к оснаске новоманерных романовок отправь отсюда на присланном оттуда щерботѣ с веревками — на оснаску здѣсь новоманерной романовки — Нарвского пять человекъ салдатъ, которые дѣлаютъ тѣ блоки, и вели имъ явитца маэру Заборовскому.

А присланными веревками вели осначивать романовку и на нѣе дѣлать косые парусы, какие надлежить, с поспѣшеннемъ,

Слуга вашъ

Ульянъ Синявин.

Июня въ 30 день
1723.

8

Государь мой Ульянъ Якимовичъ,

Его Императорское Величество вчерашняго числа указал:

с Котлина острова в Питергофъ отправить пушку и с полковыхъ пушекъ
и к ней десять ядер
и пуд пороху.

И она пушка в Питеръ послана и велѣлъ объявить вашей милости.

Слуга вашъ,

моего государя,

Василей Порошин.

Июля 10 дня
1723 году.

9

Господину камисару Павлову.

Господинъ камисаръ Павловъ,

Надлежить каскады и перед Малым гротомъ площадку крыть свинцовыми досками.

Того ради прикажи еранцузу Полселему заготовливать доски свинцовые с поспѣшеннемъ.

И вели вынести с Казенного двора станы из-ызбѣ — в чемъ выливаютъ свинцовые доски — в анбар, в которомъ дѣлаетъ нынѣ столяръ Оарсуар, и придѣлай тутъ одну печь, о чемъ я и с еранцузомъ говорил,

дабы на Казенномъ дворѣ от пожарного случая вреду какой не было!

А какъ доски будутъ в готовности, чтобъ оное дѣлать с позволения архитекта Микентия.

Момплезиръ вели крыть желѣзными досками с поспѣшеннемъ, дабы не упустить нынѣшняго удобного, и вели накрыть намѣтомъ,

дабы от дождя какой вреду не было!

Антону Квадриу прикажи, чтобъ в Момплезире берегъ штукаторную работу, гдѣ надлежить, и чтобъ у трубъ гдѣ в близости дерева отнюдь никакого не было!

Десять человекъ салдатъ из столяровъ пришли в Стрелину мызу немедленно для садовой работы и вели имъ явитца камисару Басманову.

Кровельной мастеръ здѣсь явился, которому вели доски заготовливать и крыть Момплезиръ.

Роспись, которую ты ко мнѣ прислалъ, однѣмъ санктъ-питербургскимъ послалъ, а нарвскимъ, которые у тебя прописаны, ко мнѣ не присылывалъ —

и для чего такъ мотаешь и время тратишь, не знаю!

Которую послал к тебѣ назад, переписав, присылай сего дня в канцелярию к вечеру.

Ульянъ Синявин.

Из Стрелиной мызы.

Июля 16 дня

1723 году.

Печать.

10

Господинъ камисаръ Павловъ,

Требовалъ мастеръ Кардасей бѣлого камня тритцать штукъ на бассейн и перед кашкадою, которого в Питеръ Гоевъ нѣтъ. А отбиралъ тотъ камень онъ в Стрелиной —

которымъ уже і такъ все дѣла остановились!

Нынѣ писал я к порутчику Савенкову, чтоб тот камень возили извозчиками с Пудоси. Которое письмо при сем посылаю к вамъ, такъ же і казенных лошадей, кои у тебя есть, управя роспуски і дав на корм темъ лошадямъ овса, посылай для взятъя того камня на Пудос.

И вели тѣ бассейны камнем конечно отдѣлать, і в двух малых прудах вышиною, какъ другіе деревом отдѣлать.

По дорогам и гдѣ кладены чугунные и деревянные трубы осмотри вѣзде. И ѣзди на лошадяхъ, чтоб везде набито было глиною, дабы лошадь нигдѣ не проваливалась, а паче того смотри в Момплезирѣ!

А ежели гдѣ не усмотришь и не укрѣплено будетъ, и то все взыщется на тебѣ,

понеже я многократно о том словесно тебѣ приказывалъ!

Для золоченья урнов и росписыванья бѣседки живописцовъ, золотарей и золота требуй ис канцеляріи. И вели дѣлать в одном елигерѣ печи, а печников и обрасцовъ требуй же из Стрелиной.

На Гладкой Марлинской каскаде, какъ показано от Земцова ж, столярному мастеру [Мишелю] и Кардасю вели дѣлать немедленно галарей у слюза. Вели отдѣлывать совсем в отдѣлку и болясы покрыть краскою хотя бѣлою.

Вставни или затворы в Малых полатахъ у спални і у другихъ полатъ вели здѣлать такъ, какъ в Момплезирѣ, или какъ Мишел присовѣтуеть.

Ульянъ Синявин.

Из Санктъ П. Бурха.

Июля 17-го дня

1723 году.

11

Господин камисар Павловъ,

В Питергоее кашкады и фонтаны, которые отправляли италианцы, от архитекта Микентія велено отдать в смотреніе фонтанному мастеру Полсолему, которые сего дня архитект Микентіи ему и отдалъ.

А что въ техъ вѣденіи было инструментовъ і паяльщиков і всяких мастеровыхъ людей, немедленно отдай с росписью и с-ымяннымъ списком, и о томъ меня репортуй.

А ис тѣхъ паяльщиков и литейщиковъ двухъ добрыхъ и четырехъ из учеников, і что понадобится инструментовъ отдай кровельному мастеру шведу Константину Генекре,

которому надлежит в Момплезирѣ полаты і кашкады крыть свинцомъ.

І материалъ всякой отпускайте без остановки.

Слуга вашъ

Ульянъ Синявин.

Пітергоевъ.

Июля 27-го дня

1723-го году.

12

Господинъ комисар Павлов,

При семъ посылаетца письмо к господину подполковнику Путилову о посылке изъ санктъ-петербургскихъ салдатъ двухъ-сотъ человѣкъ.

В то число пятьдесятъ і с ними одного доброго капрала отправте сюда —

которые в росписи написаны і в Военную коллегию подадутца —

которымъ надлѣжитъ быть здѣсь у каменной работы бесперемѣнно.

Слуга вашъ

Ульянъ Синявинъ.

Июля 28-го дня

1723.

13

Господинъ комисар Павлов,

Вчерашняго дня Его Императорское Величество изволил указать:

— кругомъ Эрмитажа сваи не бить, а дѣлать кирпичемъ в одинъ рядъ с сементью или какъ покажетъ полатный мастеръ галанецъ [Браунштейн];

— на Большой Гладкой Марлинской кашкаде ступени дѣлать до самой горы деревянные и овалы столярные, а ступени изъ досокъ, которые можно б было конопатить в Момплезирѣ в крытыхъ дорогахъ;

— у одной фонтанны малой в скамѣрке боковъ прибавить, а ступеней унизить, и у обоихъ внизу окласть галанскимъ кирпичемъ.

Того ради по оному Его Императорского Величества указу упомянутые работы вели мастерамъ делать с поспѣшеніемъ.

И самъ надъ ними смотри с прилѣжанцемъ, чтобъ отправлялись безъ остановки!

И какъ которая работа начнетца или окончатца, о томъ меня репортуй тотчасъ.

Ульянъ Синявин.

Августа 1-го дня

1723-го году.

14

Господинъ комисар Павлов,

Яхту фрижскую, которая приведена сюда изъ Санктъ-Петербургъ и отнесена в Верхней сад в пруд, у послонного на нѣй изъ Адмиралтейства квартирмейстера Архипа Жилкина вели принять со всемъ такалажемъ, отписавъ, что чего імянно.

І какъ принято будетъ і с какимъ такалажемъ меня репортуй писменно тотчасъ.

Ульянъ Синявин.

Пітеръ гофъ.

Августа 2-го дня

1723.

*

1723 году августа въ 2 день принета яхта рижская на пруде в Верхнемъ огороде у квартирмейстера Архипа Жилкина:

машта со всею снастью, толко у машты попорчено гнездо,

одинъ гротъселъ,

одинъ еокъселъ,

руль и с рушпилемъ,

одинъ елагъ и с елагштокомъ,

одинъ елюгар,

шесть весел,
три крука,
две лейки,
шесть окончинь слуденыхъ,
да четыре круглыхъ малыхъ,
одинъ брезентъ крашеной,
два шверца,
одинъ гротшкотъ,
одинъ гикъ.

Вышепомянутую ягту рижскую принял Преображенского полку караулной капраль обозной Тимошей Щербачев.

К сей росписке архитектурной ученик Михайла Петров руку приложил.

15

Господинъ комисар Павловъ,

Сего часа указал Его Императорское Величество именным своим указом:

— смотрѣть накрѣпко, чтобъ никто, а особли чужестранныя послы и посланники и протчии иноземцы в Питеръ Гоѣе не были, и не пускали б!

И для того поставь караул, как в Гавани, так и на сухомъ пути за мызниковымъ дворомъ у мосту; и от Аранибома повели смотрѣть накрѣпко, чтобъ такихъ не пропускали, понеже посланники намѣрены ѣхать сухимъ путемъ, что Его Величество изволил именно указать мнѣ.

Кашкады, как по лесницам, так и в Момплезире с великимъ поспѣшеніемъ отдѣлывали б;

у слюза галарѣи и зимцы прибывали и росписывали б;

и где еще надлежит к расписанию кашкад и протчего, чтоб в завтрѣ все сделано было.

Ульянъ Синявин.

На корабле лесном
на якоре при Кроншлоте
в 7 день августа
1723-го.

16

Благородный господин комисар
Степанъ Карповиъ, [Карпов]

По Его Императорского Величества указу из Военной коллегіи в Нарвской гварнизонной полкъ — письменным повелительством от Главной артиллеріи в Санкт Питеръ Бурхе — получено новое ружье.

А за неимуществом перемид в квартирахъ оное ружье содержать опасно пожарного случая.

Того ради покорно прошу на дело при лагере перемид во оном полку повелено б было определить лесу и тесницъ, сколько потребно будет.

А ежели в том довольства не имѣетца, повелено б было камандровать ис полку для припасения к делу техъ перемид в лесъ салдать пристойное число, в чемъ бы оному ружью иметь охранение.

И на сие от вашей милости требую резолюции или именного известия.

Покорный слуга вашъ

Питеръ Гоѣе.

Иван Хотяинъцевъ.

Августа — дня

1723 году

Подано 7-го дня.

Благородный господин камисар
Степанъ Карповичъ, [Карпов]

Понеже высоким Его Императорского Величества все-милостивѣйшимъ указомъ — для прилежащих Его Императорского Величества работъ в Питергоѣ — предложено Нарвской гварнизонной полкъ доволствовать заработными денгами Его Императорского Величества ис Кабинѣта, которых получено евраля от 1 числа сего 723-о году на четыре мѣсяца,

и за подаaniemъ от полку ведомостѣй в Канцелярію Питергоѣского Строения под вашим вѣденнемъ держатца оные многое время.

А понеже во оной полкъ опредѣлены рекруты, которые для неимущества их употреблены по шесткам к старым салдатам — с которыми в работах имѣют быть равно, а денежного жалованья, как от камисарства, тако и заработных, не получают для того, что еще не заслужили, — а за долговременнымъ неполучениемъ оныхъ заработныхъ денегъ и старые салдаты, воздерживая оныхъ рекрутъ на своемъ коште, приходятъ в неимущество ж,

потому что техъ заработныхъ денег не получали на 7 мѣсяцов, —

отчего в прошедшемъ июле и сего августа в разныхъ числѣх ис тѣхъ рекрут, будучи в работѣ и видя к пропитанию неимущество, ис полку сбѣжало десять человекъ, чего і впредъ опасно.

Дабы о вышеписанном от неизвѣстия моего на нас взыскано не было, того ради о долговременномъ задержании помянутыхъ заработныхъ денегъ требую на сие писменного известия,

с которого надлежит намъ писменно же о томъ репортовать его высокопревосходительству господину генералу маэру и лейбъгвардии маэру Ивану Ильичу Дмитрѣеву-Мемонову, понеже присланнымъ от его ордеромъ июля в 28 числѣ оной полк повелѣно ему имѣть в командѣ своей и обо всемъ ево, господина генерала, нам репортовать.

Покорный слуга вашъ

Иванъ Хотяннѣцовъ.

Петергоѣ.
Августа 7-го дня
1723 году.

Господинъ камисар Павловъ,

В Момплезире по другую сторону шайфы іли чюланецъ конечно вели поставить і росписать, а в нужнике сукном зеленым столчак і стены убитъ.

Оо елигире ко всемъ дверямъ зомки прирезать.

І вычистить і насыпать мосжевельником, содовнику скажи, подле Болшева пруда, ров покрыть досками і засыпать землю, буде успѣть сегодня сделать, буде же не успѣть, чтоб не розчинал, і рыбу, как возможно, за решетку вели сажать болше і присланную карпи вели тут же посадить.

Салдаты Питергоѣской каманды и -Этрелиной мызы сойми, а оставъ пятьдесят человекъ, кои у каменной тѣски, о чемъ к Бачманову при семъ писмо.

А яхта, которая прислана от свѣтлѣйшаго князя [Меншикова], вели поконопатить і починить, не вынимая, в боссейне, поволя на бокъ.

И на всех работах чтоб исправно было —

надѣюсь, что завтра Императорское Величество
будить Бронштейну да сех мѣсть.

Дай плюпку и пришли ево немедленно сюда!

А квартирмистеру вели явитца у меня.

Оо елигире краватей по пяти и по шти надобно изгото-
вить и столов чтоб было числом двадцать и с старыми; а
кроватей не худо б чтоб и больше изготовить.

В голорях штукотурную работу надобно конечно по-
спешить, и очистить начисто вес соръ по дорогамъ —
с подкреплением содовнику прикажи!

Мосты в Верхних голорях чтоб глатки были и крепки,
где ставитца будут игры, и провести покрытой каналець
от саду мимо енгерей, чтоб вода не вливалась на мост с
огороду.

Учеников, как на кошках, такъ на еонтанных, опре-
делить лутчих, отменных, и зделать имъ роспись и опреде-
лить над ними добрых урядниковъ и капралов,

дабы всяко свое мѣсто знал и меня репортовать!

Слуга вашъ

Ульянъ Синявин.

Котлинъ островъ.

Августа 10 дня

1723 году.

19

Господин камисар Павловъ,

Сего числа Его Императорское Величество изволил чи-
тать репортъ о обрѣтающихся нынѣ при Питергое у ра-
ботъ ундероеницерах, капралах и рядовых.

И указал здѣлать репортъ:

— коликое число людей х каким работамъ по-
рознь надобно?

И объявить Его Величеству.

Того ради, какъ сего дня мастера будут требовать к
завтрешнему дню к работам людей, вели записывать по-
рознь —

слолко х какой работе надобно,

и с той записки такъ же —

сколько в каких расходах и в отлучках порозных
людей.

Учиня подлинной репортъ, подай мнѣ завтрешняго
дня рано,

которой надлѣжит мнѣ объявить Его Император-
скому Величеству.

Слуга ваш

Ульянъ Синявин.

Питергофъ.

Августа въ 15 день

1723 году.

20

Господинъ камисаръ Павловъ,

Понеже в Санктъ Питеръ Бурхе в Лѣтнем домѣ Его
Императорского Величества в каменном строеніи имѣетца
великая нужда, того ради каменщиков всехъ отправь тот
час кромѣ тѣхъ, которые живут на Мартышкинских заво-
дах, а вмѣсто ихъ употреби х каменной тѣски салдатъ,
кои у нас в имянном списке написаны и беземѣнно имѣ-
ютца.

И вели быть у того дѣла, какъ зиму, такъ и лѣто, всег-
да сту человеком з добрыми урядники и капралы, и в ре-
эстръ к доношению их написать,

понеже плиты гладкой из Нарвы привезено будет не малое число, которую надобно тесать к полированію на мельницѣ в Питергофе.

И выпечисанным каменщиком дай шхерботъ или островку меншую, дабы они совсемъ тутъ убрались (совсем) и были сего дня к вечеру, а конечно завтра рано к Лѣтнему дому і явились у капитана Ягнетева.

И для того пошли с ними доброго капрала, чтоб в пути нигдѣ не мешкали.

Реэстръ к доношению с Петром Борисовым немедленно сделайте!

И объяви архитектору Бронштейну и мастерам, чтоб требовали людей к работамъ, кои имъ повелены дѣлать, со удовольствием,

дабы вперед прибавочных не требовать, и не проронили б какой работы.

И к тому вам надобно прочесть все пункты, смотря по плану, из сего, как вам, так и им, можно лутче выразуметь все работы.

И как здѣлаешь, присылай с Петром Борисовым тотчас, а не хуже б, что и сам приедешь хоть на малое время —

А лутчи приехать!

Еонтанному мастеру [Полсолему] скажи, чтоб по писму моему, с которого остав у себя копию, оправлял немедленно, а особливо в Момплезиере. И над трубою чтоб набить накрепко глянѣть не так, как нынѣ, чего надлежит садовнику.

Слуга вашъ

Ульянъ Синявинъ.

Августа въ 17 день
1723.

★

Копия.

Еонтанной мастеръ Солемъ, [Полсолем] .

Его Императорское Величество указал:

в лѣсницах по обѣ стороны Большого канала к Малым капкадамъ привести от Болшихъ фонтанъ, что в партерахъ, как вамъ о томъ приказывано, в Момплезирѣ к нужнику от Большой еонтанны чюгунные трубы; и свинцовый ящик, кой в столчаке, поднять выше, из лягушки чтоб было такую ж пропорцію вода, какъ из другой, которую ты починивалъ.

Того ради выпечисанные дѣла отправляй немедленно. У подлинного подписано тако:

Ульянъ Синявинъ.

Таково писмо послано из Стрелиной Баталиона от Строеней с салдатом Евсевьемъ Смирновымъ августа 17-го дня 1723-го году.

21

Господин комисар Павлов,

Как скоро возможно ревельскую плиту, которая послана от Радиона Михайловича Кошелева, вели полировать.

А сколько есть в готовности, тотчасъ вели перевезть на пристанъ и отправляй на присланномъ от него боту.

И каменщиков и с-ыструментами тотъча присылай, о которыхъ к тебѣ писано.

Слуга вашъ

Ульянъ Синявинъ.

Августа въ 19 день
1723.

Господинъ комисар Павловъ,

Сего числа отправлены отсюда из Канцелярии от Строеней в Питер Гоевъ для работ —

резного дела мастера иноземцы: Францъ Цыглер, Кондрат Оснер.

Да с ними —

две большія деревянные лежащие еигуры, которые делал здесь помянутой Цыглер, х концам стоков, что по обѣ стороны слюза в Большом канале,

да один драк деревянной же, которой делал здесь же резного деревянного дела мастер Пиннови для еонтану в нишелях решетчатых, также две кѳрицы деревянные.

И как оные мастера с помянутыми еигуры в Питергоевъ прибудутъ, вели означенному мастеру Цыглеру двѣ большіе еигуры переделывать, какъ Его Императорского Величества указом повелено, с великим поспещением,

дабы к пришествію Его Величества в Питергоевъ оные были в готовности!

И ежели оной Цыглер к той переделке вспоможение будет требовать резных мастеров, определили к нему всех, кои обретаются нынѣ в Питергоевъ, и с мастером Сенло-рамом.

А к драку деревянному и к деревянным курицам вели заготовливать еантанному мастеру удобные свинцовые трубки для еантану в нишелях с великим жѣ поспещением.

И помянутому посланному в Питергоевъ резному мастеру Оснеру вели камисару Елчанинову выдать в зачет ево

заслуженного жалованья на прошлой 722 году сто рублей записав в расход с роспискою.

Также чтоб и с покрывальным мастером кровел [Константинъ Генекре] (чтоб) за работу ево в Питергоевъ расплатился немедленно,

понеже оной о том непрестанно докучает.

Слуга вашъ

Ульянъ Синявин.

Санктъ Питербурхъ.

Сентября 3 дня

723-го году.

Господин камисар Павловъ,

Императорское Величество указалъ имяннымъ своимъ указомъ:

когда прибудет в Питергоевъ — а имянно завтре или после завтре — пруской посланник Мардоелтъ, то какъ кашкадъ, такъ и еантанны, все велите отворить и показать ему.

Посланы к вамъ еигуры деревянные для еантанъ, также и мастера, о которых ведомости от вас не имею.

И репорту обо всех работах ко мнѣ сюда не присылаешъ, а в писмах своих пишешъ о работах не о всех, — чему я зело удивляюся!

Того часу меня репортуй обо всехъ работах, а особливо какъ могут поспеть две новыя еантанны в нишелях?

і какъ возможно скоро ими поспешать вели!

и х которому дни прислать для молеванья живописца Коваку?

В Большем канале починкою, как можно, поспѣшай!
надеюсь Его Величество изволить итить в Питергоѣ в будущей вторникъ.

Къ делу Шпитали имѣетца нужда в столярах, пришли человека четыре из салдат и с-ынструментами тотчасъ.

Василию Елчанинову скажи, чтоб сено, овесъ и солому казеннымъ лошедемъ готовить —
и лошадей беречь надобно и кормить казенных для воски материалов!

Слуга вашъ
Ульянъ Синявинъ.

Р. С. Кругом Ермитажа в канале, как стенкою каменной, так и фашинами от моря, и всею работаю, какъ скоро возможно, поспѣшай, такжѣ и речки, кои ведутца ис малого прудка,

чтобы готовы были к пришествию Его Величества.

Из Санктъ Питербурха.
Сентября 7-го дня
1723.

★

Милостивой государь мой
Ульянъ Акимовичъ,

Во извѣстие вам, государю моему, предлагаю о питергоѣских работахъ, а именно:

в Большем канале разломанной стены на 11 сажен, — в том числе камнем выложено и глиною набито, а дерном не выслано, на 5 сажен до

сего числа, той же стены на 6 сажен сваи быют и станут связи класть;
по горе к перемиде канала, сверху прежних осмидесят двух сажен, выкопано вновь 66 сажен; у Армитажу стѣнку каменную, которая против прешпективой что к Зимнему дому, заложили сего сентября 4-го дня — длиною на 10 сажен, шириною в 2 еутъ без дву дюймов, вышиною выложено на 2 еута;
на четвертой сторонѣ стѣнки — в одну линѣю сваи побиты, брусъе наложены и щиты защают, в другую линѣю сваи быють и сегодня начнут на-дво связи класть;
от моря под еашин землю ровняютъ;
от малого прудка рѣчки мѣлким камнем выкладываютъ, перемиду дѣлают.

Сентября 6-го дня 1723-го послано с еатермистром с Михайлом Колотвиным. [Комисар Павлов]

24

Господину камисару
Степану Карповичу
его милости Карпову.
Государь мой Степан Карповичъ,

Сего сентября 7 дня писал ко мнѣ оберъ-говъ-местеръ Матвѣй Дмитревичъ Алсуевъ, что Его Императорское Величество указалъ —

господину прускому посланнику в Питергоѣ показать воды еантанные и прочие.

С которого писма при сем прилагаю копию.

Того ради изволте приказать утре воды еонтанные и протчие пустить —

понеже оной посланникъ прибыл в Питергоё.

С. А.

Вашей милости слуга

Carl Arnander.

Сентября 7-го дня

1723-го году.

печать

★

Копия.

Государь мой Карль Монсовичъ,

Его Императорское Величество указал —

господину прускому посланнику Мардоелю в Питергоёе показать воды еантанные и протчие.

И поѣдетъ оной посланникъ сего числа.

И какъ прибудетъ, извол ему и при нем протчим персонам дать квартиру, гдѣ вы нынѣ живете. И лошадям давать овесъ и сено, пока он в Питергоёе будетъ. Такъ же и для поѣздки в алѣях дать ему линею и - старых, понеже он скорбен ногами, и для того пошли х конюхам, чтоб она линея была готова.

Так же ежели оной господин посланникъ постребуеъ каких питей и кушанья, и вы его удовлетвуйте; а что каких питей и кушанья и протчего будет издержано, о том ко мнѣ пришли извѣстие.

У подлинного писма написано:

оберъ-говъ-мейстеръ

Матвѣй Олсуебез.

Питербурхъ.

Сентября 7-го дня

1723-го году.

25

Господинъ камисар Павлов,

Приложенные при сем писма к господину контръ-адмиралу Сандерсу да к полковнику Островскому, и оные, кой часъ получишь, того часа пошли на Котлин островъ, понеже во оных писано об отправленіи к строению Гопспитали одного баталиона салдаты.

И как отданы будут, тот час пришли репортъ, а имянно пошли на шлюпкѣ.

Слуга вашъ

Ульянъ Синявин.

Из Санктъ Питеръ бурха.

Сентября 9-го дня

1723.

26

Государь мой Василей Ивановичъ, [Елчанинов]

По писму вашей милости о поялнике Потапе Басемщикове писал я к господину директору над строениями Ульяну Акимовичу Синявину.

А без вѣдома ево, господина директора, того поялника к вашей милости прислать не смѣю.

Ноября 7-го дня 1723-го году отдано Ѳедору Аничкову.

[Комисар Павлов]

27

Господинъ камисаръ Павловъ,

Сего числа светлѣйшиі князь Александръ Даниловичъ Меншиковъ изволил приказать —

всем Санкт-Петербургским гварнизонным полкам, обрѣтающимся в Питергоее у работ, быть сюда к Богоявленневу дни для стояния на воде.

И о том будь свѣдом и у мастеровых людей из салдат оных полков инструменты вели все отобрать в казену. А какъ оные паки в Питергоее возвратятца, тогда по прежнему им тѣ инструменты отдайте им.

Ульянъ Синявинъ.

Слуга вашъ

Из Санкт-питер бурха.

Декабря 25-го дня
1723 году.

★

Милостивый государь мой
Ульянъ Акимовичъ,

В ордере вашем, государя моего, ко мнѣ писано, (сего де числа):

«светлейший князь Александръ Даниловичъ Менщиков изволил приказать всем Санкт-Петербургским гварнизонным полкам, обретающимся в Питергоее у работ, быть в Санкт Питер-Бурхѣ к Богоявленневу дни для стояния на воду.»

И на оное вам, государю моему, во извѣстие предлагаю вышеозначенных полков солдаты, на караулах которые обретаются при Питергоее, а имянно:

на Столярномъ дворе (на ко) на карауле и для убирания досок і воски дров для топления мастерских изб:

капрал — 1

салдат — 6

у Эрмитажа — 2

на Казенном дворе у материалов:

капрал — 1

салдат — 2

на пристани у Казенных анбаров — у правянт-ту і материалов — 3

на бабьем гону, во дворце, у магазейна, у слуга и у колесъ:

капрал — 1

салдат — 14

на питергоеских кирпичных заводах у кирпича і для окальвания пристани — 2

в Ранибоме у принятых досок:

капрал — 1

салдат — 3

у приему на казенных лошадей оуражу і с Пудожских заводов у воски і у приему ж камня:

(са) капрал — 1

Всего по вышеозначенным мѣстам:

капралов — 5

салдат — 32

которые в тех мѣстах обретаются безмѣнно.

А пробывать без нихъ невозможно.

И тѣхъ капраловъ і салдат посылать ли? о том что благоволиш имъ? — понеже в тѣх смѣнах интересу его (і в) чинитца многая (пропажа) трата.

Декабря 26-го дня 1723-го году послано Нарвского полку (с салдатом) з барабанщиком с Сергѣем Буслаевым в 11-м часу вначале.

О обираниі із салдат у мастеровыхъ людей питербургскихъ полковъ инструментовъ писано х камисару Василью Елчанинову.

А когда возвратятся, велено отдать.

Декабря 26-го дня.

[Комисар Павлов]

28

Государь мой Степан Карпович, [Карпов]

В бытность его высоко-княжеской светлости в Аранибскомъ доме изволил до вас писать,

чтоб отправить для рубки еашин в камандованные полки салдата для оклада в Кронштате города сто сорок девять тапаровъ.

И оные тапоры в Аранибскомъ доме приняты, а нынѣ посланы да вашей милости са канюшникомъ Федосеемъ Кароткимъ, которые прикажите принять, а о приеме насъ писменно уведомить.

Слуга вашъ, моего государя,
порутчикъ Сергѣй Бурцовъ.

Декабря въ 30 день
1723-го году.

29

Государь мой Семень Михайловичъ,

В указе Его Императорского Величества ис Канцелярии от строений к дѣламъ Стрелинского строению сего генваря 4-го дня написано:

велено по промемории, присланной из Дворцовой канцелярии, для окладывания в Дубкахъ де-

рев принят от васъ ис Красного села соломы от молодбы десятиннаго хлѣба дватцать возов весомъ четыре ста пуд, которую і перевезть велено в Дубки того Краснаго села на дворцовыхъ подводахъ сего генваря в перьвыхъ числахъ; а за провоз той соломы до Дубковъ выдано будетъ на каждую подводу по одной денге на версту.

І об отпуске и отвозѣ помянутой соломы из Дворцовой канцелярии к вамъ указъ посланъ.

Того ради, государь мой, прикажи помянутое число соломы пуд на дворцовыхъ того села подводахъ в Дубки отпустить с посланнымъ для оного отправления от насъ Преображенскаго полку из отставныхъ солдат і капраловъ Исаемъ Брюховымъ,

дабы за неотвозъ в Дубки оного числа соломы вперед на насъ не взыскалося.

Ваш, милостивого государя моего,
слуга

Иван Бачмановъ.

Генваря 8-го дня
1724 году.

РЕЗНОЙ МАСТЕР

1725-ый год — царствование Екатерины Алексеевны (1725 — 1727).

Со смерти Петра прошло несколько месяцев, работа идет, как ни в чем не бывало.

Петровский упор необычаен — надолго хватит.

Это — «воля к деянию» такая страсть — действует и тогда, если даже сам-то человек оногожен, действует и после смерти.

Петровские мастера — люди такой страсти, отчасти и зараженные или вернее завороженные Петром, его необычайным упором и кичью работы: страсть к работе заразительна, как и противоположность ее — тля праздная.

Резного дела мастер — резной мастер Франц Циглер!

Два года назад, в 1723-м, Франц Циглер сделал в Петербурге две больших деревянных лежащих фигуры — «к концам стоков, что по обе стороны слюза (шлюза) в Большом канале». И повез их с другим резным мастером Конрадом Оснером в Петергоф вместе с двумя деревянными курицами и деревянным драком — работа резного деревянного дела мастера Пинови «для фонтану в нишах решетчатых».

В Питергофе Франц Циглер должен был переделать по указанию Петра эти большие фигуры, при этом в его распоряжении были все находящиеся о ту пору в Петергофе резные мастера и Конрад Оснер и Фарсуар и Эдгар Эль-Крисар и Кардасей (Coeur Dacier) и сам мастер Сенлорам.

Из Петергофа Франц Циглер перебрался в Москву к работам на Головинский двор (дворец), а когда на Головинском дворе стройка прекратилась, попал в Госпиталь к «Гоешпитальному строению».

Он лежит в «паралижной болезни» — руками и ногами не владеет, а образцы делает и за работами смотрит! — всегда к работам является.

Так доносит госпитальный доктор Николай Бидлоо и добавляет, что человек он нужный и «впредь к госпитальному строению нужен будет».

О чудодейственном резном мастере рассказывают и штукатуры (штукаторы) Фрол Борисов с товарищи: они

работали на дворце подле Яузы, а теперь в Госпитале же — в церкви и в Анатомическом театре.

— Руками и ногами не владеет, а образцы делает и к работам всегда является, вот это мастер!

1.

Благородный господинъ поруччикъ,

Письмо ваше сего 1725 году июля 19 числа получилось, через которое вы изволите требовать:

что штукаторы Фроль Борисов с товарищи дѣлали и в каком дѣлѣ нынѣ обрѣтаются?

По котором отвѣтствую:

что прежде работали у Государыни Императрицы на дворце подлѣ Яузы рѣки, а нынѣ в Гоешпиталѣ в штукаторной работѣ обрѣтаются в церквѣ и в Театрѣ анатомическомъ и в протчихъ.

А резной мастер Францъ Цыглеръ в паралижной болѣзнии лѣжитъ — руками и ногами не владѣетъ — однако жъ нам дѣлаетъ и помогает, сколько можетъ.

Остаюсь вашъ доброжелатель

1725 годъ.

N. Bidloo.

Июль 27.

2

Благородный господинъ поруччикъ,

По вашему писму от сентября 17 писанному, отвѣтствую:

что мастеръ Францъ Цыглеръ нынѣ у работъ на Головинскомъ дворѣ не обрѣтается, понеже там

нынѣ стронть вновь ничего не указало, того ради оттуду взять нынѣ къ Гошпиталному строению, гдѣ у работъ и обрѣтается и, сколка может по болѣзни своей, работать и над прочими надзирает и всегда к работамъ является.

И потому, понеже в службѣ обрѣтается под моею командою, жалованья ему на майскую треть выдать надлежитъ. А впредь к Гошпиталному строению нужень будетъ.

В протчем пребываю вашъ усердный
доброжелатель

Доктр Николай Бидлоо.

N. Bidloo.

Сентябрь 19 дня
1725 года.

Писмо сие присокопить к выписке 1725 года.

КРАСНАЯ ВОРОНА

1732-ой год — царствование Анны Иоановны.
(1730—1740).

Самая из русских русская царица, дочь царя Ивана Алексеевича, брата Петра, (1682—1689) и Прасковьи Федоровны, урож. Салтыковой. Вся в ширь — императрица! — ножка белого гриба с «напачканными» бровями.

(При дворе такая мода была: пачкать брови).

А круг — рощи, сады, огороды, птичники, курятники, «ранжерея».

В садах — погреба, в погребах — коренья и овощи про обиход императрицы: петрушка, постарнак (пустарнак), порей, сельдерей, морковь, репка, свекла, ондивы.

В птичнике в железной клетке кинарейки.

А живут еще в клетках же красные вороны.

Сад насадил Петр и всяких птиц вывез из Голландии и красных воронов. И на огородах петровские солдаты старики караулят — Иван Замараев да Артемий Русинов из Батальона от Строений.

Сад разросся до невозможности.

— Решеточные ворота большим ветром сломило, и столбы у припнехта подгнилили и тоже большим ветром сломило.

Столярного дела подмастерье Димитрий Максимов ветхости все исправит — по памяти петровской.

А памяти идет конец — —

Нового ничего не строят, заканчивают петровские за-теи, заколачивают последние петровские гвозди — через годы Екатерины, через годы Петра внука — последний дыш петровской силы.

Уж восковую персону Его Императорского Величества велено по приказу обермаршала графа фон-Левенвольда отдать в Кунсткамеру (кунштѣкамору) к библиотекари-уу Шумахеру.

Скоро будет действовать первый русский зотчий Земцов, (1688—1743), ученик Трезина помощник, Леблona и Мекентива, скоро приедет из Парижа Растрелли сын и опять пойдет дым коромыслом — Елизаветинская стройка! (1741—1761).

А пока что все в садах, огородах, рощах.

Петербург и Питергоф — курятник.

Запах помѣта, перьями и теплыми янцами.

Контора Садовых дел — все.

В Петербурге в Васильевском саду садовый мастер — Яган Эйк (Johann Neug), в Петергофе — садовых дел мастер Ле-ван-харнигфельт (Le van harnigfeltt) и старичок

птичник иноземец Симон Шталь (Simon Stahl), в Четвертом «Итальянском» саду садовый подмастерье Семен Лукьянов, в Конечном огороде смотритель прапорщик Алешутин.

А над всеми — Антон Кормедон — Антон Антонович — красная ворона!

★

Красные вороны — первая птица — за ними особый уход и забота.

Живут они в клетке, сидят на столбиках (второй столбик уж протоптали!), а кормятся или, как говорит любитель лесковских «писмовручительства» подканцелярист Петр Часовников, «принимают пищу» в корыте (все корыто продолбили!)

Как привезли их в Питергоф — «к пришествию в Петергоф Его Императорского Величества» — да как раскрыли клетку, все диву дались.

— Что за вороны!

— Ну, и вороны!

— Красные вороны! — сказал солдат Горохов.

Так и окрестили.

Птичник Шталь учил-кликал:

— Der Paragei.

Но ни садовые подмастерья, ни сама птица не откликались: птице понравилось русское прозвище.

Так и рапортовали (репортовали)

Это было еще в 1720-м году, когда верховодил кн. Алексей Михайлович Черкасский, а в подручных ходил при нем Борис Неронов.

А теперь обермаршал «его графское сиятельство и ордена святого Андрея кавалер» фон-Левенвольд, а под ним Антон Антонович Кормедон — красная ворона.

Так прозвали Антона Антоновича все садовники до Петра Шалошника и старосты Матвея Гиллера.

Да и сам Антон Антонович любит щегольнуть русским словом:

— Ich bin russische красная ворона!

★

На всякое садовое «доношение» «ведение» и «проме-морию» Антон Антонович кладет резолюцию.

Все равно — о еловых колях и тычье гороховом; о досках для делания столов и скамеек (скамеек) в сады и по рощам; о лейках для поливки (поливань) овощей и фруктов; о колесах под роспуски и одноколок (аднако-лак), на которых песок, черную землю возят, также навоз и прочая; о олове, говяжьим сале, нашатыре, деревянном масле для починки леек (леяк); о висячих замках большой руки и малой (такой размер); о дубовых кадках (катках) для держания воды в оранжереях (ранжарях); о починке чулана, «в котором будут сидеть подорожники»; о железном скребке для чистки (чиски) в клетках; о поташниках (поташниках) для ловления птиц; о пробной лопатке и кирке — все равно, так пропишет, будто не птичник, не сад, не огород, не роща, а вся Россия в его воле и власти, и всякое дело, чтобы немедленно —

Антон Кормедон

Да, много бывало чудес на Руси и каркать о ее гибели, только воздух портить!

Это я не вам, это я старикам петровским огородникам солдатам Замараеву да Русинову.

На Конечком огороде, что за Казачьею, вон они пригались на солнышке, вспоминают крутое Петровское время, —

когда были настоящие комиссары:

— Обер-комисар Ульян Акимович Синявин!

— Комисар Федор Акимович Синявин!

— Комисар Семен Михайлович Павлов!

— Комисар Степан Карпович Карпов!

— Комисар Федор Федорович Шатилов!

— Светлейший Римского и Российского государств и главный генерал и кавалер Александр Данилович Меншиков!

— Генерал-майор, лейбгвардии майор Дмитриев-Мемонов Иван Ильич!

Настоящие комиссары, не эти:

— Поручик Алешутин? майор Коробанов? Петр Мошков... разве что полковник Андрей Иванович Брунц...

Но главное-то — эта «красная ворона», она им вот где — Антон Кормедон.

— Погубит, мерзавец!

Ну, ничего,—от огородного духу ой как спится!—поворчат старички и задремлют на своем «прилежном смотре».

А сад разросся до невозможности и все растет, овощи поспевает, птицы топчутся, несут яйца, работа идет — в Канторе Садовых дел и в Валдместерской (б. Лесных дел) пишутся донесения.

А пишут, как говорят. Читай, как написано, русскому языку научись — русскому произношению.

1

В Кантору Садовых делъ
доношение.

Потребно Ея Императорского Величества в Василевской сад для горожения двора, гдѣ поставлѣны ученические покои, и для привяски шпалѣръ и протчих деревъ: кольев еловых две тысячи — длиною в полторы сажени, а в отрубъ толшины в три і в полтора дюйма ж, а менши бы полтора дюйма нѣ было, да дватцать возовъ тычья горохового.

Того ради прошу от Садово канторы, чтоб повелѣно было послать промѣморию Валтѣмѣстерскую кантору для того что, где она показала, Валтѣмѣстерская кантора покаже оныя кольца рубить, тако жъ і тычья.

О семъ доносит садово мастѣръ Яган Эйкъ.

Феврала — дня 1732 году.

Johann Neug.

Публиковать охотчим людям.

Февраль 12 дня 1732 году.

2

В Кантору Садовыхъ делъ
доношение.

Потребно Ея Императорского Величества в Василевском саду починить і вновь сделать, а имѣнно:

надлѣжит сделать решеточные ворота, которые большим ветромъ сломило сего іюля 1 дня, еще ж надобно починить прищехтъ по прищехтливой дороге от светолок, а оной прищехтъ росписан также по светолочному, а у оного

пришепта столбы подгнилили і оттого болшим
же ветромъ сломило,
еще жъ потребно зделать ізбу или погребъ хо-
рошей для сохранения кореньев і оwoце про оби-
ход Ея Императорскаго Величества в зиму,
также і конюшню казеннымъ лошадямъ.

І о томъ да соблаговолитъ Садовая кантора известить.

О семь доноситъ садовой мастѣрь Яганъ Эйкъ.

Юля — дня 1732 году.

Johann Heug.

№ 135 записано.

1732 году юля 6-го дня.

Записавъ показанные вѣтхости, осмотрить столярнаго
дѣла подмастерью Дмитрею Максимову. И каковая по ос-
мотру ево найдется ветхость, и что на починку оной на-
добно порознь материаловъ и мастеровыхъ людей, в Кан-
тору Садовыхъ дѣлъ репортовать. И о томъ к нему пос-
лать указъ.

Антонъ Кормедон.

3

В Кантору Садовыхъ дѣлъ
ведение.

Потребно в сады Ея Императорскаго Величества, тако-
же и по рощамъ, для делання столовъ и скамеекъ от-
пустить досокъ, а именно:

двудюймовыхъ — педесятъ,

полутарадюймовыхъ — дватцать.

Да еще прислать для воски дровъ, навозу и протчихъ
работъ восимъ лошадей.

Да прислать салѣдять или другихъ работныхъ людей
в работу для пересаживання деревъ и для воски черной
земли и протчихъ всякихъ садовыхъ работъ нынѣшнимъ
зимнемъ временямъ сто пяддесять чеоовѣкъ —

понеже которыя работали сто чеоовѣкъ салдять
и нынѣ отымаютца и повелено требовать
другихъ.

О семь требуетъ ис Питергова садовыхъ делъ мастѣрь

Le v. harnigfeltt.

Февралья въ 14 день 1732 году.

Выписать, что противъ в сей требованіе определено, і
предложить немедленно.

Февраль 16 дня 1732 году.

4

В Кантору Садовыхъ дѣлъ
ведение.

Надлежитъ зелать новыхъ леякъ изъ двойной жести —
десять для поливания овощей и оруктовъ,

да для починѣки выдать одинакой жести дватцать
листовъ,

да прислать столарей для делання столовъ, скамеекъ
в садахъ, такожъ и по рощамъ по удобнымъ местамъ,

да зелать колесъ большихъ подъ роспуски и адънако-
лакъ, на которыхъ песокъ, черную землю возять, тако жъ
навозъ и протчая, — двенатцать паръ окованныхъ,

да для пайки оконницъ в рамѣкахъ, тако жъ и для
і починакъ леякъ:

олова — пять оунтъ,

сала говяжъява — пять оунтъ,

наштырь — два еунта,
 масла деревянна — полътретя еунта;
 замьков висячихъ большой руки и малой — дватцать,
 да зельть или купить четыре катки дубовыхъ для
 держания воды в ранжереяхъ.

О семъ требуетъ Питеръгоескихъ садовъ садовыхъ
 дел мастеръ

Le v. harnigfeltt.

Еевралья въ 14 день 1732 году.

Выписать чево на лицо і предложить нымедленно.

Еевраль 16 дня 1732 году.

5

В Кантору Садовыхъ делъ
 доношение.

Потребно к воронамъ краснымъ для сидения ихъ зделать
 вновь два столбика по показанному моему образцу,
 да имеющейся в старомъ зимнемъ доме чюланъ почи-
 нить, в которомъ будутъ сидеть подорожники,
 да для чиски в клеткахъ зделать скребокъ железной по
 показанному ж от меня образцу,

к тому ж потребно для кормления вороновъ два корыта.

О семъ доноситъ птичникъ иноземецъ Симонъ Штал.

Марта — дня 1732 году.

H. S. Stahl.

Освѣдительствовавъ, требовать для дѣла материалъ і
 отправить немедленно.

Мартъ 8 дня 1732 году.

6

Кантору Садовыхъ делъ
 доношение.

Надлежитъ купить для ловления птицъ два потош-
 ника дленою по десети аршинъ,

да на оныя ж поташники холста — дватцать аршинъ
 ценою по алтыну,

дватцать гвоздей — в том числѣ десеть по полу-
 аршину да дѣсять по четъверти.

І отдать вышеписанное все Петру Шапашънику с
 роспискою.

H. S. Stahl.

Справеть, имѣйтсе на лицо і предложить нымедленно.
 Мартъ 10 дня 1732-году.

7

1732 г. еевралья въ 24 день.

В Кантору Садовыхъ делъ Четвертаго имянуемого Ита-
 лианского саду садовому подмастерью Семену Лукьянову.

Справясь, прислать известие сего числа, колико
 имѣйтца ныне на лицо петрушки и постарнаку и протчихъ
 поваренныхъ овощей, и прислать с симъ писмовручителемъ,
 ибо о томъ требуютъ сего числа известия Ея Императорского
 Величества в Придворную кантору.

Подканцеляристъ Петръ Часовниковъ.

И противъ сей вышеписанной справки в Четвертомъ
 Ея Императорского Величества саду имеется нынѣ на лицо
 корни в погребахъ;

петрушки — сотъ шесть,
 пустарнаку — четверика съ четьря,
 порою — ста (четыри) з два і болши,
 селдерей — ста три и болши, токмо уже и та
 портится, понеже уже время вешнее,
 моркови — четверика з два и болши,
 репки — четверика з два,
 а свекла в расходѣ, по ордеру из Канторы Садо-
 вых дел осталось на два дни,
 а ондиви и прочее в расходе і показано будетъ.

8

Господинъ прапорщикъ Алешутинъ,

По получении сего принять тебѣ от обретающихся в
 лазаретах ведомства Адмиралтействъ коллегіи от маэра
 господина Коробанова Конечкой огород, что за Казачьею,
 с описью и иметь оной под своим смотрением.

Чего ради для караулу реченного огорода определены
 из Баталиона от Строеней ис стариковъ салдаты два че-
 ловѣка, а имянно:

Иванъ Замараевъ, Артемей Русиновъ,

которым прикажи, дабы они в том огороде имели прилеж-
 ное смотрение.

А что в том огороде каких порознь в приеме будетъ
 деревъ и какое имеецца строение и городба, в Кантору
 Садовых делъ репортовать, понеже хотя для приему того
 огорода и определенъ был подмастерья Семенъ Лукьяновъ,
 и оной командруется в другое место.

Юня 22 дня 1732 году.

Салдаты Борисъ Гороховъ.

При сем посылаетца старостою Матвѣем Гиллеромъ
 промемория в Сестрорецкую кантору и при ней пробная
 лопатка да кирка.

И оные, приняв у старосты, отвесь на Сестрорецкие
 заводы.

И вручи господину полковнику Андрею ивановичу
 Брунцу и попроси ево ат мяня, чтоб пожаловалъ приказал
 оное исправить по силе промемории.

И в скорости исправить і переслать со онным выше-
 писанным старостою, (как он отправитца).

Марта 10 дня 1732 году.

№ 257 в. з.

10

Государь мой Антон Антонович,

Его граеское сиятельство обермаршелъ и ордена свя-
 таго Андрѣя ковалер еон-Левенъволдъ изволил приказать
 вамъ объявить:

чтоб персону Его Императорского Величества
 восковую, которая стоит в домѣ государя царе-
 вича, отдать в Кунштѣкамору,
 и другіе вынести в удобное место,
 и караул свести,
 и оные два покоя очистить.

И сие изволил приказать учинить немедленно.

Слуга вашь, моего государя,

Петръ Мошков.

Июль 8

1732.

Получено июля 10 дня.

1732 июля 10 дня. По указу Ея Императорского Величества о приемѣ той персоны писать к господину библеотекариусу Шумахеру.

Антон Кормедон.

Brunshaupten 1923

С. Киссин †

К Р А П И В А

1

У калитки куст крапивы.
Пыльный полдень, душный день.
По забору торопливо
Пробегающая тень.

Ну так что-ж, что день мой скучен,
Ну так что-ж, что пуст мой сад,
Что с печалью неразлучен
Мой сухой и мутный взгляд?

Жду, и жду, и жду упорно,
Жду, как ждут земля и сад:
Вот — рассыпанные зерна —
Капли в кровлю застучат,

С гулом, шумом, ревом, треском
Возлетит крылатый змей
И зажжет лучистым блеском
Пыль и зной души моей.

Где водоем старинный пуст,
Росту, крапивы тощий куст,

Полдневный ветер налетит,
Зашелестит и запылит.

Я — в волосках, меня не тронь,
Мой каждый волосок — огонь.

Коснется ль нежная рука —
Я обожгу ее слегка,

Сожжет ли грубая ладонь —
В нее пролью я свой огонь.

Ах, ни любви и ни обид
Сухое сердце не простит.

С т е ф а н Ц в е й г

ПЕРЕУЛОК ЛУННОГО СВЕТА

Перевод с немецкого

Опаздав из-за бури, пароход пришел лишь поздно вечером в маленькую французскую гавань; вечерний поезд в Германию был упущен. Итак, мне неожиданно предстоял день в незнакомом месте, и вечер, не манивший иными развлечениями, кроме как меланхолической музыкой в пригородном ресторане или однообразной беседой со случайным спутником. Невыносимым показался мне воздух в тесной столовой гостиницы, сальный и дымный, и я вдвойне почувствовал его мутящую нечистоту, вспомнив ясное дыхание моря, недавно соленой прохладой ложившейся мне на губы. Так вышел я наудачу и зашагал вдоль широкой, ярко освещенной улицы к площади, на которой играл городской оркестр, и далее, среди лениво катающихся волн гуляющих. Сначала мне было хорошо от этого подчинившего мою волю движения, в потоке одинаковых, по провинциальному выложенных людей, но вскоре я уже не мог выносить этого огромного наплыва чуждых мне лиц, обрывков смеха, глаз, на миг останавливавшихся на мне, то удивленно, то безразлично, то насмешливо, прикосновений, незаметно оттеснявших меня, света, лучившегося из тысячи точек, и непрерывного шарканья ног. Плавание было тревожно, и в крови моей еще

бродило томлящее и сладостное ощущение: я все еще чувствовал баюкающую качку под ногами; земля мне казалась дышащей и подвижной, поднимающей улицу под самые небеса. Внезапно у меня закружилась голова от нарастающего гула, и чтобы спастись от него, я завернул в одну из боковых улиц, с нее — вновь, в другую, еще более узкую, в которой наконец затихло бессмысленное жужжание, и пошел без цели в сеть разбегавшихся словно жили переулков, становившихся все темней по мере моего удаления от центра города. Огромные электрические дуговые фонари, эти луны широких улиц, уже не горели здесь, и при скудном освещении стали снова видны звезды, в черном занавешенном небе.

Я, видимо, был не далеко от порта, в матросском квартале; это чувствовалось по сырому запаху рыбы, по воздуху, сладкому от водорослей и гниения, занесенному сюда прибоем, по этому своеобразному сочетанию душных запахов моря и непроветренных комнат, запахов, оседающих в этих углах города, пока буря, наконец, не унесет их своим дыханием. Незнакомая тьма и неожиданное одиночество были мне приятны, я замедлил шаги и стал оглядывать переулок за переулком, из которых каждый не подходил на соседний, — один сонный, другой — тревожный, — но каждый — темный, с таинственно вырывающимися откуда-то, словно из недр подвалов, глухими звуками музыки и голосами, заставляющими смутно догадываться о их подземном происхождении; все двери были заперты, и лишь стекла их мерцали порой то желтыми, то красными огнями.

Я люблю эти переулки чужих городов, грязный рынок человеческих страстей, тайный соблазн матросов, заходящих сюда на одну ночь после многих одиноких ночей в чужих, опасных морях и воплощающих здесь, в один час,

свои долгие сны на яву. Все они должны скрываться где нибудь здесь, в низах большого города, в боковых переулках, дерзко и упорно говорящих о том, что таят под сотнями масок светлые дома за чистыми стеклами, населенные приличными людьми. Музыка звенит здесь и манит в маленькие пивные; кинематографы обещают прохожему огромными плакатами неслыханные чудеса; крошечные четырехугольные фонарики прячутся под воротами и подмигивают, с доверчивым приветом, словно приглашая прохожего; сквозь полуоткрытую дверь мерцает порой обнаженное тело под раззолоченной мишурой. Из кофеен несутся голоса пьяных и гремит спор игроков. Матросы ухмыляются, встречая один другого, их тупые взгляды становятся жадными, разгоряченными от всего, здесь встреченного: женщин, азарта, зрелищ, вина и авантюры, заманчивой и нечистой. Все это, однако, робко, но так же и соблазнительно, скрывается за подозрительно закрытыми ставнями, все это лишь там, внутри, и эта внешняя таинственность волнует людей двойным обманом — доступности и неприступности. Эти улицы все одинаковы — и в Гамбурге, и в Коломбо, и в Гаванне, так же одинаковы, как и все великолепные авеню, ибо низ и верх человеческого существования имеют всюду один и тот же образ. Последний фантастический остаток уместенно расхлябанной вселенной, где царствует грубый, несдерживаемый вихрь, чаща страстей, полная загнанной дичи, — вот что такое эти жуткие улицы, возбуждающие людей своим видом, манящие ко всему, скрытому в них. Они часто сняты людям.

Таков был переулок, в котором я почувствовал внезапно, что потерялся. Наугад пошел я за двумя проходившими кирасирами, волочащиеся сабли которых громко звенели о троттуар. Женщины из бара бойко окликнули их; те, хохоча, прокричали им грубую остроту, один из

них постучал в окно, потом чей то голос зазвенел далеко-далеко; они пошли дальше, шаги стали глуше, и вскоре я уже не слышал их. Снова переулочек был нем, здесь и там тускло поблескивали окна, отражая мутный свет луны. Я остановился и медленно вдохнул эту тишину, показавшуюся мне необычайной, словно за ней скрывалась тайна, неожиданность или опасность. Я ясно ощутил, что это молчание — обман, что в мутном свете переулочка шевелилось всемирное гниение. И все же я стоял и слушал пустоту. Я уже не чувствовал ни города, ни переулочка, не помнил ни его имени, ни своего, знал лишь, что стою здесь, чужой всему, вдруг раскрепощенный от всего, таинственно опрокинутый в неизвестное, что стою здесь без цели и назначения, и все же чувствую окружающую темную жизнь так же остро, как движение крови под собственной кожей. Я знал только то, что ничто не существовало для меня, но однако все мне как то принадлежало, знал блаженное состояние, исходящее из самых жизненных глубин моего существа, казавшееся мне реальнее действительности и охватывающее меня всегда в минуты неизвестности. И вдруг, стоя так и прислушиваясь в пустынном переулочке, словно ожидая чего то, что должно было неминуемо случиться, что должно было вывести меня из этого лунатического состояния вслушивания в пустоту, я услышал, как приглушенный не то расстоянием, не то стеной, чей то голос едва слышно пел немецкую песню, пел необычайные строки из «Фрейшюца» — «Зеленый венок девушки». Голос был женский, и хоть пел не хорошо, все же это была родная мне немецкая мелодия, немецкая — здесь, где-то в чужом углу света, — а потому близкая мне, в каком то тесном смысле этого слова. Она звучала где-то здесь, и я воспринял ее, как приветствие, как первое родное слово после многонедельного скитания. Я спросил се-

бя: кто здесь говорит на моем языке, кого тревожит смутное воспоминание и гонит эту бедную песню из сердца на свет Божий, в этом кривом и сумрачном переулочке? Я пошел на голос мимо домов, стоящих в полудремоте, с закрытыми ставнями, за которыми однако лживо поблескивали огни и манили случайные жесты. По стенам домов были расклеены надписи и кричащие плакаты; вывески гласившие о пиве и виски свидетельствовали о скрытом баре; но все было заперто, все было тихо, и вместе с тем — маняще. И тут же, — чьи то шаги прозвучали вдалеке, — звенел голос, повторявший теперь уже припев, как будто бы чище и свежей, казавшийся мне все ближе: наконец, я различил дом. Мгновение — я колебался, потом подошел к входной двери, наглухо занавешенной белой занавеской. Но как только я захотел взяться за ручку, что то едва живое, какая то тень, прынула из темноты подвезда; кто то тесно был прижат к стеклу и подслушивал, и сейчас испуганно вздрогнул; лицо его, залитое красным светом висящего напротив фонаря, было все же до ужаса бледно; человек безумными глазами поглядел на меня, пробормотал нечто вроде извинения, и исчез в неверном свете переулочка. Необычаен был его поклон. Я посмотрел ему вслед. Что то неясно шевелилось еще в конце переулочка, словно чья то исчезающая тень. Внутри все еще раздавался голос, и как мне казалось, звучал все явственней. Он манил меня. Я нажал ручку двери и быстро вошел.

Словно отрезанное ножом, упало последнее слово песни. И я с испугом увидел пред собой какую-то пустоту, и враждебность молчания, словно я дерзко нарушил что-то. Понемногу взгляд мой освоился с комнатой, полупустой, в которой находились стойка и столики, она мне казалась лишь входом в задние комнаты, таившие свое настоящее назначение за полуприкрытыми дверьми, под

притушенными лампами и постеленными кроватями. Впереди, у стола, стояла девушка, накрашенная и усталая, за стойкой — хозяйка, рыхлая и какая то серая, да еще другая, недурная собой, девица. Мой поклон был принят сухо, с опозданием последовал на него замедленный ответ. Мне стало не по себе; я не знал — куда зашел: — молчание было столь напряженно и столь полно, что я с радостью бы тотчас же бежал, и однако смущение мое, не находя предлога, заставило меня решительно усесться за ближний столик. Девушка, внезапно вспомнив свою обязанность, спросила меня, что я желаю выпить, и по ее твердому французскому говору я тотчас узнал в ней немку. Я заказал пиво; она пошла и вернулась той ленивой походкой, которая выдала ее окончательно ко всему равнодушные лучше, чем это делали глаза, сонно полуприкрытые веками, словно притушенные огни. Механически поставила она рядом с моим стаканом — свой; видимо, таков был обычай этого места. Когда она отхлебнула пива, пустой взгляд ее скользнул мимо меня, и я смог ее разглядеть. Лицо ее, собственно говоря, было еще очень хорошо, с правильными чертами, только внутренняя вялость придала ему вид почти неодушевленной маски, — веки были тяжелы, волосы тусклы, щеки, в пятнах от плохих румян и слегка вспухшие, начинали уже сдавать и спускались двумя тяжелыми складками к губам. Платье ее было небрежно спито, голос был глух и отрывист от табака и пива. Во всем я заметил человека усталого, лишь по привычке продолжающего жить, уже не чувствуя жизни. В замешательстве я задал какой то вопрос. Она ответила, не глядя на меня, равнодушно, слегка шевельнув губами. Я снова почувствовал себя нежеланным гостем. В глубине зевала хозяйка, а другая девушка, сидя в углу, поглядывала на нас, ожидая в свою очередь,

когда ее позовут. Я с удовольствием бы ушел, но во мне как то все вдруг отяжелело, я сидел в этом густом, наплывающем на меня воздухе, слегка покачиваясь из стороны в сторону, словно матрос, скованный любопытством и робостью, ибо разлитое кругом равнодушие как то невероятно действовало на меня.

Внезапно я вскочил, испуганный злобещим смехом подле себя. И в тот же миг качнулась лампа. По струе воздуха я догадался, что кто то отворил дверь за моей спиной. «Что же, опять пришел?» — зло издевался голос по немецки около меня. «Опять вокруг дома ползаешь, скряга? Ну иди уж, иди, я тебя не трону!»

Я обернулся, сперва к произносившей эти грубые слова приветствия, а затем к двери. И еще прежде, нежели она была окончательно открыта, узнал я качающуюся фигуру и загнанный взгляд человека, только что прижимавшегося к стеклу у входа. Словно нищий, держал он шляпу в слегка дрожащей руке, и сам едва стоял на ногах от резкой встречи, оказанной ему, от смеха судорогами потрясавшего тяжелое тело девушки, от ответного быстрого шопота хозяйки, долетевшего к нам из-за стойки. «Туда садись, к Франсуазе», — набросилась она на пришельца, когда он неверным шагом вышел на середину комнаты. «Ты видишь, у меня гость».

Все это она кричала по немецки. Хозяйка и девица громко засмеялись, хотя, видимо, ничего не понимали; однако, они обе знали гостя.

«Дай ему шампанского, Франсуаза; бутылку самого дорогого», — крикнула она опять и снова насмешливо обратилась к нему: «Если это тебе дорого, можешь убираться на улицу, жалкий скряга. На даровщинку хочешь тебе поглядеть на меня; знаю я, все тебе на даровщинку хочется».

Высокая фигура робко с'ежилась под этим злобным смехом, сутулая спина криво выдвинулась при повороте; казалось, голова по собачьи хотела спрятаться; рука дрогнула, схватив бутылку, и расплескала вино, наливая его в стакан. Его взгляд, все время хотевший подняться к лицу девушки, не мог оторваться от пола и невольно вематрировался в рисунок изразцов. Только сейчас увидел я под лампой истощенное лицо, бледное, с ввалившимися щеками, волосы на полулысом черене были редки и смочены потом; все члены его тела, словно изломанные и вялые, изобличали его бессилие, жалкое состояние. Все в нем было как то криво сдавлено, и взгляд его, внезапно поднятый от пола и снова кинутый вниз, светился недобрым пламенем.

«Не обращайтесь на него внимания», — обратилась ко мне девица по французски, и грубо схватила меня за руку, словно желая сорвать меня со стула. «Это у нас старая история — это дело не новое». И снова открыв блестящие зубы, как для укуса, она бросила ему: «Слушай, ты, старый пройдоха, — слушай, я тебе говорю! — Я скорей в воду пойду, чем за тобой. Вот и все».

Снова засмеялись из-за стойки, бессмысленно и грубо. Казалось, это была привычная шутка, ежедневное их развлечение. Мне же было не по себе смотреть на то, как вторая девица внезапно, с лживой нежностью, придвинулась и ласково прижалась к нему, от чего он с ужасом отпрянул, не имея мужества ее оттолкнуть. Я испугался, когда его затравленный взгляд встретился с моим, столько в нем было смущенья, робости и униженья. Мне было не по себе от женщины рядом со мной, внезапно вышедшей из своей полудремоты и пылавшей такой дикой злобой, что дрожали ее руки. Я бросил деньги на стол и хотел выйти, но она не пустила меня. «Если он мешает тебе,

я выброшу его за дверь, собаку. Он должен слушаться. Иди сюда. Выпей еще стаканчик!»

Она прижималась ко мне с жалкой профессиональной манерой ласкаться, и я тотчас же догадался, что она нарочно хочет помучить другого. При каждом своем движении она быстро взглядывала в его сторону, и мне казался отвратительным всякий ее жест, от которого передергивало, как от ожога, сидящего человека. Не обращая на нее внимания, я наблюдал единственно за ним и видел, как начинала в нем подыматься какая то волна ярости, гнева, ревности и желания, и как она снова исчезала, стоило девушке отвернуться. Она почти вплотную придвинулась ко мне; я чувствовал ее тело, дрожащее от злой радости, доставляемой ей этой игрою, и мне опять стало страшно от ее жестокого лица, пахнувшего скверной пудрой, от запаха ее рыхлого тела. Чтоб отстранить ее от себя, я схватился за сигару, и в то время как глаза мои искали на столе спичек, она резко приказала ему: «Принеси спички!»

Я еще больше его испугался от этого дикого требования мне услужить и сделал быстрое движение, чтобы схватить коробку; но от ее слов он подпрыгнул, как от кнута, шатающейся походкой прошел по комнате и положил передо мной спички, так поспешно, словно прикосновение к столу могло обжечь его. На секунду глаза наши встретились: бесконечный стыд был в его взгляде и непомерное озлобление. И этот рабский взгляд угадал внезапно во мне человека и брата. Я почувствовал его унижение и устыдился с ним вместе.

«Большое спасибо», — сказал я по немецки, — она вздрогнула. — «Не надо вам было так беспокоиться». Затем я протянул ему руку. Он поколебался слегка; затем я почувствовал в своей руке сырые, костлявые пальцы и внезапное благодарное пожатие. На секунду его глаза

сверкнули навстречу моим, потом снова ушли под сонные веки. На зло хотел я пригласить его к нашему столу, но видимо она заметила легкое пригласительное движение моей руки, так как поспешно сказала: «Садись, где сидел, и не мешай!»

Тут меня охватило омерзение к ее резкому голосу, ко всей этой пытке. Что мне было до этого прокопченного кабака, до сварливой потаскухи, до этого слабоумного, до пивного и табачного чада и скверных духов? Меня потянуло на воздух. Я дал ей деньги, встал и твердо двинулся к двери. Она нежно приблизилась ко мне. Мне стало гадко участвовать в унижении человека, и отогнав ее я ясно показал ей, как трудно соблазнить меня. Тогда она злобно задрожала, морщина легла у нее около рта, но она остереглась мне отвечать и повернулась с бессмысленной яростью к тому, кто под ее угрозами, уже готовый к самому страшному, торопливо и перепуганно запустил руку в карман и дрожащими пальцами вытащил оттуда кошелек. Он видимо боялся остаться с ней вдвоем. Это было заметно по тому, как он спешил и от поспешности не мог развязать узла, — кошелек был вязанный, расшитый стеклярусом, такой, как носят крестьяне и простые люди. Было ясно, что ему непривычно было быстро обращаться с деньгами, в противоположность матросам, одним движением руки выбрасывающим монеты из звенящих карманов на стол. Должно быть он был приучен бережно считать и на ладонях взвешивать свои медяки. «Как он дрожит над своими милыми, золотыми пфеннигами! Никак сосчитать не можешь? Дай помогу!» — издевалась девица и шагнула вперед. Он испуганно дернулся, но она, увидя его испуг, процедила, пожав плечами, с невыразимым омерзением в глазах: «Да ничего я не возьму. Плюю я на твои деньги. Знаю, что сосчитаны они, драгоценные твои

пфенниги, ни один не должен убежать от тебя. А в особенности, — и она неожиданно хлопнула его по груди, — бумаженки твои, зашитые. Их бы не украли!» — И в самом деле, словно сердечно больной, хватающийся за грудь, дрожа и изнемогая потянулся он рукой к определенному месту пиджака; невольно пальцы его ощущали тайное убежище и успокоенно упали на колени. «Скряга!» — плюнула она ему в лицо. Но тут внезапно кровь кинулась в лицо несчастной жертвы; в порыве он кинул кошелек второй девице, которая сперва вскрикнула от испуга, а затем громко захохотала, и бросился мимо нее к входной двери, словно из горящего дома.

Одно мгновение девушка еще стояла выпрямившись, пылая от ярости. Потом веки ее снова сонно опустились, изнеможение вывело ее тело из напряжения. Она мне показала состарившейся в одну минуту. Что то неуверенное и потерянное затуманило ее взгляд, когда наши глаза встретились. Она стояла предо мной, как пьяная, стыдливо приходящая в сознание. «На дворе он пожалеет о деньгах, скажет, мы его обокрали. А завтра опять явится сюда. И все-таки он меня не получит. Все — но только не он!»

Она подошла к стойке, бросила на нее деньги и одним глотком опрокинула в себя рюмку водки. Злобный огонь опять показался в ее глазах, но затуманился внезапно слезами озлобления и стыда. Отвращение побороло во мне всякую жалость: «Добрый вечер», сказал я — и вышел. «Bon soir» — ответила хозяйка. Девушка не оглянулась; только засмеялась резко и презрительно.

Над переулочком были лишь ночь и небо; когда я вышел, какая то туманная муть шевелилась вокруг лунного сияния, чуть скрытого редкими облаками. Жаднопил я теплый и все же свежий воздух, и чувство смущения сме-

нялось во мне глубоким удивлением перед разнообразием человеческих существований; я снова проникся той мыслью, которая всегда меня трогала до слез, — что за каждым оконным стеклом таится судьба, за каждой дверью — случай; во всем чувствуется многообразие жизни и мира, даже в самом грязном углу, кишашем событиями, в самом тлении, живом и подвижном. Все тяжелое моей встречи отошло, напряженность перешла в сладкое утомление, манящее все пережитое воплотиться в благодатный сон. Невольно огляделся я, ища дорогу домой среди этих спутанных узлами переулочков. И вдруг, — должно быть она неслышно кралась за мной, — чья то тень коснулась меня.

«Простите» — и я тотчас же узнал прерывающийся голос, — мне кажется, вы не совсем знаете город. Позвольте мне... позвольте мне показать вам дорогу? Где вы живете, сударь?..»

Я назвал гостиницу.

— «Я провожу вас... Если позволите», — прибавил он униженно.

Мне снова стало жутко. Этот крадущийся шаг призрака рядом со мной, почти не слышимый, но какой то неотступный, тьма матросского переулка, воспоминание о виденном, понемногу привели меня в смутное, непреодолимо-полусонное состояние. Я чувствовал приниженность его взгляда, хотя не видел его, и казалось, замечал дрожь губ; я знал, что он хочет заговорить со мной, однако не делал ничего чтобы облегчить или затруднить ему это из-за дремоты, которая все больше и больше охватывала меня и при которой любопытство вяло боролось с одолевшим физическим оцепенением. Он несколько раз откашливался; я слышал, как он собирался сказать первое слово, — но какая то жестокость, невидимо перешедшая на меня с той женщины, заставляла меня радоваться его

смущению и душевной тревоге: я не облегчал этого молчания, оставляя его таким же мрачным и тяжким между нами. Шаги наши раздавались нестройно — его, тихий и стариковский, шаркающий, мой — нарочито резкий и тяжелый; так уходили мы из этого нечистого места. Все напряженной становилось молчание между нами: немое, полное внутреннего несогласия было оно, словно до предела натянутая струна, — которую он внезапно оборвал одним словом:

«— Вы видели... вы видели... сударь... удивительную сцену... простите... простите ...если я еще раз о ней заговорю... но она должна была вам показаться удивительной... а я — смешным... эта женщина, — ...видите-ли...»

Голос его снова прервался. Что то, видимо, сжало ему горло. Потом голос стал чуть слышен; он прошептал мне: «Эта женщина... собственно, моя жена». Должно быть я сделал движение удивления, ибо он горячо заговорил дальше, словно хотел оправдаться:

«То есть... она была моей женой... пять лет, четыре года тому назад... В Гертцгейме, там, в Гессене, дома у меня... Я не хочу, сударь, чтобы вы о ней дурно думали... это может быть моя вина, что она такая. Она не всегда была такой... Я... мучил ее... Я взял ее, хоть она и была нищая... даже белья не было у нее, ничего, ничего у нее не было... а я богат... то есть состоятелен... не богат... Однако, может быть, тогда я и был богат... и знаете, сударь, я был кажется... она права... расчетлив... Но это было прежде, перед несчастьем, и я проклинаю это... отец мой был таков, и мать тоже... и мне пришлось много работать из-за каждого пфеннига... а она была беззаботна... любила хорошие вещи... но была бедна, и я все напоминал ей об этом... Я не должен был этого делать, теперь я знаю это, сударь; ведь она гордая, очень гордая... Вы не должны

думать, что она такая, какой кажется... это неправда, она сама себе больно делает... только... для того... чтобы мне сделать больно, чтобы меня помучить... и... потому что стыдится очень... Может быть, она и стала дурной, только я... я не думаю... ведь она, сударь, была хорошая, очень хорошая...

Он вытер глаза, приостановился в чрезвычайном волнении. Невольно взглянул я на него, и внезапно он уже не показался мне смешным и даже обращение его, непривычно резнувшее ухо: — «сударь», употребляемое в Германии лишь очень низко стоящими людьми, — перестало меня удивлять. Лицо его преобразилось от внутреннего волнения, глаза вновь устремились вниз, когда неровным шагом он двинулся вперед, будто силясь разобрать в мерцающем полусвете, начертанные на троттуаре слова, мучительно застрявшие у него в горле.

«Да, сударь», — выговорил он наконец, глубоко вздохнув, уже другим, низким голосом, шедшим из его как бы смягчившейся души: «Она была добрая... и ко мне тоже; она была благодарна, что я вывел ее из нищеты... и я знал, про ее благодарность... но... я... хотел... это слышать... мне было приятно... это сознавать... Сударь, это было так приятно, так приятно... слышать... сознавать... что ты хороший, когда знаешь... когда уверен, что ты дурной... Я бы все деньги свои за это отдал, только бы это слышать всегда... но она была горда, и все меньше хотела этого, когда заметила, что я требую от нее благодарности... Поэтому, сударь, только потому... заставлял я ее просить себя; никогда я ей сам ничего не давал... мне нравилось, когда она из-за каждого платя, из-за каждой ленты, должна была приходиться... три года я мучил ее все сильнее... но, сударь, это было все оттого, что я ее очень любил... Мне гордость ее нравилась, и все мне ее унижить хоте-

лось, безумцу; когда ей чтонибудь нужно было, я сердился на нее... сударь, я же совсем не был сердит... я был счастлив от каждого случая оскорбить ее... ведь я не понимал, не знал, как люблю ее.

Голос его прервался снова. Он шел шатаясь. Ясно было, что он не помнил обо мне. Он говорил бессознательно, как в бреду, все громче и громче:

«— Это... я узнал тогда, в тот проклятый день... когда отказался дать денег ее матери, совсем немного... то есть, я уже отложил их и только хотел, чтобы она еще раз пришла за ними... еще раз попросила бы меня... Да о чем это я говорил?... Да, тогда я все понял, когда вечером пришел домой, а ее уже не было, и только записка на столе... «Храни свои проклятые деньги, я больше ничего от тебя не хочу...» Только это и было написано... Сударь, я три дня и три ночи был как бешеный... Я заставил обыскать лес, реку... Я сотни платил полиции... я ко всем соседям бегал, но они только смеялись надо мной... Ничего нельзя было найти... Наконец, из другой деревни дошел слух... ее видели... она с каким-то солдатом на вокзале была, в Берлин ехала... в тот же день поехал я следом... я заработок бросил... Я тысячи потерял... меня обокрали, и слуги и управляющий, все, все... но я клянусь вам, сударь, мне было все равно... Я остался в Берлине; целая неделя прошла, прежде чем я нашел ее в этом людском океане... я пошел к ней...»

Он тяжело вздохнул.

— «Сударь, я клянусь вам... я не сказал ей ни одного злого слова... я плакал... я стоял на коленях... я предлагал ей денег... все мое состояние; она должна была владеть им, ибо тогда я уже знал, что не могу жить без нее. Я каждый волос на ней люблю... ее губы... ее тело... все, все... но я сам, да я сам, погубил ее, и больше никто... Она была

бледна, как смерть, когда я вошел к ней... Хозяйку ее я подкупил, мерзкую сводню... она была блее известки... Она слушала меня. Сударь, мне кажется... она была... да, она была почти счастлива видеть меня... но когда я заговорил о деньгах... ах, я сделал это, клянусь вам, только потому, что хотел показать ей, что уже не думаю о них... тогда она плюнула... и так как я все не уходил... позвала любовника, и они вместе издевались надо мной... И все же, сударь, я ходил к ней, и еще, и еще... Домашние все рассказали мне; я узнал, что бродяга бросил ее и она очень нуждалась; и тогда я еще раз пошел к ней... еще раз, но она отказалась от меня и разорвала ассигнацию, которую я незаметно положил на стол, а когда я опять пришел — ее уже не было... Что я только ни делал, сударь, чтобы найти ее! Целый год, клянусь вам, я не жил, я только искал, я нанял сыщиков, пока наконец не узнал, что она там, в Аргентине... в одном дурном доме...

Мгновение он колебался. Последнее слово он почти прохрипел. Голос стал еще глуше.

«— Сначала... я очень испугался... но потом опомнился, вспомнил, что это именно я столкнул ее туда... и я подумал, как должна была она страдать, бедная... ведь она же была горда... Я пошел к поверенному, тот написал консулу и послал ей денег с условием, чтобы она не знала от кого, только бы приехала. Мне протелеграфировали, что все удалось... я знал пароход и в Амстердаме ожидал его... Я приехал на три дня раньше, — вот какое у меня было нетерпение... Наконец, он пришел, как я был счастлив... когда на горизонте показался дым, я думал, что не дождусь... пока он подойдет и причалит, так медленно он шел; так медленно спускались пассажиры по мосткам; и наконец она... Я сразу узнал ее... она стала другой... накрашенная и уже такая, какую вы ее видели; когда она

узнала меня, она помертвела... Два матроса поддерживали ее... иначе бы она упала... Когда она ступила на землю, я подошел к ней... я ничего не сказал... язык не слушался меня... Носильщик впереди нес ее вещи, мы все шли и шли... Внезапно она остановилась и сказала... сударь, как она это сказала!.. мне стало больно до крика, так печально прозвучали ее слова: «Ты что ж, все еще хочешь меня своей женой сделать?..» Я схватил ее за руку... Она задрожала, но ничего не ответила. Я почувствовал, что все снова будет хорошо... Сударь, как я был счастлив!.. Я прыгал вокруг нее, как ребенок, когда она вошла в комнату, я упал на колени... я, должно быть, говорил безрассудные вещи... потому что она смеялась сквозь слезы и ласкала меня... еще робко, конечно, но, сударь... как это было хорошо... сердце мое было тронуто... Я бегал вниз и вверх по лестнице, заказал лакею обед, наш свадебный обед... я помог ей одеться... и мы пошли вниз, ели, пили и были веселы... Ах, она была довольна, как дитя, и так нежна и добра; мы говорили о нашем доме... как мы снова устроимся в нем... Там...» Голос его стал вдруг грубым и рукой он сделал движение, словно хотел кого то сбросить. «Там... был лакей... отвратительный, подлый человек... он думал, что я пьян, когда я танцевал и хохотал от всей души... ведь я был так счастлив... так счастлив, и вдруг... при счете он обсчитал меня на двадцать франков... Я потребовал с него остальное... он смутился, и вернул мне золотой... И вдруг... вдруг она бешено захохотала... Я смотрел на нее и не узнавал... лицо было насмешливо, жестоко и зло заразно... «Ты все так же точен... даже в день нашей свадьбы!» — сказала она холодно и презрительно. Я испугался, и проклял свою шепетильность... Я постарался снова улыбнуться, но ее веселость прошла... Она потребовала отдельную комнату... разве я мог в чемнибудь отказать ей?.. И вот я

всю ночь провел один и думал, что бы ей купить на следующее утро, что бы подарить; как показать, что не скуплюсь больше на нее... И вот утром я вышел и купил ей браслет; было совсем рано, и когда я пришел в ее комнату — она была пуста, как и тогда... Я знал, что на столе оставлена записка... Я подбежал, молясь Богу, что бы все это было неправда... но... но... она лежала там... и в ней было написано...»

Он пошатнулся. Невольно я остановился и поглядел на него. Он уронил голову и хрипло прошептал: «— Там было написано: «Оставь меня в покое. Ты мне противен...»

Мы достигли порта, и внезапно в молчание ворвалось рокошующее дыхание прибоя. Вблизи и вдали стояли суда, словно огромные черные животные с блистающими глазами, откуда то слышалось пение. Кругом все было мутно, но во всем сквозил страшный сон жестокого города. Рядом с собой я чувствовал тень человека; она призрачно вздрагивала у моих ног, то растекаясь, то сжимаясь, под неверным светом тусклого фонаря. Мне нечего было сказать, не хотелось ни утешать ни расспрашивать; меня гнело его удушающее, томящее молчание. Внезапно, он схватил меня за рукав.

«Я не уйду отсюда без нее... месяцы прошли, прежде чем я нашел ее... Она мучает меня, но я не хочу сдаться... Я умоляю вас, сударь, поговорите с ней... Она должна быть моей, скажите ей это... меня она не слушает... Я так больше жить не могу... Я не могу видеть, как к ней мужчины ходят, и ждать, пока они от нее не выйдут.. хохочущие и пьяные... Весь переулок меня знает... Они смеются, глядя, как я ожидаюсь... Я с ума схожу... и все таки каждый вечер стою там... Сударь, умоляю вас... поговорите с ней.. я вас совсем не знаю, но сделайте эту Божескую милость... поговорите с ней...»

Невольно захотелось мне высвободить руку. Мне было жутко. Но он, заметив, что я отворачиваюсь от него, неожиданно, среди улицы, упал на колени и обхватил мои ноги.

Сударь, я умоляю вас... Вы должны поговорить с ней... Вы должны... не то... не то случится ужасное... Я все деньги истратил, чтобы найти ее... и я ее здесь не оставляю... живой... Я купил себе нож... У меня есть нож, сударь... Я ее не оставляю здесь... живой... я не вынесу этого... Поговорите с ней... сударь...»

Он катался как бешенный у меня в ногах. В этот миг двое полицейских вышли к нам навстречу. Я с силой рванул его за руку. Он взглянул на меня безумными глазами. Потом сказал чужим, спокойным голосом:

«Вы свернете в тот переулок. Выйдете прямо к своей гостиннице». Еще раз взглянул он на меня; зрачки его казались растворенными в сероватых и пустых белках. Я закутался в пальто. Меня трясло. Я чувствовал одну усталость, какой то смутный хмель, делавший меня бесчувственным, и бродивший во всем теле сон. Я хотел что то обдумать и осознать, но черная волна усталости подымалась во мне и тянула меня за собой. Я добрал до гостиницы, упал на кровать, и заснул тупо, по звериному.

На следующее утро я не помнил, что было сном и что явлю и что то внутри меня мешало мне это разрешить. Я проснулся поздно, чужой в чужом городе, и отправился осматривать церковь, знаменитую старинной мозаикой. Но глаза мои глядели, ничего не видя, все отчетливей становилось воспоминание о встрече прошлой ночью, оно беспрепятственно погнало меня по городу; я искал тот переулок и дом. Но эти удивительные переулочки живы лишь по ночам; днем они надевают одинаковые серые маски, под которыми их узнает лишь посвященный. Как я ни

искал, я не нашел ничего. Усталый и разочарованный вернулся я домой, преследуемый образами своего воображения.

В десять часов вечера отходил мой поезд. С сожалением покидал я город. Посыльный взял мои вещи и понес их на вокзал. И вдруг, на каком то перекрестке, что-то заставило меня остановиться: я узнал поперечный переулок, ведущий к тому самому дому. Я просил посыльного подождать и, — в то время как он сначала удивился, а затем дерзко и фамильярно засмеялся, — пошел еще раз взглянуть на переулок своего приключения.

Он был темен, темен, как и тогда, и в тусклом свете луны увидел я, как блистала дверь того самого дома. Я хотел еще раз приблизиться к ней, но чей то темный силуэт с шорохом отделился от нее в темноте. Вздвогнувшись, узнал я того, кто подслушивал у порога и теперь кивал мне и манил, чтобы я подошел поближе. Страх охватил меня, я быстро повернул обратно, из малодушия, что меня здесь задержат, и я опоздаю на поезд.

Но на углу, прежде чем завернуть, я еще раз оглянулся. Когда глаза наши встретились, он отпрянул, выпрямился и прыгнул к дверям. Металлический предмет сверкнул в его руке, теперь высоко поднятой: издали я не мог различить, была ли это монета, или то был нож, блеснувший в его пальцах в неверном свете луны.

Владислав Ходасевич

ПОЭТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПУШКИНА *)

30

6 мая 1820 г. Пушкин отправился в ссылку, а 26 июня того же года, уже на Кавказе, он, вспоминая петербургскую жизнь, писал в эпилоге «Руслана и Людмилы»:

Я пел — и забывал обиды
Слепого счастья и врагов,
Измены ветреной Дориды
И сплетни шумные глупцов.
На крыльях вымысла носимый,
Ум улетал за край земной;
И между тем грозы незримой
Сбиралась туча надо мной.

Это было его первое столкновение с правительством, и в первых же стихах оно изображено в виде грозы.

В 1823 (или 1822?) году, намекая на ту же ссылку, он иронически замечает («Онегин», I, 2):

Онегин, добрый мой приятель,
Родился на берегах Невы,
Где, может быть, родились вы,
Или блистали, мой читатель!
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня.

*) Продолжение, см. «Беседа» № 2.

Здесь неблагоприятное положение правительства представлено в виде дурного климата.

В 50-й строфе той же главы читаем:

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Врожу над морем, жду погоды.
Маню ветрила кораблей,
Под ризой бурь с волнами спора,
По вольному распутию моря,
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный берег
Мне неприятной стихии,
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вдыхать о сумрачной России... —

т. е. отношения с правительством и мечты о побеге за границу снова даны в терминах, так сказать, климатических и метеорологических.

В 1824 г. ссылку «углубили», переслав Пушкина из Одессы в Михайловское. Одним из первых стихотворений, там написанных, был «Аквилон», где снова «грозный аквилон», «черные тучи», «гроза», «зефир» — суть иносказания, прикрывающие правду об отношениях Александра I к Пушкину *).

Летом 1825 г. написаны знаменитые стихи: «Я помню чудное мгновенье». В них, как известно, отразились две встречи с А. П. Керн: первая, когда А. П. Керн, еще в 1819 г., в Петербурге, на вечере у Олениных, явилась поэту, «как мимолетное виденье», — и вторая, происшедшая за

*) Думаю, что Аквилон здесь — Александр I, дуб — Наполеон, а тростник — сам Пушкин. В этих стихах много внутреннего презрения к «аквилону», который, пизвергнув дуб, не удовлетворяется этим и злобой своей преследует тростник, перед ним бессильный. Пушкин, по собственному признанию «подсвистывал» Александру I «до самого гроба».

Я не уверен, впрочем, что такое толкование пьесы не предлагалось уже и раньше.

несколько дней до написания стихотворения и изображаемая в двух последних строфах:

Душе настало пробуждение,
И вот опять явилась ты — и т. д.

Между этими двумя встречами лежит момент ссылки, которому посвящены 3 и 4 строфы:

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточения
Тянулись тихо дни мои — и т. д.

Позднее, в VIII гл. Онегина, он вновь коснулся того же момента. Изображая последовательные явления своей Музы, Пушкин рассказывает (строфа V):

И позабыв столицы дальшой
И блеск, и шумные пиры,
В глуши Молдавии печальной
Она смиренные шатры
Племен бродящих посещала,
И между ними одичала,
И позабыла речь богов
Для скудных, странных языков,
Для песен степи ей любезной...
Вдруг изменилось все кругом:
И вот она в саду моем
Явилась барышней уездной,
С печальной думою в очах,
С французской книжкой в руках.

В 1—9 стихах этой строфы Муза является, как внушительница «Цыган». В стихах 11—14 она уже в образе Татьяны. Примечательно, что в черновике стих 10-й читался не «Вдруг изменилось все кругом», а иначе:

Но дул ветер, грянул гром.

Этот стих несомненно намекал на высылку из Одессы в Михайловское. Хронологически, по отношению к поэмам Пушкина, здесь была неточность: момент высылки не пришлось *между* созданием «Цыган» и началом «Онегина», так как «Цыганы» окончены уже в Михайловском, а «Онегин» начат еще на юге. Но психологически Пушкин был правдив, когда в 1830 г. полагал момент высылки, как границу, отделяющую одесские вдохновения «Цыган» от Михайловских вдохновений «Онегина». Стих же он переменял потому, вероятно, что при чтении:

Но дунул ветер, грянул гром,
И вот она в саду моем...

читателю могло показаться, будто Муза переносится из одной обстановки в другую с ветром и громом, т. е. с какими-то оперными эффектами, бескусными и несоответствующими образу «уездной барышни». И все же момент внезапности, момент какого-то постороннего вмешательства сохранился и в новой редакции стиха:

Едруг изменилось все кругом...

В «19 октября 1825 г.» он говорит вновь о том же; в строфе 8:

Из края в край преследуем грозой...

В строфе 11:

Когда постиг меня судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурю главой поник я томной...

В «Арионе» *гроза и вихрь* знаменуют катастрофический конец декабристского движения.

Через две недели после написания «Ариона» (16 июля 1827 г.) заключительный мотив этого стихотворения —

Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою —

повторен в «Акафисте Е. Н. Карамзиной» (31 июля 1827):

Земли достигнув наконец,)*
От бурь спасенный провиденьем,
Святой Владычице пловец
Свой дар несет с благоговеньем;
Так посвящая с умилением
Простой увядший мой венец — и т. д.

В 1828 г., когда неприятности по делу о пропущенных стихах из «Андрея Шенье» сменились опасениями пострадать за дошедшую до правительства «Гавриилиаду», — он пишет «Предчувствие»:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине...

и далее:

Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно *бури* жду:
Может быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду — и т. д.

*) Эти стихи, кстати сказать, интонационно близки к «Бахчисарайскому фонтану»:

Покинув север наконец,
Пиры надолго забывая.
Я посетил Бахчисарая
В забвеньи дремлющий дворец, —

что, в свою очередь, напоминает «Вольность»:

Пустынный памятник тирана —
Забвенью брошенный дворец,

а отсюда автореминисценция, м. б. даже пародическая — в «Онегине» (VII, 31):

Забвенью брошенный возок.

13 апреля 1835 г. написана «Туча» («Последняя туча рассеянной бури»). Вряд ли когданибудь удастся установить, какие реальные события легли в основу стихотворения. В момент его написания никаких «туч» на жизненном горизонте Пушкина как будто не было. Но пьеса говорит о «последней» туче, о буре, уже «рассеянной» и «промчавшейся». Какая «молния» угрожала поэту, какой «таинственный гром» до него доносился — мы можем только гадать: на сей раз действительные события для нас оказываются зашифрованными, — но, конечно, они существовали, и «Туча» является последним звеном в той цепи стихов, где отношения Пушкина с правительством представлены в образах туч, бурь и проч.

*

Какова природа этих иносказаний? Не являются ли они у Пушкина способом более «красиво», более «поэтически» (в обывательском смысле этого слова) рассказать о событиях и обстоятельствах, называть которые настоящими именами поэт не решался по соображениям эстетическим?

На этот вопрос надо ответить отрицательно. Эти иносказания, т. е. политические невзгоды, прикрытые именами бурь, гроз, туч и т. п., не являются специально *стихотворческим* приемом Пушкина. Он прибегает к ним не только в стихах, но и в письмах, т. е. как бы в дружеском разговоре. Следовательно, психологическая природа этих иносказаний лежит глубже, нежели в плоскости поэтических условностей. Отношение Пушкина к политическим бедам, как к стихийным явлениям, органично и философично, а не метафорично.

Вот несколько цитат из его переписки.

В 1827 г., приравнивая свою судьбу к судьбе Овидия, он, в письме к брату (6 октября), цитирует собственный стих: «О други, Августу мольбы мои несите!» — и тотчас,

мысленно подставляя на место Августа — Александра I, делает, так сказать, метеорологический каламбур: «Но Август смотрит сентябрем!»

Видимо, каламбур был подхвачен братом, так как 30 января 1823 г. Пушкин снова пишет ему: «Ты не приказываешь жаловаться на погоду — в августе месяце. Так и быть, — а ведь неприятно сидеть в заперти, когда гулять хочется».

Но эти оба примера по природе своей каламбурны и потому не вполне показательны. Перейдем к другим.

Осенью 1824 г. он был отправлен из Одессы в Михайловское. Этот трудный момент тотчас же еще осложнился ссорой с родителями, на политической почве. Пушкин боялся, что ему грозит Сибирь. Но понемногу дело уладилось, и в ноябре или декабре он пишет Д. М. Княжевичу: «Буря, кажется, успокоилась». Осмеливаюсь выглянуть из своего гнезда и подать свой голос»...

Это письмо — черновое, и неизвестно, было ли послано. Как бы то ни было, начальные строки он месяцев через восемь (вот еще пример «экономин») повторил буквально в письме к В. И. Туманскому от 13 августа 1825 г.: «Буря, кажется, успокоилась; осмеливаюсь выглянуть из моего гнезда».

23 февраля 1825 г., почти повторяя уже цитированный нами стих Онегина («Брожу над морем, жду погоды»), он пишет Гнедичу: «Сижу у моря, жду перемены погоды».

6 октября того же года он пишет Жуковскому в связи с той же темой: «Милый мой, посидим у моря, подождем погоды»*).

* Эта форма: «Сижу... жду (погоды)» всегда у него иносказательна и означает отношения с правительством. Только однажды, в письме к сестре от 4 дек. 1824 г., он говорит о настоящей погоде: «Твои тригорские приятельницы — несносные дуры, кроме матери. Я у них редко. Сижу дома да жду зимы». В этом случае зиму надо понимать буквально.

9 сентября 1830 г. он поясняет А. Н. Гончарову, деду своей невесты: «Сношения мои с правительством подобны внешней погоде: поминутно то дождь, то солнце. А теперь нашла тучка».

Когда, в 1831 г., Вязмский, который тоже был не в фаворе у правительства, сделан был камергером, Пушкин в шуточном стихотворном послании поздравляет друга с этим событием и говорит:

Любезный Вяземский, поэт и камергер...
(Василья Львовича узнал ли ты манер?
Так некогда письмо он начал Камергеру,
Украшенну ключем за Верность и за Веру)
Так солнце и на нас взглянуло из-за туч!
На..... твоей сияет тот же ключ.

По поводу этих цитат может возникнуть предположение, что и в них подстановка метеорологии на место политики не органична, а вынуждена опасениями, что письма будут прочтены на почте. Такое предположение следует отклонить по двум причинам: во первых, Пушкин не мог не знать, что его перлюстраторы достаточно сообразительны, чтобы отлично понять августо-сентябрьские каламбуры; уж если на то шло, то подобные шутки могли быть ему скорее поставлены в вину, как неуважительные в отношении к царю; а вместо подозрительных тирад о погоде безопаснее было писать что-нибудь благонамеренное о надежде на милость его величества, как Пушкин и делал в некоторых случаях. Во-вторых, что касается письма к Гончарову, то в нем иносказание разоблачено и правительство названо всеми буквами.

Такое же разоблачение встречаем и в дневнике Пушкина, где, под 22 июля 1835 г., записано: «Прошедший месяц был *бурей*. Чуть было не поссорился я со двором».

Далее просматривая переписку Пушкина, наталкиваемся на примечательное совпадение. Если некогда, в Кипшине, в Михайловском называл он погодой отношение

правительства, держащего его в ссылке, то в 1830 г. в тех же выражениях говорит он о другой помехе, отрезавшей его от Москвы: о холере. Задержанный в Болдине карантинными, он пишет 28 октября Плетневу: «Воротился в Болдино да *жду погоды*». 4 ноября — Дельвигу: «*Жду погоды*, чтобы жениться и добраться до Петербурга».

Если еще можно говорить о цензурных предосторожностях, когда дело идет о правительстве, то тут цензура уже явно не причем. Тут тема «погоды» является совершенно произвольно, как только дело коснулось неодолимых, вне Пушкина лежащих препятствий.

Примечательно, что в написанной тогда же песне Председателя из «Пира во время чумы»*), чума прежде всего сравнивается с зимою:

Когда могущая зима,
Как бодрый воедь, ведет сама
На нас косматые дружины
Своих морозов и снегов,
Навстречу ей трещат каминь,
И весел зимний жар пиров.

Царица грозная, Чума,
Теперь идет на нас сама
И льстится жатвою богатой;
И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой...
Что делать нам? и чем помочь?

Как от проказницы зимы,
Запремся *так же* от Чумы! — и т. д.

Но и не только о русском правительстве, о холере и о чуме говорит он, как о погоде. Общие политические события в Европе постоянно сравниваются с погодой. Вот несколько примеров:

*) Кстати сказать, «чумой» он в письмах неоднократно называет холеру.

В 1824 г. он обращается к графу Олизару по поводу русско-польских отношений:

Певец! издревле меж собою
Враждуют наши племена,
То наша стонет сторона,
То гибнет ваша *под грозю*.

Через семь лет эти строки почти повторены:

Уже давно между собою
Враждуют эти племена,
Не раз клонились *под грозю*
То их, то наша сторона.

(«Клеветникам России»).

О терроре французской революции говорит он устами Андрея Шенье:

... И буря мрачная минет...

Там же:

... Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Собирайтесь иногда читать мой свиток верный...

В «19 октября 1836» говорится о «грозе двенадцатого года». Там же изображается состояние Европы в тридцатых годах:

И новый царь, суровый и могучий,
На рубеже Европы бодро стал,
И над землей сошлись новы тучи,
И ураган их....

★

С дурной погодой, с бурей, с ураганом сравнивает он все, что лежит вне поля воздействий отдельной личности. Злое правительство, народный мятеж, мор, война, государ-

ственная необходимость, насилие массы над личностью, все, что сковывает индивидуальную свободу, все, что за стенами дома, — все это — дурная погода. Она — судьба. От нее можно отгородиться, уйти в себя, «зажечь огни, налить бокалы», запереться на время, как от чумы, — но побороть ее и вовсе уйти от нее — нельзя. Евгений пытался бороться с Медным Всадником, духом петербургского наводнения и русской государственности. И погиб. Сам Пушкин только «замыслил» побег от «черни» «в обитель дальнюю трудов и чистых нег», но не успел бежать, не «запер дверей» — и погиб.

31

Вот как горадиев мотив: «Non omnis moriar» и т. д. двигался по стихам Пушкина:

В «Образцах стихов Ленского (1823):

Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав...

«Андрей Шенье» (1825):

Я скоро *весь умру*. Но *тень* мою любя...

«Памятник» (1836):

Нет, *весь я не умру*. Душа в заветной лире
Мой прах переживет и *тленья убежит*.

•

32

В «Полтаве», описывая ночь Кочубея перед казнью и самую казнь, он помнил об «Андрее Шенье».

1. «Андрей Шенье»:

Заутра казнь. (Повторено дважды).

«Полтава»:

Заутра казнь.

2. «Андрей Шенье»:

Звучат ключи, замки, запоры...

Далее — входит палач.

«Полтава»:

...Но ключ в заржавом
Замке гремит...

Входит Орлик.

3. «Андрей Шенье»:

Палач мою голову подымет за волосы.

«Полтава»:

Палач за чуб поймал их обе
И напряженной рукой
Потряс их обе над толпой.

33

«Гаврилиада» является, так сказать, одним из самых вместительных бассейнов, куда стекаются автореминисценции из более ранних произведений. В свою очередь, она питает позднейшие. Я привожу лишь наиболее выразительные случаи, почти не касаясь совпадений в отдельных речениях, и эпитетах и оставляя в стороне параллелизмы фонетические (рифмы, аллитерации) и чисто стилистические (архаизмы, повторы и проч.).

1. *Послание к Юдину*, 1815:

...Но быстро привиденья
Родясь в волшебном фанаре,
На белом полотне мелькают,
Как тень на утренней заре.

Гаврилиада:

На полотне так исчезают тени,
Рожденные в волшебном фанаре.
Красавица проснулась на заре...

2. *Усы*, 1816:

...Одной рукой
В восторгах неги сладострастной
Летаешь по груди прекрасной,
А грозный ус крутишь другой.

Гаврилиада:

Одной рукой цветочек ей подносит,
Другую мнет простое полотно
И крадется под ризы торопливо...
Ее груди дерзнул коснуться он.

3. *Любовь одна...* 1816:

И к радостям и к неге неизвестной
Стыдливую преклонит красоту.

Гаврилиада:

И к радостям на ложе наслаждений
Стыдливую склонили красоту.

4. *Руслан и Людмила*, II. 1817—1818:

«Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов!»
Подумала — и стала кушать.

Гаврилиада:

(...Подумала Мария:)
«Не хорошо в саду, наедине,
Украдкой внимать наветам змия»...
Подумала и ухо преклонила.

5. *Руслан и Людмила*, IV, 1818:

Но между тем, никем не зрима,
От нападений колдуна
Волшебной шапкою хранима...

Гавриилиада:

...Вдали забав и юных волокит,
Которых бес для гибели хранит,
Красавица, никем еще не зрима...

6. Руслан и Людмила, V, 1818—1819:

Она мне возвратила вновь
Мою утраченную младость.

Погасло дневное светило 1820:

Моя потерянная младость.

Гавриилиада:

Но молодость утрачена твоя*).

*) Впоследствии этот мотив повторяется несколько раз:

Мой проклиная век, утраченный в пирах...
(«Андрей Шенье», 1825).

Свой дар, как жизнь, я тратил без внимания.
(«19 октября 1825»).

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, в бедности, в чужих стенах
Мои утраченные годы.
(«Воспоминание», 1828).

Но тяжело, прожив полвека,
В минувшем видеть только след
Утраченных безумных лет...
(«Онегин», VIII, 1830).

Что ты значишь, скучный шопот?
Укоризну, или ропот
Мной утраченного дня?
(«Стихи, сочиненные ночью», 1830).

...Я помышлял о юности моей,
Утраченной в бесплодных испытаниях...
(«Вновь я посетил», 1835).

7. Руслан и Людмила, эпилог, 1820:

Чем кончу длинный мой рассказ?

Гавриилиада:

Аминь, аминь! Чем кончу я рассказы?

8. Гавриилиада, 1821—1822 (?):

Ты рождена, о скромная Мария,
Чтоб изумлять...

Греченке, 1822:

Ты рождена воспламенять...

Адели. 1822:

Для наслаждения
Ты рождена.

Бахчисарайский фонтан, 1822 — 1823:

Я рождена для наслаждения.

Онегин, II, выброшенная строфа, 1823:

Вы рождены для славы женской.

Вольтерова «Девственница», 1825:

Я не рожден святыню славословить*).

Кроме «Руслана», «Гавриилиады» и «Шенье», во всех цитированных отрывках Пушкин говорит непосредственно о себе самом. Мне думается даже, что автобиографический элемент есть и в словах Шенье, и в признании Ратмира («Руслан и Людмила»). Впервые мотив, «утраченной младости» прозвучал еще в 1816 г., в послании к кн. А. М. Горчакову. Примечательно, что там говорится еще в настоящем времени:

Я слезы лью, я трачу век напрасно.

Впоследствии неизменно звучит прошедшее совершенное: утраченная, потерянная.

*) У Вольтера: «Vous m'ordonnez de célébrer des Saints». Здесь Пушкин не точен, как переводчик.оборот «я не рожден» может здесь почитаться оригинально-пушкинским. (См., однако, следующую заметку).

Чернь, 1828:

Мы рождены для вдохновения).*

9. Гавриилиада:

... И знатоков внимательные взоры...

Друзьям. Текст 1822 года:

И томных дев устремлены
На вас внимательные очи.

Зима. Что делать нам в деревне?... 1829:

Сначала косвенно-внимательные взоры...**)

*) Стих «Бахчисарайского фонтана»:

Я близь Кавказа рождена

и начало наброска 1830 г.:

Мы рождены, мой брат названный,
Под одинаковой звездой —

построены иначе: в них не указана цель рожденья. За то к приведенным примерам близок стих из «Альбома Онегина»:

Они родились для гарема.

Укажем наконец, что в наброске 1818 г.: «Позволь душе моей» имеется стих: «Я не рожден для счастья и забав».

Сюда же, отчасти относится стих «Онегина» (IV, 14):

Но я не создан для блаженства.

**) Выше я не решился связать этот стих «Гавриилиады» со стихами из «Романса» («Под вечер осени ненастной»):

Она внимательные взоры
Водила с ужасом кругом.

Пушкин решительно, в резких выражениях, отрекался от этой пьесы, приписывая ее Панаеву. Однако, заметим, что в «Романсе» есть и другие, правда — мало показательные, совпадения с несомненно пушкинскими стихами. Вот несколько примеров.

Вслед за приведенными стихами в «Романсе» читаем:

И на невинном сем творенье
Вздохнув, остановила их (т. е. взоры).

В первоначальном тексте «Кавказского Пленника» было

Остановляя он долго взор;

10. Гавриилиада:

... Любви, своей науки,
Прекрасное начало видел я.

Первое послание цензору. 1822:

Дней Александровых прекрасное начало*)

11. Гавриилиада:

И дерзостью невинность изумлять.

Онегин, I, 11, 1822—1823:

Шутя невинность изумлять.

12. Гавриилиада:

Я научил послушливую руку — и проч.

Онегин, ibid:

И после ей наедине
Давать уроки в тишине**).

в «Египетских ночах»:

И с умилением на нем
Царица взор остановила.

В «Романсе»: «Держала в трепетных руках» В «Окне»: «И дева трепетной рукой». В «Письме к Лиде»: «По смелым, трепетным рукам». В «Романсе»: «...будешь грустной думой томиться». В «Сказке о царе Салтане»: «С грустной думой на лице». В «Романсе»: И тайный плод любви несчастной. В «Кавказском Пленнике»: «Ты видишь след любви несчастной».

*) Через двенадцать лет, 2 апреля 1834 г., он записал в своем дневнике: «Сперанский у себя очень любезен. — Я. говорил ему о прекрасном начале царствования Александра»...

**) Здесь — сходство мотивов, без текстуального сходства. Совпадение стиха об «изумлении невинности» бросает отсвет и на это заключительное двуступище онегинской строфы. Повторяя слова об «изумлении невинности», Пушкин не мог не думать о «Гавриилиаде», к тому же недавно конченной. Пишущи об «уроках наедине» он, конечно, вспомнил, чему научил Сатана Марию, и вспомнил свое покаянное лирическое отступление о красавице, которой был мил, о просвещении невинных красот и проч. («Гавриилиада», стихи 340—356).

13. Гавриилиада:

Поговорим о странностях любви.
 Иного я не смыслю разговора.
 В те дни, когда от огненного взора
 Мы чувствуем волнение в крови,
 Когда тоска обманчивых желаний
 Об'емлет нас и душу тяготит,
 И всюду нас преследует, томит
 Предмет один и думы, и страданий, —
 Не правда ли, в толпе молодых друзей
 Наперсника мы ищем и находим:
 С ним тайный глас мучительных страстей
 Наречием восторгов переводим.
 Когда же мы поймали на лету
 Крылатый миг небесных упоений
 И к радостям на ложе наслаждений
 Стыдливую склонили красоту;
 Когда любви забыли мы страданье
 И нечего нам более желать, —
 Чтоб оживить о ней воспоминанье,
 С наперсником мы любим поболтать.

Итак, по мысли Пушкина, одна из «странностей любви» заключается в том, что мы всегда ищем наперсника: сперва — чтобы поверять свою любовь, потом, когда наступает охлаждение, чтобы «оживить воспоминанье».

Возможно, что «Гавриилиада» была посвящена Н. С. Алексееву, одному из кишиневских приятелей Пушкина. Как бы то ни было, в послании к тому же Алексееву, писанном в 1821 г., т. е. либо незадолго до «Гавриилиады», либо с ней одновременно, либо вскоре после нее, Пушкин говорит:

Оставя счастья призрак ложный,
 Без упительных страстей,
 Я стал наперсник осторожный
 Моих неопытных друзей.
 Вдали штыков и барабанов
 Так точно старый инвалид
 Встречает молодых уланов
 И им о битвах говорит

Здесь повторена мысль, высказанная в приведенном отрывке «Гавриилиады», при чем одновременно даны оба случая «наперсничества»: «друзья» идут к Пушкину, затем, чтоб говорить о нем о своих «мучительных страстях», — сам же он беседует с ними о любви, «чтоб оживить о ней воспоминанье». Тут — наперсничество взаимное.

Однако, в цитированном отрывке послания к Алексееву повторена лишь общая мысль из «Гавриилиады»: текстуальных совпадений с поэмой здесь нет, если не считать отдельных слов: «наперсник», «страсти». За то через два года, в XVIII и XIX строфах «Евгения Онегина», Пушкин вновь повторяет как общий тезис «Гавриилиады», так отчасти и драматическую коллизию послания к Алексееву, — и автореминисцирует из этого послания. В XVIII строфе Онегин именно «оживляет воспоминанья» слушая рассказы Ленского, т. е. становится на место, схожее с тем, которое сам Пушкин занимал в отношении Алексеева. Разница лишь в том, что Пушкин в качестве «старого инвалида» «говорил о битвах» «молодым уланам» — Онегин же слушает Ленского молча, но «охотно» и «прилежно». Самое же сравнение с инвалидом повторено дословно:

Когда прибегнем мы под знамя
 Благоразумной тишины,
 Когда страстей угаснет пламя,
 И нам становятся смешны
 Их свовольство, их порывы
 И запоздалые отзывы —
 Смиранные не без труда,
 Мы любим слушать иногда
 Страстей чужих язык мятежный
 И нам он сердце шевелит.
 Так точно старый инвалид
 Охотно клонит слух прилежный
 Рассказам юных усачей,
 Забытый в хижине своей.

Кроме сравнения наперсника с инвалидом, заимствованного из «Послания» и выраженного буквально повторе-

нием стиха: «Так точно старый инвалид» здесь есть и небольшое текстуальное заимствование из «Гаврилиады». Там: «С наперсником *мы любим поболтать*» — здесь: «*Мы любим* слушать иногда...»

В следующей, XIX строфе «Онегина» изображен Ленский: он занимает в отношении к Евгению то место, какое в «Послании» занимал Алексеев в отношении к Пушкину. Говоря же словами «Гаврилиады», влюбленный Ленский «глас мучительных страстей наречием восторгов переводит»:

За то и пламенная младость
Не может ничего скрывать:
Вражду, любовь, печаль и радость
Она готова разболтать.
В любви считаясь *инвалидом*,
Онегин слушал с важным видом,
Как, сердца исповедь любя,
Поэт высказывал себя.
Свою доверчивую совесть
Он простодушно обнажал.
Евгений без труда узнал
Его любви младую повесть,
Обильный чувствами рассказ,
Давно не новыми для нас.

Здесь, во 2-ой главе «Онегина», как мы видим, повторена из «Гаврилиады» лишь тема наперсничества. В смысле текста и образов эти строки ближе к «Посланию» Алексею, нежели к «Гаврилиаде»^{*)}. Но теме наперсничества

^{*)} 23 марта того же 1821 г., когда писаны стихи к Алексею и, быть может, «Гаврилиада», Пушкин обратился к посланием к Дельвигу («Друг Дельвиг, мой парнасский брат...»). В те дни он изображал себя инвалидом не только в любви, но и в поэзии. Поэтому в конце послания говорится:

Но все люблю, мой поэты,
Фантазии волшебный мир,
И чуждым пламенем согретый,
Внимаю звукам ваших лир...

чества суждено было еще повториться. С нею повторилось, как увидим ниже, и текстуальное заимствование из «Гаврилиады».

В 1824 г. пишется третья глава «Онегина». Онегин поверял свои любовные воспоминания Ленскому; Ленский «простодушно обнажал» душу перед Онегиным. Влюбленной Татьяне некому поверить свою тайну. Ее *наперсницей* становится книга. И как в «Гаврилиаде» было сказано:

Не правда ли, в толпе молодых друзей
Наперсника мы *ищем и находим*, —

так теперь мы читаем в X строфе третьей главы:

Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит.
Она в ней *ищет и находит*
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты^{*)}.

Таким образом все три главных героя «Евгения Онегина» прибегают к наперсничеству — и пишучи об этом, Пушкин каждый раз вспоминает «Гаврилиаду».

Так точно, позабыв сегодня
Проказы, игры прежних дней,
Глядит с лежанки ваша сводня
На шашни молодых...

Эти строки и по времени, и по мысли, и по построению образа, и даже текстуально следует сопоставить со строками: «Так точно старый инвалид» и т. д. При таком сравнении сеть автореминисценций оказывается еще сложнее.

^{*)} Срв., кстати, с «Элегией» 1821 г.:

Остались мне одни страдания,
Плоды *сердечной пустоты*.

Также — черновик XIII стр. VII гл. «Онегина»: стих 13 читался:

«(своей) *сердечной пустоте*».

Здесь будет нелишним припомнить, что стихи из цитированной выше XVIII строфы второй главы «Онегина»:

Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык мятежный —

впоследствии откликнулись в стихотворении «Наперсник»:

Твоих признаний, жалоб нежных
Ловлю я жадно каждый крик:
Страстей безумных и мятежных
Так упонтелен язык!*)

Заметим, наконец, что интонация стиха из «Гавриилиады»:

Поговорим о странностях любви —

повторилась в «19 октября 1825 г.»:

Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви,

каковое двустишие, как увидим впоследствии, само по себе отозвалось в IV строфе последней главы «Онегина».

14. Гавриилиада:

На вражью грудь опершись бородой...

Из *Orlando Furioso*. 1825:

На грудь опершись бородой...

*) Еще кстати: в 1919 г., благодаря любезности Н. И. Тютчева, мне довелось видеть белой автограф «Наперсника», помеченный 12 августа 1828 г. Единственный вариант этого автографа, по сравнению с печатным текстом, — в 3-м стихе:

Страстей глубоких и мятежных.

М. О. Гершензон, в книге «Мудрость Пушкина», указал на обилие звуков «з» и «ж» в этом стихотворении. Трудно сказать, почему Пушкин переделал «глубоких» на «безумных», — но нельзя не признать, что такая поправка прибавила в стихе одно лишнее «з».

15. Гавриилиада:

Я узнаю того, кто нашу *Еву*
Привлечь успел к таинственному дереву.

Онегин, гл. VIII, строфа XXVII. 1830:

О люди! все похожи вы
На прародительницу *Еву*;
Что вам дано, то не *влетит*;
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному дереву.

Применительно, что в черновике было: «к погубительному дереву» — но затем Пушкин переделал: «к таинственному» — предпочтя старый эпитет.

16. Гавриилиада:

... Двух девственных холмов
Под плотным упрямое движенье.

Домик в Коломне, XXXIII. 1830:

... Сердце девы томной
Ей слышать было можно, как оно
В упрямое толкалось полотно.

17. Гавриилиада:

Умеете вы хитростью счастливой
Обманывать внимание жениха
И знатоков в внимательные взоры.

Черновой набросок 1830 г.:

И девицы без блонд и жемчугов
Прельщали взоры знатоков*).

Сравним эту автореминисценцию с указанными выше, в п. 10 этой заметки, видим, что стих: «И знатоков внимательные взоры» — является целым узлом автореминисценций.

*) См. «Пушкин и его современники», вып. XII, стр. 5.

«Святую библию Харит», «La Pucelle» Вольтера, Пушкин знал и любил с раннего возраста. Вольтеровский прием: начинать стихи с обращения, в котором изображено требование, предъявленное к автору, —

Vous m'ordonnez de célébrer des Saints, —

он заимствовал, по всей вероятности, именно из «Pucelle» и не раз применял в юношеских стихах. Характерно, что впервые встречаем этот прием в пьесе, написанной по-французски:

Vous me demandez mon portrait...
(„Mon portrait“, 1814)

Во второй раз — при переводе «Стансов» того же Вольтера:

Ты мне велишь пылать душою, (1817),

при чем любопытно, что здесь Пушкин, так сказать автореминисцирует за Вольтера, ибо у Вольтера на сей раз сказано иначе:

Si vous voulez que je vous aime encore.

В черновике наброска 1818 г. читалось:

Ты мне велишь открыться пред тобою.

VI песнь «Руслана и Людмилы» (1819) начинается стихом:

Ты мне велишь, о друг мой нежный...

Отголоски того же приема есть и в других начальных стихах раннего периода:

*Ты хочешь, друг бесценный,
Чтоб я, поэт молодой,
Беседовал с тобой.*
(«К сестре», 1814).

Ты хочешь, милый друг, узнать...

(«Послание к Юдину», 1815).

Ты хочешь знать, моя драгая...

(«На Буало», 1816).

После 1819 г. Пушкин решительно порывает с этим приемом. Интересно, что в 1825 г., переводя «Pucelle», он не захотел применить его даже там, где, в сущности, ему самое место: вольтеровское

Vous m'ordonnez de célébrer des Saints

он перевел: «Я не рожден святыню славословить» — а не

Ты мне велишь святыню славословить.

Возможно, впрочем, что здесь он хотел избежать не только использованного приема, но и столкновения «ш» и «с» в середине стиха.

Только уже много позже, в 1833 г., без особого желания пытаться продолжать «Онегина», он вспомнил старый прием в черновых набросках:

Ты мне велишь, мой строгий судия...

И совсем уже нерешительно:

Ты мне советуешь, Плетнев любезный...

Потом:

*Вы за Онегина советуете, други,
Опять приняться мне...*

Но эти наброски так и остались набросками. Он был уже вне велений и вне советов.

От второй и третьей песен «Руслана и Людмилы» до «Домика в Коломне» — двенадцать лет.

В «Домике в Коломне» — два места, связанные с «Русланом». Но как в эти годы изменился Пушкин!

В начале второй песни «Руслана», посоветовав воинам «не знать мира» и «упиваться враждой», он обращается к пишущей братье:

Соперники другого рода,
Вы, рыцари парнасских гор,
Старайтесь не смешить народа
Нескромным шумом ваших ссор;
Бранитесь — только осторожно.

Здесь есть и осуждение литературных ссор, и презрение к ним, и уверенность, что их можно избежать или, по крайней мере, вести осторожно, «не смеша народа». Главное же — здесь непроизвольно звучит обращение во втором лице: молодой Пушкин в 1818 г. не причислял себя к тем, кого иронически зовет он «рыцарями парнасских гор».

К 1830 г. он уже потерял надежду на то, что в литературных дрязгах можно не участвовать или хотя бы пристойно скрывать их. Главное же — он понял, что теперь, как ни как, а и сам замешался в литературную толпу — что теперь надо уже говорить не «вы», а «мы»:

И табор свой с классических вершинок
Перенесли мы на толкучий рынок,
И там себе мы возимся в грязи,
Торгуемся, бранимся так, что любо...

(Строфы XIV—XV).

Дальше, через одну строфу, он, быть может, припомнил свои же стихи в «Руслане», припомнил, как подшучивал он тогда над парнасскими рыцарями, — и вздохнул о тех временах, о возможности стоять в стороне:

Блажен, кто издали глядит на всех,
И рот зажав, смеется то над теми,
То над другими. Верх земных утех
Из-за угла смеяться надо всеми.
Но сам в толпу не суйся... Или смех
Плохой уж выйдет...

(Строфа XVII).

Сам он в толпу сунулся — и если еще смеется, то уже «плохим», горьким смехом. Этого горького смеха довольно в следующей, XVIII октаве, где есть уже прямой намек на «Руслана».

Там, в третьей песне, Руслан грозит голове:

Молчи, пустая голова!
Слышал я истину, бывало:
Хоть лоб широк, да мозгу мало!
Я еду, еду, не свищу,
А как наеду, не спущу!

В XVIII октаве «Домика в Коломне», сказав ранее, в XVII-й, что для затесавшегося в литературную толкучку

смех
Плохой уж выйдет: шутками одними,
Тебя, как шапками, и враг, и друг,
Соединясь, все закидают вдруг, —

он продолжает:

Тогда давай Бог ноги. Потому-то
Здесь имя подписать я не хочу.
Порой я стих повертываю круто,
Все ж видно — не впервой я им верчу!
А как давно? Того и не скажу-то.
На критиков я еду, не свищу,
Как древний богатырь — а как наеду...
Что ж? Поклонюсь — и приглашу к обеду.

Руслан, «древний богатырь», «наехав», мог «не спустить». Знаменитому писателю Пушкину приходится быть смиреннее: поклониться и пригласить к обеду. Разве только еще может он позволить себе две шуточки. Первая — намекнуть, что «как древний богатырь» наехал на «пустую голову», у которой «хоть лоб широк, да мозгу мало», — так теперь бедный сочинитель наезжает на критика. Вторая — наполовину разоблачить этой цитатой из «Руслана» свое авторство — и дальше в XX строфе, мечтать:

Ах, если бы меня под легкой маской,
Никто в толпе забавной не узнал!

Ему нравилось придумывать имена героев на глазах у читателя. К этому приему он решается прибегнуть даже в «Евгении Онегине», где границы между *Dichtung* и *Wahrheit* часто затушеваны, где призраки, рожденные воображением автора, ходят среди живых, реальных его современников, как Вяземский и Каверин:

Ее сестра звалась Татьяна, —
говорит автор и прибавляет:

Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы *своевольно* освятим.

В «Графе Нулине» Пушкин действует еще более откровенно:

К несчастью героиня наша
(*Ах, я забыл ей имя дать!*)
Муж просто звал ее Наташа,
Но мы, мы будем называть
Наталя Павловна), к несчастью... и т. д.

Наконец, в «Медном всаднике» прием обнажен окончательно:

Сердито бился дождь в окно,
И ветер дул, печально вой.
В то время из гостей домой
Пришел Евгений молодой...
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно
Мое перо уж как-то дружно...

Этот случай любопытен еще тем, что здесь Пушкин признается в склонности привыкать к именам героев. И вот — при более внимательном рассмотрении оказывается, что это признание не выдуманно. Имена героев настойчиво повторяются у Пушкина, и порой в том, *как* они повторя-

ются, можно даже наметить известную закономерность. В процессе работы мне пришлось составить подробнейшие «Пушкинские святцы», но здесь не буду утомлять ими читателя. Ограничусь тем что наиболее примечательно.

Прежде всего, возвращаясь назад, отметим, что имя *Евгения* носят два главных героя: в «Онегине» и в «Медном всаднике». Невеста второго Евгения живет в маленьком домике, «у самого залива»; зовут ее *Парашей*; она живет с матерью, безымянной *вдовой*. Такая же Параша, дочь такой же безымянной вдовы — героиня «Домика в Коломне» *).

*) Подробнее о сходстве между персонажами и обстановкой «Медного всадника», «Домика в Коломне» и «Уединенного Домика на Васильевском» — см. мою статью «Петербургские повести Пушкина», в книге: «Статьи о русской поэзии». Петербург, 1922, стр. 73, 79 — 80.

В «Уединенном домике» — такая же безымянная вдова с дочерью Верой и старухой-служанкой, соответствующей Фекле из «Домика в Коломне». Жениха дочери зовут *Павлом* как Томского в «Пиковой Даме»). Возможно, впрочем, что имена Вера, Павла и Варфоломея в «Уединенном домике» — не Пушкинские, а выдуманы Титовым, записавшим устный рассказ Пушкина. Кстати сказать, подлинность пушкинского замысла «Уединенного домика» ныне находит еще одно подтверждение. «Уединенный домик» напечатан в 1829 г. В числе пушкинских бумаг «Онегинского музея» находится набросок программы, напечатанный ныне в книге «Неизданный Пушкин» (II, 1922) и относимый к 1822 году. Вот самый набросок:

«Москва в 1811 году —

Старуха, две дочери, одна *невинная*, другая романтическая — два приятеля к ним ходят.

Один развратный, другой В. б.

В. б. любит меньшую и хочет погубить молодого человека. Он достает ему деньги, водит его повсюду [бордель]. Наст. — вдова.

Ночь, извозчик, молод. чел. ссорится с ним — старшая дочь сходит с ума от любви к В. б.»

Судя по этой программе, действие должно было происходить в Москве, а не в Петербурге, как в «Уединенном домике

Третья Пушкинская Параша — служанка в «Графе Нулине»^{*}). То же имя, но не в уменьшительной форме, встречается в «Метели» (*Прасковья* Петровна, мать героини). В «Онегине» Прасковьей зовут также мать героини, старушку Ларину, и ее двоюродную сестру, которую она сама неправильно называла Полиною (гл. II, 33).

Впрочем, эта кузина Лариной — одна из *трех княжен Полин*. Две другие: княжна Полина в «Рославлеве», замешанная у Загоскина, и в «Пиковой Даме», та, на которой женится Томский.

Чтобы покончить с именами «Графа Нулина», укажем, что имя *Натали* (или *Наташи*, как звал ее муж) встречается еще дважды: Наташа Ржевская в «Арапе Петра Великого» и Наташа, героиня сказки «Жених». Все Натали — главные героини. Первоначально, в черновике, онегинская Татьяна названа также Наташей.

Владимиров у Пушкина четыре. Из них два — на первых местах: Дубровский и Ленский. Третий Владимир — в «Отрывках из романа в письмах», четвертый — тот армейский прапорщик, с которым должна была повенчаться героиня «Метели».

Наряду с четырьмя Владимирами — четыре *Алексея*. Примечательно, что из них трое — *Алексей Ивановичи*: Алексей Иванович Берестов («Барышня - крестьянка»), Алексей Иванович Швабрин («Капитанская Дочка») и Алексей Иванович, предполагаемый герой «Египетских ночей», по фамилии не названный. Четвертый Алексей, без отчества, — в «Отрывках из романа в письмах».

на Васильевском»; у старухи должны были быть две дочери, а не одна. Любовная интрига тоже, повидимому, должна была разворачиваться иначе. Но прочие детали, мной подчеркнутые, вполне совпадают с мотивами «Уединенного домика».

^{*}) Четвертая (Паша) упоминается в «Барышне-крестьянке». В дальнейшем я повторений в именах эпизодических лиц почти не указываю. Их очень много.

Гаврилов у Пушкина два: оба — отцы героинь: Гаврила Афанасьевич Ржевский, отец Наташи в «Арапе Петра Великого», и Гаврила Гаврилович Р^{**}, отец героини «Метели». Фонетически близок к ним *Кирила* Петрович Троекуров, отец героини «Дубровского».

Лизавет — три: Лизавета Григорьевна Муромская, «барышня-крестьянка», Лизавета Ивановна, компаньонка графини в «Пиковой Даме», и Лизавета — в «Отрывках из романа в письмах», о которой Пушкин поясняет, что она — компаньонка в одном блестящем доме (Писано ранее «Пиковой Дамы»).

Не лишне отметить, что «брадатый староста *Авдей*», о котором говорится в неоконченном стихотворении 1828 г., впоследствии в той же должности появляется в «Истории села Горюхина».

Кроме имен повторяются и фамилии: *Лидину* из «Графа Нулина» соответствует *Лидина* — вероятная героиня «Египетских ночей». Ранее «Пиковой Дамы» фамилия *Томская* встречается в наброске: «В одно из первых чисел апреля»... В отрывке «Гости съезжались на дачу» является *Минский*, однофамилец гусара, увезшего дочь «Станционного смотрителя». Близкое сходство есть между *Зуриным* из «Капитанской Дочки» и *Суриным* из «Пиковой Дамы».

Наконец, совершенно исключительно его пристрастие к имени *Мария*. Марии — центральные лица в ряде крупнейших созданий Пушкина:

Мария — в «Бахчисарайском фонтане».

Мария — в «Метели».

Мария — в «Капитанской Дочке».

Мария — в «Дубровском».

Мария — в «Полтаве», особенно примечательная тем, что здесь, как известно, Пушкин пожертвовал правдой ради имени, назвав Марией историческую дочь Ко-

чубея — Матрену. В первоначальных набросках поэмы Пушкин звал ее Натальей и Анной.

Мария в «Марии Шанинг», может быть, заимствована Пушкиным.

Мария в «Гавриилиаде» — подсказана сюжетом.

Из Марий, занимающих не столь центральные места, припомним Марию — графиню В** в «Выстреле», и Машу — в «Отрывке из романа в письмах». Сюда же относится *Мариула* («Цыганы»): не являясь на сцену и существуя только во вводном рассказе старого цыгана, она, как показал Вяч. Иванов, одним звуком своего имени определяет инструментовку целого отрывка, и к ней Пушкин возвращается в эпилоге поэмы:

И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.

Позднее, в «Полтаве», повторено:

И имя нежное Марин
Чуть лепетал еще язык.

Появление имени «Мариулы» в «Цыганах» имеет свою историю. Приступая к поэме, Пушкин набросал ее программу, из которой видно, что героиня первоначально должна была носить имя *Марианны*. Затем Пушкин назвал ее Земфирой, а ее матери, в рассказе старого цыгана, дал имя Мариулы.

Заметим, наконец, что в последних строках пьесы «Редеет облаков, летучая гряда» имя Марин проносится беззвучно, в намеке, не будучи на сей раз произнесено вслух*).

*) Мэри в «Пью за здравие Мэри» и Мэри в «Пире во время чумы» в счет не идут, так как эти имена заимствованы у других авторов вместе с сюжетом.

Облака любит он располагать грядой, полосой, цепью:

Ленивой *грядой* идут облака.

1815. Сраженный рыцарь.

Редеет облаков летучая *гряда*.

1820. Редеет облаков...

Недвижный *цепью* облаков.

1821. Кавказский Пленник.

Недавно грозных туч *грядой*...

1824. Аквилон.

Над ними серых туч густая *полоса*.

1830. Румяный критик мой...

Его автореминисценции не ограничиваются областью стихов. Они часты и в письмах, при чем особенный интерес имеют те, в которых эти две области, поэтическая и эпистолярная, переплетаются друг с другом.

Отметим прежде всего те случаи, когда он буквально и намеренно цитирует свои стихи в письмах. Такие цитаты можно разделить на две группы.

Во первых, — те случаи, когда адресату письма цитата уже знакома, и Пушкин, так сказать, играет на этом знакомстве:

1. Знаменитая эпиграмма на Кюхельбекера, кончающаяся стихом:

И кюхельбекерно, и тошно —

и написанная еще в 1818 г. цитируется в письме к брату 30 января 1823 г.: «кюхельбекерно мне на чужой стороне». Затем, в письме к Вяземскому (июнь 1824) стих эпиграммы повторен почти полностью: «вижу, что и тебе кю-

хельбекерно и тошно»... Еще ранее, 27 июня 1822 г. он пишет Гнедичу из Клишинова: «Здесь у нас *молдованно* и тошно» и сам подчеркивает слово «молдованно» как бы намекая, что это — неологизм, произведенный от общеизвестного «кюхельбекерно».

2. Стих из «Бахчисарайского фонтана»:

Святую заповедь Корана —

он, слегка изменяя, повторяет в письме к Вяземскому 13—14 июня 1824 г.: «С другой стороны деньги, Онегин, святая заповедь Корана — вообще мой эгоизм».

3. В декабре 1824 г. он в письме к брату повторяет два стиха из «Уединения» (1819): «Избави меня

От усыпителя глупца,
От пробудителя нахала!»

4. В ноябре того же года, в письме к Жуковскому, он цитирует эпиграмму на Воронцова: «Но *полу-Милорд* Воронцов даже не полу-герой».

5. Просвятив Н. С. Алексееву в 1821 г. стихи, начинающиеся строкой: «Мой милый, как несправедливы».. — он 26 дек. 1830 г. начинает письмо к Алексееву словами: «*Мой милый, как несправедливы* твои упреки моей забывчивости и лени!»

Вторую группу составляют цитаты из стихов, о которых с большей или меньшей уверенностью можно сказать, что они адресату письма не известны; в этих случаях намеренной «игры на цитате» нет. Сюда относятся следующие случаи.

1. 16 мая 1827 г., уезжая в Петербург из Москвы, он написал в альбом Ек. Н. Ушаковой стихи, в которых намекал на возможность разделить в Петербурге судьбу повешенных декабристов. Стихи кончались:

Вы ж вздохнете ль обо мне,
Если буду я повешен?

В октябре 1828 г. он написал «Полтаву», в которой имеется стих:

«В тени украинских черешен».

И вот, вскоре после того, он посылает Е. П. Полторацкой в Украину шуточное четверостишие, где сочетается автореминисценция из стихов к Ушаковой с цитатой из «Полтавы»:

Когда помилует нас Бог,
Когда не буду я повешен,
То буду я у ваших ног,
В тени украинских черешен.

2. В 1829 г. написано «Путешествие Онегина». В строфе IV читаем:

Тоска, тоска! Спешит Евгений
Скорее далее.

В строфе VI:

Тоска, тоска! Он в Нижний хочет!

В строфе VII:

Тоска! Евгений ждет погоды

В строфе VIII:

Тоска! Он едет на Кавказ.

В строфе XII:

Чего мне ждать? *Тоска, тоска!*...

И вот, вслед за написанием этих стихов, в письмах Пушкина появляется:

С. Д. Киселеву, 15 ноября 1829: «В Петербурге *тоска, тоска...*»

П. А. Плетневу, 31 авг. 1830: «Грустно, *тоска, тоска*».

Ему же, 21 янв. 1831: «Грустно, *тоска*».

Н. Н. Пушкиной, 15 дек. 1831: «*Тоска*, мой Ангел».

Ей же, 30 июля 1834: «*Тоска, тоска!*»

До сих пор мы имели дело с прямыми переносами из стихов в письма. Посмотрим теперь, как отрывки стихов, ранее написанных, перефразируются в переписке, являющиеся в измененной, прозаизированной редакции.

1. В элегии «Погасло дневное светило» (1820):

Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья.

В письме к Я. Н. Толстому, от 26 сент. 1822 г.: «Ты один из всех моих товарищей, *минутных друзей минутной молодости*, вспомнил обо мне».

А 29 июля 1824, в письме к Бестужеву: «Постарайся видеть Никиту Всеволожского, лучшего из *минутных друзей* моей *минутной молодости*» *).

2. В конце 1824 г. он написал:

Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить
И в самой подлости оттенок благородства, —

а 25 янв. 1825 г. в письме к Вяземскому, по другому поводу: «В подлостях *нужно некоторое благородство*».

*) Кстати — о выражении «минутная младость». Оно встречается и ранее «Элегии» — в переводе вольтеровских «Стансов» (1817):

Вы, услаждавшие печали
Минутной младости моей.

«Минутные розы» тоже встречаются дважды:

О Лиля! Вяннут *розы*
Минутные любви.

(1816. «Фавн и Пастушка»).

Цветет между *минутных роз*
Неувядаемая роза.

(1827. «Есть роза дивная»)

3. В ответ на письмо Родзянки от 10 мая Пушкин ему написал послание, начинающееся словами:

Ты обещал о романтизме,
О сем парнасском афеизме,
Потолковать...

Это послание писано, конечно, до приезда А. П. Керн в Тригорское, т. е. либо в конце мая, либо в начале июня. Мне кажется, что получив письмо Родзянки, Пушкин тут же, по крайней мере, начал к нему послание, — а 25 мая, в письме к Вяземскому перефразировал: «Все (даже и ты) имеют у нас самое темное понятие о романтизме... Об этом надо будет на досуге *потолковать*».

4. 1830 г. «Закливание»:

Явись, возлюбленная тень!

В письме к Плетневу, 2 апр. 1831: «Если тебя уже нет на свете, то, *тень возлюбленная*, кланяйся от меня Державину и обними моего Дельвига».

Кстати. Возможно, что самое выражение «возлюбленная тень» подсказано Пушкину тем же Дельвигом, который писал ему еще в июне 1826 г.: «Гнедичу лучше, он тоже живет на даче и тебе кланяется. В комнатах, в которых он живет, жил в последнее время Батюшков: до сих пор видна его рука на окошках. Между прочим на одном им написано: Есть жизнь и за могилой! а на другом: *Ombra adorata!* Гнедич в восторге меланхолическом по целым часам смотрит на эти строки». Мне думается, что связь этих строк Дельвига с «Закливанием» — неоспорима.

5. В XIV — XV строфах VIII главы «Онегина» он, описывая замужнюю Татьяну, говорит:

Она казалась верный снимок
Du comme il faut...

Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной...
Зовется vulgar...

Конечно, именно эти строки перефразированы через три года в письме к жене (30 окт. 1833 г.): «Я не люблю все, что пахнет московскою барышнейю, все, что не сомте il faut, все, что vulgar» *).

Иногда общая мысль, выраженная в стихах, потом не раз повторяется в письмах. Таково отношение Пушкина к своей наружности и к своим изображениям. Считая себя «потомком негров безобразным», он в 1827 г. обращался к Кипренскому, написавшему его портрет:

Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит **).

9 мая 1828 г. он написал экспромт к Доу:

Зачем твой дивный карандаш
Рисует мой арапский профиль?
Хоть ты *векам его предашь*,
Его освищет Мефистофель — и проч.

Через 8 лет он написал Н. Н. Пушкиной (14 мая 1836): «Здесь хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. Тут арапское мое безобразие *предано будет бессмертию*»..

4 июня 1832 г., извещая В. Ф. Вяземскую о рождении дочери, он пишет: „Imaginez Vous que me femme a eu la maladresse d'accoucher d'une petite litographie de ma personne. Je suis au desespoir...“

Особый интерес имеют случаи обратной реминисценции: из письма в стихи.

*) Нужно полагать, что и в 1836 г., перед лицейскою годовщиной, пишучи М. Л. Яковлеву: «Сказано и последний лицейст *один* будет праздновать 19 октября», — он имел в виду собственные стихи:

Кому ж из нас под старость день Лицей
Торжествовать придется одному? и т. д.

(19 октября 1825 г.)

**) Судя по многим отзывам, Пушкин, действительно, на портрете Кипренского прикрашен.

1. Еще 2 янв. 1822 г., в письме к Вяземскому, он называл Буянова, героя дядиной поэмы, своим двоюродным братом: «Крайне опасаясь, чтоб *двоюродный брат* мой не почелся моим сыном» — т. е., чтобы в будущем поэму В. Л. Пушкина не приписали авторству А. С. Пушкина. Четыре года спустя, в V главе «Онегина», Пушкин ставляет дядина героя присутствовать на именинах Ольги. В перечне гостей (строфа XXVI) мы читаем:

Мой брат двоюродный Буянов.

Тот же Буянов толкает Онегина на его опасную выходку против Ленского (стр. XI, IV):

Буянов, *братец* мой задорный,
К герою нашему подвел
Татьяну с Ольгой: проворный
Онегин с Ольгой пошел*).

2. 1 сентября 1822 г. он писал к Вяземскому: «*Лета клонят к прозе*» — и повторил через целых четыре года:

Лета к суровой прозе клонят.

(«Онегин», VI, 43).

3. Когда умерла тетка Анна Львовна, а кн. Шаликов сочинил ей эпитафию, Пушкин, 4 дек. 1824 г., написал сестре: „Au vrai j'ai toujours aimé ma pauvre tante et je suis fâché que Chalicoff aie p... sur son tombeau.“ Но кроме Шаликова Anne Львовне сочинил эпитафию и В. Л. Пушкин. Поэтому месяцев пять спустя, в «Элегии на смерть Анны Львовны», написанной при участии Дельвига, появились такие стихи:

Увы! Зачем Василий Львович
Твой гроб стихами обмочил...

*) Называя В. Л. Пушкина отцом Буянова, сам Пушкин, в письме к тому же Вяземскому, в октябре 1825 г., называет себя отцом Евгения Онегина и каламбурит: «Архиерей Отец Евгений принял меня как отца Евгения».

4. «Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа». (Рылееву, апрель 1825). В «Сцене из Фауста» (1826?) читаем:

Вся тварь разумная скучает.

5. 4 дек. 1825 г. он написал Катенину о «Цыганах»: «Это годится для публики, но тебе надеюсь я *представить* что-нибудь *более достойное твоего внимания*».

В посвященном «Онегина» Плетневу (1827):

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе *представить*
Залог *достойнее тебя*.

6. В полу-стихотворном, полу-прозаическом письме к Соболевскому (9 ноября 1826) он советует:

У *податливых крестьянок*,
(Чем и славится *Валдай*),
К чаю накупи *баранок*
И скорее поезжай.

Впоследствии он писал в «Путешествии Онегина»:

Пред ним (Онегиным) *Валдай*, Торжок и Тверь.
Тут у *привязчивых крестьянок*
Берет три связки он *баранок* — и т. д.

7. 1 июня 1831 г. он пишет Вяземскому о польском бунте: «Но все таки их (поляков) надобно задушить и наша медленность мучительна. *Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря*, мы не можем судить ее по впечатлениям Европейским, каков бы ни был впрочем наш образ мыслей — но для Европы нужны общие предметы внимания и пристрастия, нужны и для народов и для правительств. Конечно, выгода почти всех правительств держаться в сем случае

правила non - intervention, т. е. избежать в чужом пиру похмелья; но народы так и рвутся, так и лаят».

Через два месяца он повторил эту мысль в стихотворении «Клеветникам России», а подчеркнутые мною слова перефразировал в стихах:

Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор...

Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда.

Таковы, мною замеченные, главнейшие случаи автореминисценций из писем — в стихи*).

См. также заметку 6, примечание.

Он любил и умел ценить острое слово: запоминал его, если чужое, и берег — если свое**).

В ноябре 1824 он писал брату по поводу петербургского наводнения: «Что это у вас? Потоп! ништя про-

*) Укажу, для примера, один случай перенесения образа из писем — сперва в статью, а потом — в повесть. 6 февраля 1823 он пишет Вяземскому: «До сих пор читая рецензии Воейкова, Каченовского и проч., мне казалось, что подслушиваю у калитки литературные толки приятельниц Варюшки и Буянова» (т. е. обитательниц публичного дома). В «Отрывках из разговоров» (1830) читаем: «Пушкин читает все №№ «Вестника Европы», где его ругают, что значит, по его энергическому выражению, — подслушивать у дверей, что говорят о нем в прихожей» (т. е., что говорит дворня). В «Египетских Ночах» (1835): «Имея поминутно нужду в деньгах, приятель мой печатал свои сочинения и имел удовольствие потом читать о них печатные суждения..., что называл он в своем энергическом простонаречии — подслушивать у кабака, что говорят об нас холонья».

**) Он это знал за собой. Плохие же свои каламбуры, не любя отца и всегда подшучивая над дядей, которые оба считали себя остроумцами, — приписывал наследственности; скаламбурив в письме к Вяземскому (апрель 1825), он прибавляет: «Извини эту плоскость: в крови!» В письме к Кюхельбекеру (декабрь того же года) он пишет: «со злости духом прочел «Духов» (Calembour, reconnais tu le sang?)»

клятому Петербургу! Voilà une belle occasion á vos dames de faire bidet».

Через месяц, не получив ответа на острогу, он спрашивает: «Получил ли ты мое письмо о Потопе, где я говорю тебе: Voilà une belle occasion pour nos dames de faire bidet?»

Другой случай. 17 авг. 1825 он пишет Жуковскому, по поводу «Бориса Годунова» и «Истории» Карамзина: «C'est palpitants comme la gazette d'hier, писал я Раевскому». Т. е. он запомнил слова из собственного письма, до нас не дошедшего, но написанного, быть может, недели за 2—3 до того (если эти слова вошли в чистовое письмо к Раевскому от конца июля — начала августа 1825 г., начинающееся словами: «Où êtes vous?» и известное лишь по черновику, в котором о Карамзине ничего не говорится). Вернее же, что Пушкин, говоря об «Истории» Карамзина в связи со своим «Борисом Годуновым», цитирует более раннее свое письмо к Раевскому, которое до нас вовсе не дошло, но писано было, приблизительно, еще в апреле 1815 г., т. к. Раевский отвечает на него 10 мая. Вероятно, в том письме, посылая план «Годунова» (как видно из ответа Раевского), — Пушкин писал и о Карамзине. В этом случае получаем, что он помнил и берег фразу, написанную месяца за три — четыре до этого.

Случай третий. 9 сентября 1830 г. в письме к Плетневу он рассказывает о последних минутах В. Л. Пушкина: «Приезжаю к нему, нахожу его в забытии; очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом помолчал: «как скучны статьи Катенина!» И более ни слова. Каково? Вот что значит умереть честным воином *на щите*, le cri de guerre á la bouche!»

Прошло более четырех лет, и 14 февраля 1835 г. по поводу смерти П. И. Соколова, он пишет И. И. Дмитриеву: «Не знаю, занимает ли вас участь нашей Академии, которая недавно лишилась своего секретаря, *умершего на щите*, т. е. на последнем корректурном листе своего словаря».

Четвертый пример. В январе 1824 г., в письме к брату, он бранит лобановский перевод «Федры» и, процитировав стихи:

надеешься найти
Тезя жаркий след или темные пути, —

прибавляет: «... его в рифму!»

А 29 ноября 1824 г. письмо к Вяземскому он начинает: «Ольдекоп, ... его в рифму, надоел!»

Пятый пример. 4 янв. 1822 г. в письме к брату он острит, говоря, что стих Кюхельбекера:

Так пел в Суворова влюблен Державин —

«слишком уже Греческий».

В апреле 1825 г., через три года с лишним, он сообщает Вяземскому, что переписывает для него «Онегина», и прибавляет: «Отроду ни для кого ничего не переписывал, даже для Голицыной — из сего следует, что я в тебя влюблен, как кюхельбекерский Державин в Суворова».



В следующей заметке, о деньгах, я приведу еще ряд автореминисценций Пушкина. Часть их, методологически, должна бы войти в настоящую заметку. Но, не гонясь за наукообразностью своей работы, я предпочел выделить «денежную» тему в особый отрывок. Здесь же ограничусь тем, что приведу несколько выражений, характерных для эпистолярного стиля Пушкина.

1. Цензура и перлюстрация принесли ему не мало огорчений и затруднений. Однако, стихи писал он по большей части не заботясь о цензуре и предоставляя ей со временем урезывать и искажать, что она сочтет нужным. Перлюстрации же удавалось иногда избежать, благодаря оказиям, т. е. пересылая письма со знакомыми, а не по почте. В связи с этим находится у него выраже-

ние: «спустя рукава» — т. е. мимо цензуры и перлюстрации.

Сообщая Вяземскому о «Евгении Онегине», он пишет: «О печати и думать нечего: пишу, *спустя рукава*». (4 ноября 1823).

«Так как я дождался оказии, то и буду писать тебе *спустя рукава*». (Л. С. Пушкину, январь 1824).

«Я ждал отъезда Трубецкого, чтоб писать тебе *спустя рукава*». (Вяземскому, 13—14 июня 1824).

«Милый, мне надоело писать тебе, потому что не могу являться тебе в халате, на распашку и *спустя рукава* (Вяземскому, сент. 1825).

2. В письмах, осведомляясь о комнибудь или о чемнибудь, он любил короткий оборот: «Что...» — далее идет имя или название предмета и знак вопроса. Иногда вместо «что» — «где». Напр.: «Что твой Байрон?» «Где Дельвиг?» и т. п. Оборот этот встречается, по приблизительному подсчету, более семидесяти раз, при чем часто (раз 10) вопросы идут парю, напр.: «Что Илиада и что Гомер?» Раз три — вместе соединены три вопроса, напр. «Что наши? Что запретная Роза? Что Тимашева?» Письмо к Я. Н. Толстому (26 сент. 1822) кончается целыми двенадцатью вопросами: «Что Всеволожские? Что Мансуров? Что Барков? Что Сосницкие? Что Хмельницкий? Что Катенин? Что Шаховской? Что Ежова? Что гр. Пушкин? Что Семеновы? Что Завадовский? Что весь театр?»

Иногда «что» соединяется в пару с «где» — а дальше личное местоимение, при чем вопрос отчасти носит характер риторического. Например: «Что я? Где я?» (Дельвигу, 8 июня 1825). «Где вы? Что вы?» (Н. Н. Гончаровой, 30 окт. 1830). «Где ты? Что ты?» (Ей же, 30 июля 1834).

Последние примеры тем интересны, что подтверждают близость его эпистолярного стиля к поэтическому. Так, в XIX строфе «Онегина» читаем:

Мои богини! Что вы? Где вы?

В черновике послания к И. И. Пущину:

Где ж эти ласковые лица?
Где молодость? Где ты? Где я?

В оде «Вольность»:

Где ты, где ты, гроза царей?...

То же — с резче выраженным оттенком утраты:

Мечты, мечты,
Где ваша сладость?
Где ты, где ты,
Ночная радость?

(«Пробуждение»).

3. «Мне *брюхом* хочется театра и кой-чего еще» (Гнедичу, 27 сент. 1822).

«Где и что Липранди? Мне *брюхом* хочется видеть его» (Вигелю, дек. 1823).

«Прозы твоей *брюхом* хочу» (Вяземскому, 19 февраля 1825).

«Мне *брюхом* захотелось с тобой увидаться». (Кривцову, 10 февр. 1831).

«Да нельзя ли твоих стихов? *мочи нет* хочется». (Вяземскому, 6 февраля 1823).

«*Мочи нет*, хочется Дельвига». (Брату, 12 марта 1825).

«Когда то мы возьмемся за журнал! *Мочи нет* хочется...» (Вяземскому, 10 авг. 1825).

«*Мочи нет* хочется к вам». (Катенину, 4 дек. 1825).

«Скоро ли, боже мой, приеду из П. Б. в Hôtel d'Angleterre мимо Карса? По крайней мере *мочи нет* — хочется». (Киселеву, 15 нояб. 1829).

«Мне *мочи нет* хотелось бы к вам не доехать...» (Плетневу, 26 марта 1831).

«*Мочи нет* хочется мне увидеть тебя причасанной à la Ninon». (Жене, 30 окт. 1833).

«*Мочи нет* хочется узнать развязку». (Нащокину, 24 нояб. 1833).

То же «мочи нет» встречается и в другом контексте:

«Мочи нет устал». (Вяземскому, 25 мая 1825).

«Мочи нет сердит». (Ему же, сент. 1825).

«Скучно мочи нет». (Плетневу, янв. 1826).

«Здесь у нас, мочи нет, скучно». (Судиенке, 22 янв. 1830).

«Сегодня мочи нет устал». (Жене, 6 дек. 1831).

4. Он двенадцать раз, заканчивая письмо, написал «Addio», — впервые — 14 окт. 1823 г., из Одессы, вероятно, под влиянием итальянских знакомств, может быть, Ризнич. В последний раз — «Addio, vita mia, ti amo», — в письме к жене, 21 июня 1834 г.

Интереснее судьба другой концовки: латинского «vale». Она довольно часто встречается в ранних письмах:

Вяземскому, 27 марта 1816: Valeas.

Гнедичу, 24 марта 1821: Vale.

Брату, 27 июня 1821: Vale.

Гречу, 21 сент. 1821: Vale.

Раевскому, 1821: Vale et mihi faveas.

Гнедичу, 29 апр. 1822: Vale.

Гнедичу, 13 мая 1822: Vale, sed delenda est censura.

Вскоре он начал «Евгения Онегина», и в 6-й строфе первой главы посмеялся над латинскими познаниями своего героя, умевшего

В конце письма поставить *Vale*.

После этого ему уже было неловко самому делать то же — и «vale» на целых три года исчезает из пушкинских писем, чтобы затем появиться всего лишь три раза, и то с большими перерывами:

Вульфу, август 1825: Vale, mi fili in spirito.

Погодину, август 1827: Vale.

Дельвигу, ноябрь 1828: Vale et mihi favere, как Евгений Онегин.

Деньги играли большую роль в его жизни. В переписке им отведено много места. Тема денег порой врывается в творчество. На связи «Скупого рыцаря» с историей, разыгравшейся между Пушкиным и отцом осенью 1824 г., мы со временем остановимся подробнее. Сейчас я хотел бы коснуться некоторых других мест в переписке и художественном творчестве, где речь идет о деньгах. Имею в виду, конечно, не частные случаи, не рассказы Пушкина с отдельными лицами, а те отрывки из писем и творений, где выражено общее отношение к деньгам, и то, в каком виде представлялась самому Пушкину связь между его творчеством и его денежными делами. Попутно нам встретится, помимо сходных *суждений*, ряд прямых *автореминисценций* лексического и стилистического порядка.

Вскоре по выходе из лицея он столкнулся с необходимостью добывать деньги. Жалованье было ничтожно. Его небогатый отец был к тому же скуп. Вскоре Пушкин привык смотреть на литературу, как на источник денежный. На первых же порах он столкнулся с вопросами литературного рынка: спроса и предложения. Спрос, как всегда, клонил к изготовлению плохого, но ходкого товара. Надо было не поддаваться соблазну и выработать принципиальную формулу, чтобы определить отношение творчества к факту продажи стихов и поэм издателям: отношение поэта к читателю и книгопродавцу. Вскоре она была найдена.

Еще в конце 1823 г., прося Вяземского скорее печатать «Бахчисарайский фонтан», Пушкин поясняет: «Не ради славы прошу, а ради Мамона».

В январе 1824 г. он пишет брату: «Русская слава может льстить какомунибудь В. Козлову, которому льстят и петербургские знакомства, а человек немного порядочный презирает и тех и других. Mais pourquoi chantais-tu? На сей вопрос Ламартина отвечаю — я пел, как булочник

печет, портной шьет, Козлов пишет, лекарь морит — за деньги, за деньги, — таков я в наготе своего цинизма».

Однако, этот цинизм — несколько наигранный. В следующем месяце, когда дело коснулось конкретного факта, Пушкин уже не решается сказать, что он *пишет* ради денег. Он признается Бестужеву (8 февр. 1824) о «Бахчисарайском фонтане»: *«Я писал его для себя, а напечатал потому, что деньги были нужны»*.

Ровно через месяц еще, 8 марта 1824 г., он пишет Вяземскому. Теперь формула выработана окончательно и лапидарно: *«я пишу для себя, а печатаю для денег»*. Поэтически это выражено в то же, приблизительно, время в «Разговоре книгопродавца с поэтом»:

Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.

В мае 1825 г. он, касаясь той же темы, пишет Рылееву: «Не должно русских писателей судить, как иностранных. Там пишут для денег, а у нас (кроме меня) из тщеславия. Но это, конечно, поклеп на себя, резкость, опровергаемая всей его «непреклонной лирой».

В 1833 г. он стал набрасывать стихотворение, которого так и не кончил, но в котором почти слово в слово повторяет то, что писал Вяземскому 8 марта 1824 г.:

На это скажут мне с улыбкою неверной:
Смотрите — Вы поэт уклонный, лицемерный,
Вы нас морочите, Вам слава не нужна,
Смешной и суетной Вам кажется она;
Зачем же пишете? — Я? для себя. — За что же
Печатаете Вы? — Для денег. — Ах, мой Боже,
Как стыдно! — Почему ж...

На этом стихи обрываются, но в набросках к «Египетским ночам» (1835) он автобиографически рассказывает о своем «приятеле» стихотворце: «Долго бы дожидалась почтеннейшая публика подарков от моего приятеля, если

б книгопродавцы не платили ему довольно дорого за его стихи. Имея поминутно нужду в деньгах, приятель мой печатал свои сочинения».

Точно так же в апреле 1834 г. он писал Погодину: «много пишу про себя, а печатаю поневоле и единственно для денег».

Почти, не получая доходов от отцовских имений, Пушкин привык смотреть на литературную работу, как на *единственный* денежный источник. Об этом он пишет неоднократно; всего отчетливей к Бенкендорфу, 20 июля 1827 г.: «Не имея другого способа к обеспечению своего состояния, кроме выгод от посильных трудов моих»... и т. д. К нему же, 19 авг. 1828 г.: «Как надлежит мне поступить с моими сочинениями, которые, как Вам известно, составляют одно мое имущество?»

Литературный заработок, однако, случаен и неравномерен. Собираясь жениться, Пушкин должен был призадуматься о том, чтобы придать ему известную регулярность, научиться управлять им. Поэтому со времени жениховства и далее, во все годы семейной жизни, литература, как исходная статья, входит в круг его расширенного хозяйства (он получил кое-что от отца, кое-что получила в приданое Наталия Николаевна, впоследствии к этому прибавилось жалованье и долгосрочные займы у Николая I). Уже за два дня до свадьбы, 16 февр. 1831 г., он пишет Плетневу: «Взять жену без состояния я в состоянии. Но я упрям и должен был настоять, по крайней мере, на свадьбе. Делать нечего: придется печатать мои повести».

23 февраля 1833 г. он жалуется Нащокину: «Нет у меня досуга, вольной, холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде; все это требует денег, деньги достаются мне чрез труды, а труды требуют уединения». Таким образом, уже самое «уединение» входит в его хозяйственную бухгалтерию, как известный пассив: как расход по производству.

30 июля того же года он просится в отпуск: «мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую и которая доставит мне деньги, в кои имею нужду». (Письмо к Мордвинову). Эта книга была «Капитанская дочка». Но перед правительством он должен был оправдываться в желании писать роман: «Мне самому совестно тратить время на суетные занятия, но что делать? Они одни доставляют мне независимость и способ прожить с моим семейством в Петербурге»*).

13 июля 1834 г. он пишет жене в деревню о необходимости ему оставаться в Петербурге: «рад бы в рай, да грехи не пускают. Дай, сделаю деньги, не для себя, для тебя. Я деньги мало люблю — но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости».

Через год, измученный денежными заботами и необходимостью состоять при дворе, он приходит в отчаяние и 21 сент. 1835 г. пишет жене из Михайловского, куда ездил не надолго: «Я все беспокоюсь и ничего не пишу, а время идет. Ты не можешь вообразить, как живо работает воображение, когда сидим одни между четырех стен, или ходим по лесам, когда никто не мешает нам думать, думать до того, что голова закружится. А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец не оставит мне имени; он его уже с половину промотал; ваше имя на волоске от гибели. Царь не позволяет мне записаться

*) Он давно знал, что в глазах начальства писание книг является «суетным занятием»: еще 25 мая 1824 г. он писал Казначееву: «Ради бога не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль частной промышленности». Он знал, что приписывая себе постыдное для поэта писание ради денег, — выигрывает в глазах начальства, как благонамеренный и положительный чиновник.

в помещики, ни в журналисты. *Писать книги для денег, видит Бог, не могу***).

Итак, он остался при том же, с чего начинал: при возможности писать для денег. А писать для себя уже не мог. Есть горькая ирония в его рассказе о том, как в лесу или в четырех стенах «живо работает воображение», о том, как «никто не мешает думать до того, что голова закружится». — Уже читатель ожидает «высоких дум», — а Пушкин тут-то и разбивает его надежды: «А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет?»

Впрочем, сравнение литературного дохода с помещичьим проскальзывало и раньше. В сентябре 1825 г. он, обещая отдать долг Вяземскому, писал ему: «жди оброка, что соберу на днях с моего сельца С.-Петербурга». В августе 1831 г., назначая цену за экземпляр «Повестей Белкина», он, в письме к Плетневу, говорит: «Думаю, что публика будет беспрекословно платить сей умеренный оброк и не принудит меня употреблять строгие меры». В 1833 г., в набросках, представляющих попытки вернуться к «Онегину», он пишет:

Вы говорите: «слава Богу!
Покамест твой Онегин жив,
Роман не кончен. Понемногу
Пиши ж его — не будь ленив.
Со славы, вняв ее призыванью,
Сбирай оброк хвалой и бранью...

И с нашей публики меж тем
Бери умеренную плату:
За книжку по пяти рублей —
Налог не тягостный, ей-ей!»

Или, в другом наброске:

**) Незадолго до того он писал Бенкендорфу (1 июня 1835). „Mais accoutumé à l'indépendance, il m'est tout à fait impossible d'écrire pour de l'argent“.

Ты мне советуешь, Плетнев любезный,
Оставленный роман мой продолжать...

Брать с публики *умеренную* плату —
За каждый стих по десяти рублей
(Составит, стало, за строфу сто сорок) —
Оброк пустой для нынешних людей...

В третьем — иначе:

Ты вставишь ряд картин, откроешь диараму,
Прихлынет публика, платя тебе за вход,
Что даст тебе и славу, и доход.

Наконец, 15 сент. 1834 г., печатая «Историю Пугачевского бунта», он, в письме к жене, зовет Пугачева своим «оброчным мужичком».

Он любит выставить себя торговцем стихами. Когда, раньше напечатания, «Бахчисарайский фонтан» уже проданный книгопродавцам и оплаченный ими, стал известен публике, — Пушкин испугался, что книгопродавцы останутся в накладе, а ему впредь невозможно будет «*продавать себя с барышом*» (Л. С. Пушкину, 1 апр. 1824). И далее, в том же письме: «Ни ты, ни отец... денег не шлете — а подрываете мой *книжный торг*». В 1827 г., когда его хотели заставить даром работать на журнал, он жаловался Соболевскому: «Да еще говорят: он богат, чорт ли ему в деньгах. Положим так, но я богат через мою *торговлю стихистой*, а не дедовскими вотчинами». Летом 1830 г. он писал своему кредитору Огонь-Догановскому: «Я никак не в состоянии, по причине *дурных оборотов*, заплатить вдруг 25 тыс.»

Еще 21 сент. 1821 г., живя в Кишиневе, он в таких выражениях предлагал Н. И. Гречу отрывок из «Кавказского Пленника»: «Хотите ли Вы у меня купить весь кусок поэмы? длиною в 800 стихов; стих шириной — 4 стопы; разрезано на две песни. Дешево отдам, чтоб товар не залежался».

Бравируя, он выставил себя владельцем мелочной лавки: «Стыжусь вам говорить о моей *мелочной лавке № 1*. — Много у меня начато; ничего не кончено». (Гнедичу, 23 февраля 1825 г.). В июне того же года он пишет Вяземскому: «стихами торгую en gros, а свою *мелочную лавочку № 1* запираю».

Постоянно озабоченный своими торговыми оборотами, он полу-шутя, полу-серьезно подчеркивает важность денег вообще.

В начале апреля 1824 г. он пишет Вяземскому и рассуждает о классической и романтической поэзии, но обрывает свои рассуждения: «Обо всем этом поговорим на досуге. Теперь *поговорим о деле, т. е. о деньгах*». В марте 1834, слово в слово то же в письме к Нащокину: «Сперва *поговорим о деле, т. е. о деньгах*».

19 февраля 1825 г. он жалуется ему же на убытки, причиненные Мухановым: «Варвар! Ведь это кровь моя, ведь это деньги!» В апреле того же года — ему же, о 600 руб., полученных Л. С. Пушкиным за отрывок «Онегина»: «Это деньги, следственно должно держать их под ключом». 9 сент. 1830 г. он пишет Плетневу: «Деньгами нечего шутить; деньги вещь важная—спроси у Канкрин и у Булгарина». 13 янв. 1831 г., в письме к тому же Плетневу, он с мрачной иронией выделяет в особую строку афоризм:

«Деньги, деньги: вот главное».

В 1835 или 1836 г. он пишет В. Ф. Одоевскому: «Зачем мне *сот-действовать* Детскому журналу? уж и так говорят, что я в детство выпадаю. Разве уж не за деньги ли? О это дело не детское, а дельное».

В связи с подчеркиванием важности денег находится своеобразный прием, к которому он прибегает четыре раза, чтобы высказать свою низкую оценку того или другого предмета.

В первый раз — в письме к Бестужеву, от 29 июня 1824 г. Пушкин поручает Бестужеву поговорить со Всеволожским, не согласится ли тот обратно продать Пушкину

собрание стихотворений, некогда купленных за тысячу рублей ассигнациями, -- и спрашивает: «Согласитесь ли Аристипп Всеволодович? Я бы в придачу предложил ему дружбу, mais il l'a depuis longtemps, d'ailleurs ça ne fait que 1000 roubles».

Тот же прием повторен в письме к брату от 12 марта 1825 г.: «Хотел бы я также иметь Новое издание Собрания Русских Стихотворений, да дорого 75 руб., я и за всю Русь столько не даю».

В третий раз, в письме к Коншину, летом 1831 г.: «Собака наплась, благодаря вашим приказаниям. Жена сердечно вас благодарит, но собачник поставил меня в затруднительное положение. Я давал ему за труды 10 рублей, он не взял, говоря: мало; *по мне, и он, и собака того не стоят...*»

В четвертый раз он пишет жене из Москвы, 27 авг. 1833 г.: «В клобе я не был — чуть ли я не исключен, ибо позабыл возобновить свой билет. Надобно будет заплатить 300 рублей штрафу, а я весь *Английский клоб* готов продать за 200».

Он любит шутя говорить о своей скупости, подчеркивать ее. В июне 1831 г. он пишет Нащокину: «Жду дороговизны и скупость наследственная и благоприобретенная во мне тревожится». 19 апреля 1834 г., в письме к жене, он сообщает: «...посылаю тебе два письма, которые я распечатал из любопытства и скупости (чтоб меньше платить на почту весовых денег)»...

Летом того же года Н. Н. Пушкина прислала ему из деревни весы. 8 июня он пишет ей: «Благодарю тебя за весы, роскошную вывеску моей скупости»^{*)}.

^{*)} Другим он не позволял говорить о его скупости. 26 июня 1831 г. он писал своей теще: «Меня изображали моей жене, как человека ненавистного, жадного, презренного ростовщика... Согласитесь, что это значит проповедовать развод».

Вечное добывание денег, сопряженное с литературными дрязгами и «стипистой торговлей» его изводило, чем дальше, тем хуже. 22 янв. 1825 г. Плетнев написал ему, что «*на Парнассе толкучий рынок*». Он пять лет берег это про себя, но в 1830 г., в XIV и XV строфе «Домика в Коломне», повторил за Плетневым:

А табор свой с классических вершинок
Перенесли мы на толкучий рынок,
И там себе мы возмемся в грязи,
Торгуемся, бранимся так, что любо...

Позднее, 30 сент. 1832 г., в письме к жене, он вспомнил эти стихи, но выразился резче: «...встретился с Каченовским (с которым, надобно тебе сказать, *бранивались мы, как торговки на Вшивом рынке*)».

Еще через полтора года с лишним, 6 апреля 1834 г., он закончил письмо к Погодину такими словами: «Было время, литература была благородное, аристократическое поприще. Ныне это *вшивый рынок*. Быть так».

40

февраля 1825 г. Пушкин писал Гнедичу, который работал тогда над переводом Гомеровою Илиады:

«Когда ваш корабль нагруженный сокровищами Греции, входит в пристань при ожидании толпы — стыжусь вам говорить о моей мелочной лавке № 1-й. Много у меня начато, ничего не кончено» — и т. д.

Прошло почти пять лет. В декабре 1829 г. «Илиада» появилась в печати, — и вот мы имеем черновик другого пушкинского письма к тому же Гнедичу:

«Наконец вышел в свет так давно и так нетерпеливо ожидаем перевод Илиады [вышел] ^{*)}. Все благомыслящие

^{*)} В квадратных скобки заключены слова, зачеркнутые в рукописи. В. Х.

люди [ожидали] чувствовали важность сего перевода и ожидали онго с нетерпением. Вы требуете сочинений моих... [Пушкин].

В то время, как *ваш входит в пристань нагруженный богатырями Гомера [при громе наших приветствий; как осмелюсь можно]* нечего *говорить* о моих мелочах на смерть N I.»

Достаточно бегло прочитать второй абзац этого черновика, чтобы увидеть здесь повторение мысли, высказанной в письме 1825 г. Эта мысль (принижение своего труда перед трудом Гнедича) дана в том же абзаце (сравнение с кораблем и пр.). Наконец, повторена интонация фразы и повторены буквально те же слова, что отмечено у меня в соответствующих местах курсивом. Слова «корабль» в черновике нет, но это — несомненный недосмотр: Пушкин просто нечаянно пропустил его, как несколькими строками выше написал «ожидаемъ» вместо «ожидаемый». Отбрасывая буквальные повторения, видим, что разница между письмом 1825 г. и черновиком 1829 г. заключается в следующем:

1. Вместо «когда» — «в то время как».
2. Определение к слову корабль: «нагруженный» и т. д. — в письме 1825 г. стоит перед сказуемым «входит», а в черновике 1829 г. — после.
3. «Сокровища Греции» заменены «богатырями Гомера».
4. Образ: «при ожидании толпы» (1825 г.) в черновике 1829 г. отброшен вовсе, — однако же не сразу: Пушкин сперва написал: «при громе наших приветствий», т. е., в сущности, повторил прежний образ, лишь введя изменения, соответствующие обстоятельствам: «толпа» в 1825 г.: «ожидала» перевода Иллиады, а в 1829 г., после выхода книги, она раздражается «громом приветствий».
5. Слова «стыжусь вам говорить», сказанные в 1825 г. в первом лице, теперь заменены безличным оборотом «нечего говорить» — и опять-таки не сразу, так как сперва

Пушкин написал в первом же лице: «как осмелюсь», потом зачеркнул «осмелюсь» и написал «как можно», потом зачеркнул и это и выразился решительнее: «нечего говорить».

Остановимся пока на этих различиях. Хотя их как будто довольно много, целых пять, но все они, ни в отдельности, ни в целом несколько не изменяют первоначальной мысли и первоначального образа. Больше того: зачеркнутые слова черновика, указанные в п. 4 и особенно в п. 5 как бы свидетельствуют о попытке *в точности* припомнить и воспроизвести выражения из письма 1825 г. Все это позволяет сказать, что здесь имеем дело с сознательным самоповторением. В этом особенно убеждает последнее, еще не рассмотренное нами отличие черновика 1829 г. от письма 1825. К нему мы и переходим.

Черновик 1829 г. содержит не только приветствие Гнедичу по поводу выхода «Иллиады», но и ответ на просьбу о присылке стихов, что видно из недоконченной фразы: «Вы требуете сочинений моих»... В заключительных же словах черновика имеется и более точное указание на то, каких именно «сочинений» «требовал» Гнедич: это было произведение, которое Пушкин уничижительно называл «мелочами на смерть N I» и о существовании которого Гнедич, очевидно, знал. Другими словами — речь шла о стихотворении «Наполеон», написанном вскоре после смерти Наполеона, в 1821 г., но напечатанном лишь в 1826 г., с большими пропусками. Вероятно, Гнедич просил прислать ему полный текст оды. Таким образом «N I» означает Наполеона I.

Если теперь сравнить текст письма 1825 г. с заключительными словами черновика 1829 г., то увидим, что как в первом случае Пушкин писал: «стыжусь *говорить о моей мелочной лавке № 1*», так во втором он *лишь перифразировал* применительно к обстоятельствам: «*нечего говорить о моих мелочах на смерть N I*». «Мелочная лавка» заменена «мелочами» а «№ 1» превращен в «N I», т. е. в На-

полеона. Здесь несомненный и единственный даже у Пушкина случай *графической автореминисценции*, или, если угодно, *графического каламбура*, основанного на начертательном сходстве номера мелочной лавки с инициалом покойного императора.



Сознательность этой автореминисценции несомненна. Встает, однако, два вопроса: зачем она была нужна Пушкину, и мог ли он на нее решиться?

Конечно, он был бережлив на меткое слово, на удачный образ, а потому мог поддаваться искушению повторить сравнение гнедичевской работы с кораблем, нагруженным сокровищами Гомера, а своих стихов с мелочной лавкой и вообще с мелочами. Но несомненно и очевидно, что повторять комплимент было бы бесвкусно, а пожалуй и невежливо, так как повторенный комплимент прозвучал бы неискренно, даже небрежно. Трудно допустить, чтобы Пушкин намеревался сделать такую грубую бесвкусицу и бестактность. Скорее можно предположить, что он хотел откровенно «сыграть на цитате», придав ей остроту тем графическим каламбуром: № 1 — N I, о котором мы говорили выше, — но затем, взвесив серьезность этой минуты, как для самого Гнедича, так и для всего тогдашнего общества, — отказался от намерения шутить. Потому — то мы и не имеем соответственного чистового письма к Гнедичу. Потому-то, вероятно, и черновик обрывается на этом месте: поняв, что в данном случае автоцитата была бы неуместна, Пушкин, видимо, вовсе раздумал писать к самому Гнедичу, а написал известную заметку, напечатанную в «Литературной газете». Что он вовсе не писал Гнедичу, видно из того, что если бы письмо, которое, конечно, заключало бы высокие похвалы, было послано, то по выходе «Литературной газеты», 6 января 1830 г., Гнедич не мог бы писать Пушкину: «Любезный Пушкин! Сердце мое полно;

а я один: прими его изливание. Не знаю, кем написаны во втором номере Лит. газеты несколько строк об Илиаде; но едва ли целое похвальное слово, в величину с Плиниеву Траяну, так бы тронуло меня, как эти несколько строк!» и т. д. И Пушкин, уже однажды написав Гнедичу об Илиаде, не мог бы ему ответить: «Я радуюсь, я счастлив, что несколько строк, робко набросанных мною в Газете, могли тронуть вас до такой степени»... По этой переписке видно, что после выхода Илиады до появления заметки в газете Гнедич никаких похвал от Пушкина не получал.

Полагаю, что приведенный пример лишний раз красноречиво говорит о том, как хорошо помнил и ценил свои слова Пушкин, как сознательно он порою повторял их и как вдумчиво относился к таким повторениям.

Есть у Пушкина стихотворение, обычно печатаемое под заглавием «Шалость»:

Румяный критик мой, насмешник толстопузой,
Готовый век трунить над нашей томной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.
Что ж ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить
И песенкою нас веселой позабавить?
Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий,
За ними чернозем, равнины скат отлогий;
Над ними серых туч густая полоса.
Где ж нивы светлые? Где темные леса?
Где речка? На дворе, у низкого забора,
Два бедных деревца стоят в отраду взора,
Два только деревца, и то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено,
А листья на другом размокли и, желтея,
Чтоб лужу засорить, ждут первого Борея.
И только. На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок; за ним две бабы вслед;

Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил:
Скорей, ждать некогда, давно б уж схоронил!

По поводу этого стихотворения М. О. Гершензон («Мудрость Пушкина», стр. 140) пишет:

«Кто это говорит? кто кого спрашивает? Ведь здесь ничего понять нельзя. А так эти стихи и печатаются искони. Но стоит прочесть их внимательно, и они загораются ясным и острым смыслом. Это — диалог, его можно напечатать так:

Поэт: Румяный критик мой, насмешник толстопузый,
Готовый век трунить над нашей томной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.

Критик: Что ж ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить
И песенкою нас веселой позабавить?

Поэт: Смотри, какой здесь вид,

и т. д.»

Гершензон, несомненно, прав: иначе, как диалог, это стихотворение рассматривать невозможно. Однако, и он не отметил того обстоятельства, что даже при такой интерпретации стихотворение остается явно незаконченным. Немыслимо предположить, чтобы Пушкин, с его отчетливостью и с его непогрешимым чувством архитектуры, мог начать стихотворение в форме такого живого диалога между поэтом и критиком, — а потом, так сказать, вытянуть его в одну линию, превратить в монолог поэта и не дать такого же диалогического конца. Нельзя допустить, чтобы Пушкин, построив пьесу на столкновении двух характеров, мог как будто забыть об этом и никак не разрешить столкновения. Между тем, даже и по Гершензону выходит так, будто пьеса превращается в монолог поэта, — а критик словно куда-то проваливается, — и чем кончается спор, остается неизвестным. Неизвест-

но даже, какое впечатление произвела на критика указанная поэтом картина.

Конечно, можно считать, что стихотворение Пушкиным не дописано, а если бы было дописано, то столкновение поэта с критиком было бы разрешено. Но я думаю, что конец этого стихотворения имеется. Только печатается он, с легкой руки Анненкова, отдельно, в виде особого стихотворения, под заглавием, которое придумал Анненков: «Из записки к приятелю». У Анненкова этот конец отделен от начала пятью томами: «Румяный критик мой»... — в томе II, стр. 520, а «Из записки к приятелю» — в томе VII, стр. 96.

Стихотворение это таково:

Куда же ты? — В Москву, чтоб графских имен
Не прогулять мне здесь. — Постой, а карантин?
Ведь в нашей местности индейская зараза:
Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа,
Бывало, сживал, покорный твой слуга.
Что, брат? Уж не трунишь, тоска берет — ага!

Решив почему-то, что стихотворение, или отрывок, должно называться «Из записки к приятелю», сам Анненков по поводу него кратко замечает: «Смысл записки этой потерял, потому что лицо, к которому она писана — неизвестно».

Если это «записка», то смысл ее не только «потерян», а его никогда и не было. Так как «у ворот угрюмого Кавказа» «сживал» в 1829 г. сам Пушкин, то явно, что первый вопрос: «Куда же ты?» принадлежит ему же. Следовательно, «приятелю» принадлежит фраза: «В Москву, чтоб графских имен не прогулять мне здесь». Допустим, что в 1830 г., когда писаны эти стихи, недалеко от Болдина, где писаны эти стихи, — был у Пушкина какой-то приятель, — о котором никогда нигде не было даже упоминания. Допустим, что этот «приятель»

самым лакейским образом поспешал в Москву, «чтоб графских имений не прогулять». Допустим, наконец, что записка представляет собою «воображаемый разговор» Пушкина с приятелем. И все-таки выйдет, что воображать такой разговор — бессмысленно. Если «приятель», отрезанный от Москвы карантинном, еще все-таки собирается в Москву, — то значит, тоска его еще не взяла, и Пушкин рано злорадствует. Если же «приятель» ехать уже раздумал, то глуп вопрос Пушкина: «Куда же ты?» — и глуп ответ: «В Москву».

Между тем, если мы посмотрим на эти шесть строчек, как на окончание диалога, начавшегося словами поэта: «Румяный критик мой...» — то смысл будет ясен, а все столкновение поэта с критиком получит разрешение.

Указав критику, требующему от поэта «веселой песенки», на «вид», открывающийся перед ними, и на мужика с гробом ребенка, — поэт замечает, что критик делает движение, выражающее намерение улизнуть. Тогда поэт спрашивает: «Куда же ты?» Критик отвечает: «В Москву». А так как это не Плетнев, не Вяземский, а средний тогдашний критик, потакающий вкусам публики, низкопоклонствующий пред знатью, критик в роде Булгарина, — то он и объясняет цель своей поездки: «Чтоб графских имений не прогулять мне здесь». Вот тут-то поэт и напоминает ему: «Постой, а карантин? Ведь в нашей местности индейская зараза...» Ясны и следующие слова:

Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа,
Бывало, сиживал покорный твой слуга.

Это значит: ты не только теперь видишь всю безнадежную картину, которую вижу я, но и так же не можешь уйти от нее, как я. Ты, благополучный, «румяный», ты, критик, — оказался теперь в моей шкуре, в шкуре поэта.

Спор разрешен. В начале стихотворения поэт звал критика:

Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной, —

по критик не усидел. И ему, «готовому век трунить» над «томной музой» поэта, — поэт теперь говорит торжествующе:

Что, брат? Уж не трунишь, тоска берет — ага!

★

Мне кажется, что подтверждение моего взгляда на эти стихи найдется и в рукописи Пушкина.

В сделанном В. И. Срезневским описании т. н. Майковской коллекции пушкинских автографов («Пушкин и его современники», вып. IV, стр. 12 — 13) читаем под № 44:

«Румяный критик мой...» (1830). В 8-ую долю, 1 л. Среди текста красная цифра 20. Перед началом: «1 окт. 1830 Болд.» Конец пьесы приписан над началом, на поле дополнение к середине. Поправок очень мало (Лит. ф. 2. 101 — 102). — На обороте листа «К статуе в Ц[арском] С[еле]»; нач.: «Урну с водой уронив...» (1830). В конце приписано: «1 окт.». Беловой список без поправок (Анн. 2.532 — 533; Лит. ф. 2.120). — Вслед за этой пьесой старательно зачеркнутое двустилишье «К переводу Илиады» (сколько можно разобрать, не сходно с пьесой, известной под названием — На перевод Илиады, — Анн. 2.534; Лит. ф. 2.89). — Затем: «Куда же ты? В Москву...» — Из записки приятелю (1830. В конце: «10 окт.» (Анн. 7.96; Лит. ф. 2. 107)).

Заметим, прежде всего, во избежание недоразумений, что в предисловии к описанию В. И. Срезневский поясняет, что только «слова, поставленные в кавычки, взяты

из текста рукописи» (ibid., стр. 2). Следовательно, заглавия *Из записки приятелю* в пушкинской рукописи нет, и В. И. Срезневский приводит его лишь как пояснение, о какой пьесе идет речь.

Далее, даже не видя рукописи, мне кажется возможным восстановить процесс ее происхождения.

Вся рукопись представляет собою осьмушку бумаги, не сложенную. В ней две страницы. Однако, В. И. Срезневский ошибается, почитая ту страницу, где находится «Румяный критик мой...» — лицевой стороной листа, а ту, где написано все остальное — оборотом. Если бы Пушкин начал писание на этом листе с той страницы, где находится «Румяный критик мой...», то, увидав, что стихотворение не уместится на этой странице, он бы перевернул листок и продолжал бы писание на обороте. Но он этого не сделал, а приписал конец пьесы над началом, потому что другая страница была уже занята. Это указывает на то, что писание началось именно с той страницы, которую В. И. Срезневский называет оборотом. Таким образом получается следующая картина.

Пушкин взял осьмушку бумаги и написал на ней стихотворение «К статуе в Царском Селе» («Урну с водой уронив»). Под ним Пушкин пометил: «1 окт.» Далее, на той же стороне, написал он эпиграмму «К переводу Илиады», но тут же или впоследствии старательно зачеркнул ее. Далее, в тот же день, на обороте того же листка, начал он писать, или, судя по помете Срезневского: «поправок очень мало», — переписывать ранее подготовленную, но не конченную и не отделенную пьесу: «Румяный критик мой...» Начал он не с самого верху листка, и набросок не уместился. Тогда конец его, именно для того, чтобы не путать его с другими стихами, Пушкин приписал на той же странице, «над началом». Сбоку же, на полях, тогда же или позже, сделал он «дополнение к середине».

Дата «1 окт. 1830 Болд.» находится между концом и началом. Не имея перед глазами рукописи, нельзя определить, написана ли она ранее самого текста, т. е. перед началом, — или после текста, т. е. под концом. В. И. Срезневский, видевший рукопись, говорит, что дата стоит «перед началом». Если его наблюдение верно, то это подтверждает, что, начиная записывать пьесу, Пушкин не рассматривал ее, как законченную, и не надеялся закончить в тот же день. Так оно и случилось. Только 10 октября он вернулся к пьесе, но на обороте листа, т. е. там, где она была записана, места уже вовсе не было, и он, чтобы не переписывать все сызнова или не разрознивать пьесу по разным листкам, — решил использовать остаток места на лицевой стороне, под эпиграммой на Гнедича. Тут то, под стихом:

Что, брат? Уж не трунишь, тоска берет — ага!

он и подписал дату: «10 окт.» — ибо это был последний, заключительный стих пьесы, еще, впрочем, не отделанной.

Говоря о «Румянном критике», М. О. Гершензон замечает, что «поэт отвечает желчно, с силой, — оттого резко ломается и ритм, так что, вместо правильного чередования мужских и женских попарно рифм, рядом оказываются две пары женских: оставить — позабавить, убогий — отлогий». Трудно, однако, предположить, что Пушкин так это и оставил бы. Вероятно, он восстановил бы правильное чередование, вставив между 6-м и 7-м стихами еще какое-нибудь четное число строк: 2, или 4, или 6 и т. д., — вряд ли больше шести.

Такое же неправильное столкновение двух пар рифм, на сей раз мужских, получилось бы и в том случае, если бы к «Румяный критик мой», непосредственно за последним стихом, мы «подпили» бы «Куда же ты?...» и т. д. Нужно думать, что некоторое четное количество стихов

Пушкин, отделявая пьесу, вставил бы и в этом месте. Таким образом, предлагая считать «Из записки к приятелю» не самостоятельной пьесой, а заключительными строками «Румяного критика», я все же думаю, что вполне отделанного стихотворения мы не получим и в этом случае. Но структура и смысл его проступят отчетливо.

(Окончание в следующей книге.)

Готтфрид Август Бюргер (1741—1794)

Л Е Н О Р А

Перевод Нины Берберовой

Ленора на рассвете дня
От тяжких снов проснулась:
«Ты умер, иль забыл меня?
Я жду, я' обманулась». —
Таков был Фридриха закон:
Сражался в Пражской битве он.
Но не писал, что бился,
Что целым возвратился.

Императрица и король
От долгих войн устали;
Вражду, кипевшую дотоль,
Окончить пожелали.
Пошли солдаты по домам,
Шли по горам и по долам
С зелеными ветвями,
Еще звеня щитами.

И здесь и там, и стар и мал
Встречал их на дороге,
А кто не шел, тот поджидал
Родимых на пороге.

На лицах радость, в семьях лад.
 Добро пожаловать назад!
 Лишь, ах! одной Леноре
 Нет утешенья в горе.

И каждого она спросить
 Желает: где же милый?
 Никто не может объяснить,
 Он жив иль взят могилой.
 Когда знакомый полк прошел,
 Ленора кинулась об пол,
 И косы разметала,
 И дико закричала.

К ней мать с объятьями спешит:
 «Тебя я успокою,
 Дитя, Господь нас пощадит!
 Откройся, что с тобою?» —
 «О, мать, о, мать! Коль нет, так нет!
 Пусть с ним померкнет белый свет!
 Что Божья мне пощада?
 Мне ничего не надо». —

«Помилуй, всеблагий Творец!
 Услышь её моление!
 Дарует вечный наш Отец
 Молящимся терпенье!» —
 «О, мать, о, мать! Напрасно все!
 Ах, сердце Бог разбил мое!
 К чему теперь молиться?
 Ничто не возвратится». —

«Помилуй Бог! Кто здесь скорбит,
 Кого сомненье гложет,
 Того причастие исцелит,
 Тому оно поможет». —
 «О, мать, о, мать! Мой жар, мой бред,
 Причастие не потушит, нет!
 Я гибну. Наше счастье
 Не воскресит причастие». —

«Дитя, а если изменил
 Он в Венгрии далекой
 И слово данное забыл
 Он для другой, жестокий?
 Оставь его, дитя, забудь!
 К тебе он не придет на грудь!
 Пусть в смертный час свой темный
 Он вздрогнет, вероломный». —

«О, мать, о, мать! Мне все равно,
 Коль он не возвратится!
 Смерть — утешение одно!
 Ах, если б не родиться!
 Померкни жизнь, исчезни свет!
 Мне в ночь и мрак спасенья нет!
 Что Божья мне пощада?
 Мне ничего не надо!» —

«Помилуй Бог! Таким словам
 Не вымолить прощенья!
 Проси, дитя, чтоб было вам
 На небе утешенье!» —

Не верь, дитя, тоске земной:
Есть светлый рай, есть Бог благой,
И будет вам, конечно,
Свиданье в жизни вечной». —

«О, мать, о, мать! Что значит рай?
Что вечная геенна?
Мне был с Вильгельмом этот рай,
Мне без него геенна!
Померкни жизнь, исчезни свет!
Мне в ночь и мрак спасенья нет!
Когда его не стало,
Я небо потеряла». —

Так от отчаянья к тоске
Влекла ее тревога,
И на безумном языке
Она хулила Бога,
И в кровь себе кусала рот, —
И солнца отпылал заход,
И звезды засверкали
В темнолазурной дали.

Вдруг, чу, все ближе, все звончей
Подковы зазвенели.
Вот спрыгнул всадник у дверей,
Ступени закрипели.
Вот он взбегаёт на крыльцо,
Вот он берётся за кольцо
И в дверь слова глухие
Он говорит такие:

«Эй, отопр! Неси огни!
Ты скоро ли проснешься?
Голубка, на меня взгляни!
Ты плачешь или смеешься?» —
«Как? это ты?.. Как ночь темна!..
Я все ждала тебя, без сна,
В слезах, в такой тревоге!
Ты долго был в дороге!» —

«Мы скачем только по ночам,
В Богемии живу я.
Я слишком поздно прибыл к вам,
Тебя с собой беру я». —
«Сперва войди, любимый... ах!
Как ветер шелестит в кустах!..
Забудь разлуку злую,
Дай в губы поцелую!» —

«Пусть шелестит, пусть шелестит
Осенний вихрь тревожно!
Конь бьет копытом и дрожит,
Мне медлить невозможно.
Спеш! вскочи же, ангел мой,
На узкое седло за мной!
Сто миль дорогой мрачной
Нам до постели брачной». —

«Ужели мы за эту ночь
Должны туда добраться?
Уже одиннадцать. Не в мочь
Скорее ветра мчаться». —

«Гляди! блеснит луна из тьмы.
Доскачем с мертвецами мы.
Как вихрь, моя невеста,
Тебя домчу до места». —

«Скажи, так будем до утра
Мы на твоём крылечке?» —
«Постель моя тесна, сыра,
Шесть досок, две дощечки!» —
«Мне место есть?» — «Есть нам с тобой!
Спеши, спеши же, ангел мой!
Нас гости ожидают,
Покои растворяют». —

Вскочила дева в стремена.
«Гони же, я с тобою!» —
Держала всадника она
Лилейною рукою.
И все быстрее, гоп, гоп, гоп!
Пустились в вихревой галоп,
И камни загремели,
И искры полетели.

Направо и налево все
Летело вслед за ними.
Леса, холмы, мосты, жилье,
Смешались в мутном дыме.
«Голубке страшно под луной?..
Как скажут мертвецы домой!
Голубке страшно мертвых?» —
«Нет!.. Но молчи о мертвых!» —

Что там за стон, что там за звон
И пенье раздаётся?
Там стая каркает ворон
И над толпою вьётся.
Все ближе шествие. Везут
На дорогах гроб, и так поют,
Как воют водяные,
Маня в места глухие.

«Успеете зарыть поздней
С мольбой и плачем тело!
Сейчас скачу с женой своей
На свадебное дело!..
Дьячок! со мною рядом встань,
Мне свадебную прогорлань!
Поп, отслужи, что можешь:
Ты нас в постель положишь!» —

Послушные его словам,
Исчезли гроб и дроги...
Но кто невидимый глазам
Встал на краю дороги
И вслед за ними, — гоп, гоп, гоп! —
Пустился в вихревой галоп?
Как камни загремели,
Как искры полетели!

Летели вкривь, летели вкось
Холмы, дороги, доли,
Летели вкось, и вкривь, и вкось
И города и села!

«Голубке страшно под луной?..
 Как скажут мертвецы домой!
 Голубке страшно мертвых?» —
 «Оставь в покое мертвых!» —

Смотри скорей! смотри вперед!
 В луче луны маячит
 Под виселицей всякий сброд,
 Свистит, хохочет, скачет.
 «Эй, сброд, пока пуста кровать
 Ты нам не хочешь ли сплясать?
 Эй, бесы, свадьбы ради
 Скачите с нами сзади!» —

И черный сброд во весь опор
 Вслед за конем помчался,
 Как будто за конем, как вор,
 Не он, а ветер гнался.
 И дальше, дальше, гоп, гоп, гоп!
 Пустились в вихревый галоп,
 Так, что мосты трещали,
 Да камни грохотали.

В холодных месяца лучах
 Летело все за ними,
 Летели звезды в небесах
 Той силою гонимы!
 «Голубке страшно под луной?..
 Как скажут мертвецы домой!
 Голубке страшно мертвых?» —
 «Увы!.. Молчи о мертвых!» —

«Гоп, гоп! Уже петух кричит..
 Настанет время скоро..
 Предутренний зефир бежит..
 Окончен путь, Ленора!
 Эй, торопись! пора слезать!
 Раскрыта брачная кровать!
 Из непомерной дали
 Мы с мертвыми скакали!» —

Ворота с запертым замком
 Пред ними зачернели;
 Ударил он по ним хлыстом,
 И петли заскрипели.
 И сам собой упал засов,
 Конь — вскачь меж гробовых холмов,
 И лишь блестящие плиты
 Под ним, луной облиты.

И в миг одежды с плеч худых
 Наездника упали,
 И ворохом тряпниц гнилых
 Его доспехи стали.
 А сам скелет серпом взмахнул,
 Часы песочные потряхнул
 И черепом безглазым
 Кивнул, осклабясь разом.

Конь на дыбы, храпит и прах
 Копытами взрывает,
 И вот под землю, на глазах,
 Мгновенно пропадает.

И вдруг раздался дикий вой,
Визг в яме, вихрь над головой!
То жизнь со смертью в споре
Боролась о Леноре.

Плясали духи под луной
И хоровод водили,
За кругом круг, рука с рукой, —
И песнь такую выли:
«Терпенье Бог тебе судил,
Терпенье из последних сил!
Пусть телу будет больно —
Душе на небе вольно!»

Л е в Л у н у

НА ЗАПАД!

*Речь на собрании Серапионовых братьев 2-го декабря 1922 г. *)*

В 1919 году, после величайшей в мире войны, в разгар величайшей в мире революции, молодой французский писатель Пьер Бенуа выпустил роман «Атлантида»: чистая авантюрная повесть, к тому же еще экзотическая. Роман этот был встречен с исключительным восторгом, небывалым за последнее время.

Вся русская критика отнеслась к роману одинаково. Успех «Атлантиды», — показатель крушения западной буржуазной культуры. Запад разлагается. Утомленный войной, он ищет отдохновения в экзотике и в авантюрных пустячках, уводящих его далеко от строгой действительности.

*) Мы охотно даем место речи Л. Лунца, хорошо отражающей то, что сейчас волнует литературную молодежь России. Не разделяя мнения о целесообразности «перегибания палки» и полагая, что впадение из одной крайности в противоположную не есть еще способ избавиться от болезни, — мы все же находим, что в словах Лунца есть к чему прислушаться. Заметим, впрочем, что сами Серапионовы братья, зовущие «на Запад» за фабулой, не мало повинны в отрыве от Запада. Никогда еще русская литература не была так перенасыщена бытом, фольклором и стилистическими осложнениями, как хотя бы у М. Зощенки, Н. Никитина или Всев. Иванова, — а это и придает ей почти только местный интерес, и делает недоступной для западного читателя.

Редакция

тельности. «Атлантида» шекочет нервы западным буржуа, и они — о живые трупы! — вместо Барбюса и Роллана — читают Бенуа.

Я не склонен преувеличивать значение этого романа. Бенуа — писатель молодой. «Атлантида» написана под сильнейшим влиянием Хаггарда, и, конечно, она хуже Хаггардовских романов. Много в ней ошибок и наивных промахов. Но для меня «Атлантида» важна, как пример, как показатель. Я не буду говорить о самом романе. Это только повод.

★

На Западе исконно существует некий вид творчества, с нашей русской точки зрения несерьезный, чтобы не сказать вредный. Это так называемая литература приключений, авантур. Ее в России терпели, скрепя сердце, для детей. Ничего с детьми не поделаешь: они читали «Мир приключений» и Сойкинские серии Купера, Дюма, Стивенсона, а приложения к «Ниве» отказывались читать. Но ведь дети глупы и «не понимают». Потом, выросшие и поумневшие, они, наученные учителями русской словесности, просвещались и с горьким сожалением прятали в шкафы Хаггарда и Конан-Дойля. Им уже непристойно читать детские забавы; их ждет скучнейший, но серьезнейший Глеб Успенский. Это литература для взрослых. Но как часто — сознайся ты, просвещенный общественник, ты, лысый поклонник «серьезных» творений, — как часто ты с грустью мечтал о затасканных книжках Дюма, который тебе, при твоей солидности, запрещен! И с каким наслаждением ты перечитывал его, сидя в вагоне и пряча обложку, чтобы сосед твой, тоже солидный общественник, не улыбнулся презрительно, увидя, что вместо Чернышевского, ты читаешь бульварную чепуху.

Бульварной чепухой и детской забавой называли мы то, что на Западе считается классическим. Фабулу!

Умение обращаться со сложной интригой, завязывать и развязывать узлы, сплетать и расплетать, — это добыто многолетней кропотливой работой, создано преемственной и прекрасной культурой.

А мы, русские, с фабулой обращаться не умеем, фабулы не знаем, и поэтому фабулу презираем. Поэтому храбро бросаем в одну корзину Брешко-Брешковского и Конан-Дойля, Буссенара и Купера, Понсон-дю-Террайля и Дюма. Не отличаем уличного Шерлока Холмса от настоящего.

Мы фабулы не знаем и поэтому фабулу презираем. Но презренье это — презренье провинциалов. Мы — провинциалы. И гордимся этим. Гордиться нечего.

★

Русского театра не существует. Нет и не было. Было пять-семь образцовых превосходных комедий, несколько хороших бытовых драм, частью забытых (Писемский), но они в счет не идут. Потому что не создали системы. Театральные великие авторы всегда появляются плеядой, образуют школу. Так в Англии в XVI-XVII в., в Испании в то же время, во Франции в XVII-ом и в XIX-ом веке. В России ничего подобного не было. Ведь мы не имеем даже ни одной трагедии.

Почему?

А вот почему.

На сцене интрига, действие — главное. Драматическая фабула, если только она хочет быть сценической, должна, обязана, не имеет права не подчиняться законам — не пожеланиям, — а именно правилам драматической техники. Можно сколько угодно зубоскалить и издеваться над правилами французской нео-классической поэтики, но такое зубоскальство свидетельствует только о полной ограниченности критика. Каждая драматическая система — классическая ли, романтическая ли —

должна иметь свои каноны. А над всеми этими «своими» правилами непреложными, необходимыми препятствиями стоят общие законы всякого сценического произведения: экономия места, экономия времени, экономия действия. Законы правильного сценического развития интриги. С драматической интригой шутить нельзя.

И, конечно, драматическая фабула требует учебы, традиции — школы. Потому-то драматические гении выступали школами, плеядами, системой. И выезжать в драме на тонкой психологии, на народном языке, на социальных мотивах — нельзя. Если действие развивается неправильно — пьеса негодна никуда, хотя бы в ней были гениальные психологические изыскания и социальные откровения.

Русский театр гонится раньше всего за социальными мотивами, за психологической правдой, за бытом. Русский театр технику интриги, фабульную традицию игнорирует. И поэтому русского театра не существует. Есть отличные своеобразные драмы для чтения — Тургенева, Чехова, Горького. Или есть футуристические, имажинистические и прочие пьесы из голых кунштюков. Все театралы кричат о кризисе театра, и никто не плачет о том, что у нас никто и не умеет и, главное, не хочет уметь работать над интригой, учиться фабульной технике. Никто не знает и, главное, не хочет знать, что раньше была, раньше психологии, раньше языка, — прежде всего, — надо осилить простейшие законы сценического действия.

А между тем русский театр начал развиваться правильно. Первые шаги его ограничивались рабским подражанием Западу. Так и должно было быть. Запад уже давно имел высокую культуру и нам нужно было усвоить ее, чтобы создать самобытное. От Сумарокова до Озерова какой путь прошла русская трагедия! Она была близка к победе, но споткнулась. Полевой и Кукольник тоже были подражателями. Мы смеемся нынче

над ними, но и они были на верной дороге. На их трупах, пышно выражаясь, могла развиваться русская романтическая трагедия. Ведь ни одна система не рождается вдруг, сразу. Десятки лет работают предтечи, часто простые плагиаторы, подражатели, эпигоны чужих литератур. Кто пошел за Озеровым и Кукольником? И даже за Пушкиным, который в театре тоже был лишь предтечей, кто пошел за ним? — Многие пошли, но они были забыты, осмеяны, загнаны в литературное подполье и — слабые — сдались. Много лет полуживые и совсем неизвестные драматурги навозом ложились на поле, чтобы создать русскую трагедийную культуру. Но поле было оставлено. Общественность увела русскую драму на новые места, где без всяких навозов, без всякой западной техники, без всяких там машин и хитроумных приспособлений выросла русская «настоящая» драма: сытная, жирная, провинциальная и сценически безграмотная. И только «низкий» водевиль, до которого не снисходила общественность, смог развиваться в систему. И русский водевиль — единственное, чем может похвастать наша сцена.

★

Русского театра нет (кроме всеми забытого водевиля). Но русский роман существует. Русская система. У нашего романа есть своя физиономия.

Это потому, что больше было «навозу». Больше было предтеч, плохих подражателей Западу. Сколько было этих романистов XVIII и первой половины XIX-го века, о которых у нас даже не осталось воспоминания! Они сделали свое дело. И вот через Пушкина и Гоголя в середине прошлого столетия выросла великолепная система русского романа: Тургенев-Гончаров-Достоевский-Толстой. И превосходная русская новелла Писемского, Тургенева, Лескова, Чехова. Создалась традиция.

Правда, односторонняя. Из двух полей, которые уваживали бесчисленные предтечи, большая литература облюбовала себе только одно, реалистическое. Традиция отличного русского исторического романа ушла в детскую литературу (Ал. Толстой, Данилевский, Всец. Соловьев, Салиас, Сологуб). Традиция авантюрного романа скрылась в подполье. Блестящая попытка Достоевского извлечь оттуда бульварную повесть осталась единичной. Чехов, написав «Драму на охоте», больше не возвращался к детективным повестям. И нет в русской литературе ни одного первоклассного исторического романа («Война и Мир» — в стороне, подобно «La Chartreuse de Parme» Стендаля). И нет ни одного хорошего романа приключений. И поэтому-то, только поэтому, вместо Дюма мы имеем Брешко-Брешковского, вместо Стивенсона — Первухина, вместо Купера — Чарскую, вместо Конан-Дойля — уличных Нат-Пинкертонов.

Но оставим на время сетованья. Кто виноват — увидим после. Вернемся к нашим богатствам. Да, у нас был реалистический роман, с фабулой, — со слабой, но все же фабулой, с традицией. Был. Его больше нет. Он рассыпался.

Почему? Говорят, в наше время роман невозможен. Неправда: вот же есть он на Западе. У нас роман зачах, потому что мы забыли про фабулу, про композицию, потому что заглохла и без того не сильная фабульная традиция. Кто до последнего времени занимался композицией Достоевского или Толстого? Критику интересовали проблемы чорта и Бога, зла и добра. Писателей-последователей — те же философские и социальные вопросы или, в лучшем случае, техника письма, стилистические приемы. А то, что русские романисты, особенно Толстой, бесконечно более дальноразумные и мудрые, чем Добролюбов и Михайловский, работали над фабулой, над завязкой и развязкой, учились композиции у западных писателей, — этого никто не видел. Что же получилось? Вся со-

временная проза традиционна, ведет свое идеологическое и стилистическое происхождение от русской прозаической системы, традиционна во всем, — кроме фабулы. Чем блещет новелла последних дней? Изысканным языком, великолепным изощренным стилем. Или: тонкой психологией, удивительными типами, богатой идеологией. Но нет занимательности. Скучно! Скучно!

Кто царит ныне в серьезной литературе?

Ремизов — установка на народный язык, народный образ. Лесковская школа без Лесковской фабулы.

Бунин, Зайцев — тонкий и благородный лиризм, «стоячие» новеллы. Чеховская школа без Чеховской фабулы.

Андрей Белый — глубочайшая психология и остроумнейший синтаксис. Школа Достоевского без интриги Достоевского.

Ал. Н. Толстой — великолепные типы, великолепные мелочи, великолепные отдельные мотивы без связи и композиции, Гоголевские кривые рожи без Гоголевской фабулы.

И даже писатели, идущие с Запада, что взяли они у него?

М. Кузмин — отличная стилизация с чахлой интригой.

Евг. Замятин второго периода («Островитяне») — несравненный филигранный стиль, наверхенный на соломенный стержень. Из пухляков по воробьям.

Все потому, что мы презрели фабулу. Забыли даже то, что знали. Взяли у Достоевского и Толстого все, кроме фабулы. Интриги нет. Самое большее — анекдотик, отдельный мотив. Двух мотивов связать уже не умеем. Разучились. Стали безграмотными.

Прекрасна русская проза наших дней. Сильна, своеобразна. Кто ж станет спорить! Но она подобна искус-

ству негров или индейцев. Интересное, оригинальное искусство, но безграмотное. Мы безграмотны.

★

А на Западе роман цветет. И не скучно читать. В Англии — Киплинг, Хаггард, Уэллс. Во Франции — А. де Ренья, Франс, Фаррер. В Америке недавно умерли О'Генри и Джек Лондон. В Испании — Ибаньес. А за стариками идут новые.

Там, на Западе, умеют делать все, чем богаты мы. До Толстого был Стендаль, до Тургенева — Флобер, до Достоевского — Бальзак, до Чехова — Мопассан. Но там — в Англии, во Франции — от писателя обязательно требуют одного: презренной занимательности! Чтоб интересно было читать, чтоб оторваться нельзя было от интриги. Это первое требование и труднейшее. Да, труднейшее. Ведь и негр может психологизировать, но связать фабулу может только человек, прошедший большую школу, писатель, вскормленный многолетней культурой, преемственной связью между всеми враждующими школами. Бальзак вводил в реалистический роман авантюристический сюжет, точно из Эж. Сю. Диккенс увлекал читателя не хуже Матюрэна. Флобер преклонялся перед Гюго. Зола, «натуралист», искал в будничной жизни мощной интриги, от которой не отказался бы Коллинз.

Культура фабулы на Западе непобедима. И поэтому западный роман не умер.

★

Итак. Нелюбовь к фабуле придушила русскую трагедию, русский романтический роман — в зародыше. Раздавить яйцо реалистического романа не удалось — он вылупился. И вырос сильный. Но его убили, вернее, подменили великана большими, но пустыми внутри импотентами.

Ибо в русской литературе правит общественность, общественная критика. А она, по самому существу своему, должна ненавидеть сложную, стройную фабулу.

Уж будто? Где, как не в трагедии или в большом романе можно лучше всего проводить социальные идеи? Да, это так на Западе. Бальзак, Зола, воинствующие литературные социологи, сплетали хитрые интриги. В конфликт с этой интригой вступает другое, то, что особенно пышно возросло на русской почве. Наша критика требует отображения действительности, житейских взаимоотношений. Но этого мало. Отображение это должно стать центром, целым, в с е м. Все искусственное — недопустимо. А сложная фабула всегда искусственна, выдумана. Поэтому — вон ее!

Но разве не знают русские народники, что в искусстве точное отображение эпохи, действительности невозможно? Искусство преобразует мир, а не срисовывает его. Общественная критика долго не хотела признать это. Потом уступила. Так что же! Пусть фотографическое воспроизведение события, психологии — невозможно, но чем ближе к жизни, чем «вернее», чем «правдивее» — тем лучше.

Иначе: страстей не бывает — чувства. Героев нет — люди. Великие катастрофы фальшивы, да здравствуют маленькие дела и маленькие «живые» люди!

А большая фабула, какая бы она ни была, даже фабула Толстого или Зола, требует героев, страстей и катастроф. Но они фальшивы. И русский роман исчез.

Иначе: не Сальвини, а Качалов, не пафос, а психологическое осмысливание, не трагическая дикция, а «натуральная» речь.

Трагедия же требует пафоса, патетической дикции, Сальвини. И вот нет русской трагедии.

Последний пример: Ватерлооский бой у Гюго и у Стендаля. У великого романтика — все пышно, патетично, ярко и — с точки зрения действительности —

фальшиво. У великого психологиста — бессмысленно, бестолково, сухо и серо — «верно»; если не простая фотография, то фотография художественная. У Гюго каждое движение — поза, каждое слово — трагический выкрик, все надумано. У Стендаля бой пропущен через психологию участника, который ничего не понимает — видит только скучную бойню. Просто говоря: противопоставление реализма и всех прочих (романтической, классической, символической) школ в самом грубом смысле этого слова.

Но на Западе есть великолепное Ватерлоо Гюго и великолепное Ватерлоо Стендаля. У нас только Бородино Толстого. У нас нет богатого романтического романа. А Запад владеет и Бальзаком и Дюма, мы только Тургеневым. Запад знает одновременно и Роллана и Фаррера, мы только Горького или Ремизова. Но больше того: на Западе и поныне реалисты и психологисты верны искусственной фабуле, как были верны ей Толстой и Достоевский. Мы изгнали ее из нашей литературы. На Западе есть воинствующие реалисты и воинствующие романтики, у нас только нетерпимые народники.

Народничество — вот типичное уродливое порождение нашей анти-фабульной критики. И поистине, оно самобытно, оригинально, — но скучно. И оно, это народничество, оказало сильнейшее влияние на всю современную прозу. Расчет простой: фабула, интрига, ее техника — общечеловечны. Оригинальность дает быт, психология того или иного народа. Так забудем же про фабулу, будем сразу великими самобытными писателями. Стоит заботиться об искусственном сюжете — к чорту! Не надо. Будем учиться у наших писателей не фабуле — она есть на Западе лучше нашей — а тому, чего на Западе нет. А уж, конечно, о том, чтобы непосредственно у Запада учиться, и разговоров быть не может.

Нам нечему учиться у эллинов, сами мы, скифы, любого научим. Вот лозунг русской современной критики.

И, выкинув этот гордый лозунг, русская литература обернулась к Западу спиной.

★

Все, о чем я говорил выше, безалаберно, бессвязно и спорно. А теперь главная часть — практическая. К вам, Серапионовы братья!

Когда два года назад организовалось наше братство, мы — два-три основателя — мыслили его, как братство ярко фабульное, даже анти-реалистическое. Что ж получилось? Никто из нас тогда, в январе 1921 года, не надеялся, что мы достигнем такой братской сплоченности, но ни у кого, с другой стороны, и в мыслях не было, какую физиономию примет это фабульное направление.

Направления не оказалось вообще. Это не беда. Беда в том, что большинство наших прозаиков ушло туда, откуда мы отталкивались. В народничество! Вы — народники, типичные русские провинциальные и скучные, скучные писатели!

Мы сказали: нужна фабула! Мы сказали: будем учиться у Запада. Мы сказали — и только.

За нами до сих пор числится звание «сюжетных» писателей. Я ощущая это теперь, как насмешку. Всеволод Иванов, Никитин, Федин — если эти добрые народники называются фабульными прозаиками, то где же, о Справедливый Разум, бессюжетная литература?

Нет, вы бросили, забыли, продали фабулу за чечевичную похлебку — литературного крикливого успеха. Фабуле надо было учиться, долго и мучительно, без денег и без лавров. Мы оказались слабыми, мы сдались и кинулись на легкую, протоптанную дорожку. Никитин, ты, написавший «Ангела Аввадона» и «Дэзи», — поверь, в этих слабых попытках больше возможностей, чем в законченных «Псах» и «Колах». И ты, Слонимский, предал фабулу и за «Диким» и «Варшавой» пишешь всеми уважаемую «Стрелковые полки». И даже я — да отсохнет моя рука!

— целый год метался, отображая эпоху и выписывая анекдоты. Скучными стали мы, до тошноты, до зевоты, настоящими русскими народниками.

Что ж нам делать?

Вот что.

Делайте, что делали раньше. Будьте революционными или контр-революционными писателями, мистиками или богоборцами, но не будьте скучными.

Поэтому: на Запад!

Поэтому: в учобу, за букварь!

С начала!

★

Все мы умеем делать лучше или хуже; плести тяжелые слова, вязать жирные, как пересаленные пироги, образы, писать плотную «ядреную» лирику. Но это умеют делать в России все, лучше или хуже. А вот связать хотя бы только два мотива мы не умеем и учиться не хотим.

Надо учиться. Но мало сказать: учиться надо систематически, зная, у кого и что брать.

Мы владем всем, кроме фабулы. Значит, будем вводить фабулу в готовое чучело лирических, психологических, бытовых рассказов...

Пусть заманчивый и неверный мы имеем тезис. И хотим сразу синтеза. Сорвемся. Да и сейчас срываемся. Ведь все вы согласны со мной — гармония! И все вы пытаетесь дать ее. Но слово, образ, мелочи, которыми вы мастерски владеете, засасывают вас, соблазняют своей легкостью, — и фабула рушится. Тезис побеждает, — и вот нет синтеза.

Надо создать голый антитезис, подобно тому, как сейчас царит голый тезис. Учитесь интриге и ни на что не обращайтесь внимания: ни на язык, ни на психологию.

Чистая интрига.

Вы будете писать плохо — ведь голая фабула однобока. Да, плохо — много хуже, чем пишете сейчас. Но научитесь. Так делает Каверин, и так пытаюсь делать я. И Каверин пишет далеко не совершенные рассказы, а я строчу без конца, даже не читаю вам — так скверно выходит. Вот Каверин научился завязывать интригу, а развязать ее никак не может: разрубает или бросает посредине, отделившись сюжетным вывертом. А я, осилив фабулу в пьесе, никак не могу с ней справиться в повести. Что ж — мы научимся, и тогда только привлечем на помощь арсенал образов и словечек. Может быть, это будет через 5, через 15, через 20 лет. А скорее всего из нас и ничего не выйдет. Но я знаю, верю, что за нами придут другие, и третьи, которые двинутся по той же дороге, которые воспользуются нашими малыми достижениями, чтобы пойти дальше. Русская фабульная традиция пропала — ее надо строить заново. А в год этого не сделаешь. Ляжем же навозом, чтобы удобрить почву. Лучше быть навозом для новой литературы, чем ползти в хвосте старой и скучной.

Меня никто не печатает. И справедливо: ведь я пишу плохо. Может быть, никогда не будут печатать. Но я сделаю свое дело — твердо.

Братя — в фабулу! Братя — в литературное подполье! Перегнем палку в другую сторону!

А тебе, Зошенко, и тебе, Слонимский, вам, которые говорят о золотой середине и о гармонии, я уже ответил. Чудная вещь гармония, но она — впереди. Нельзя дойти до синтеза, стоя на одном тезисе. И будьте уверены: вам помешают собственные ваши достижения. Тебе, Зошенко, великолепный твой сказ, а тебе, Слонимский, твои герои-болваны и болваньи анекдоты, которые тебе так хорошо удаются.

Чтобы научиться интриге, надо как можно дальше уйти от соблазнительного и легкого соседства.

★

Поэтому я кричу: на Запад!

На Западе могучая фабульная традиция, и там мы будем вне заразной близости Ремизова и Белого. Станем подражать — гимназистами младших классов — авантурным романам: сперва рабски, как плагиаторы, потом осторожно — о, как осторожно! — насыщая завоеванную фабулу русским духом, русским мышлением, русской лирикой.

Вы скажете: мы будем тоже эпигонами. Да, но эпигоны чужой литературы — начинатели нового течения в своей родной. Так было всегда. Мольер был бы невозможен, не будь до него грубейшего подражания итальянским комедиантам. Немецкой романтической драмы не было бы, еслиб Шекспир не был обграден вдоль и поперек плеядой немецких писателей. Французская романтическая трагедия не родилась бы, если-б французские драматурги не пошли плагиатировать в Германию. А сколько злостных нападков в эмигрантстве, в измене традициям отечественной классической трагедии вытерпели они. Так было всегда.

На Запад!

Тот, кто хочет создать русскую трагедию, должен учиться на Западе, ибо в России учиться не у кого.

Тот, кто хочет создать русский авантурный роман, должен учиться на Западе, ибо в России учиться не у кого.

Но тот, кто хочет возобновить русский реалистический роман, и того я приглашаю смотреть на Запад! Это относится к вам, братья-народники и реалисты. Вы можете, разумеется, идти и за русской традицией, потому что русский роман величественен и могуч. Но повторяю: на Запад смотрите, если не хотите учиться у него. И если будете учиться у родных ро-

манистов, помните, что фабулу Достоевского, композицию Толстого усвоить надо раньше всего.

Смотрите на Запад, если не хотите учиться у него!

★

Вы хотели быть писателями революционными и народными, и поэтому стали народниками. Но неужели вы не видите, что на деле вы удаляетесь от революции и от народа.

Что больше действует на зрителя: величественная игра страстей или нудная психологическая жвачка, где идея возможна только приклеенная, фальшивая? В сто раз действительнее будет идея в железом спаянной трагедии, на идее построенной, чем в дряблой, вязкой драме Чехова, об идее говорящей.

Народничество и пролеткультство — самые антинародные, антипролетарские литературные направления. Никогда крестьянин или рабочий не станет читать роман, от которого у закаленного интеллигента трещат челюсти и пухнут барабанные перепонки. Крестьянину и рабочему, как всякому здоровому человеку, нужна занимательность, интрига, фабула. Отсюда успех Брешко-Брешковского. Великая революционная заслуга будет принадлежать тому, кто, вместо Брешко-Брешковского, даст пролетариату русского Стивенсона.

★

Я кончаю. Во все, что я здесь сказал, я верю перушимо. И не только верю — я вижу факты.

Тоска по фабуле растет. Стоном стонут красноармейские и рабочие клубы, которые заваливают народниками и пролеткультцами. Кровавыми слезами плачут пролетарские театры, где ставят «Ночь» Мартига, в которой богатые идеи и никакого действия. И в то же время мед-

ленно и верно начинают звучать первые шаги нового движения.

И вот я зову вас, Серапионовы братья, народники: пока не поздно — в фабулу, в интригу, в настоящую народную литературу.

Тяжелый путь ждет нас; впереди — почетная гибель или настоящая победа!

На Запад! На Запад!

Проф. Ф. А. Браун

ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА

Как ни близок нам родной язык, — а, может быть, именно потому, что он нам так близок и воспринимается как нечто само собой разумеющееся, как интегрирующая часть нашего бытия, — мы редко, вернее никогда не вдумываемся в его состав, в вопросы его возникновения и роста. Борьба со словом, хорошо известная всякому писателю и оратору, ни в теории, ни в истории языка не нуждается: она ведется во имя стиля, ради возможно точной и яркой передачи мысли или чувства, всегда ощущаемых более полно, чем самое искусное сочетание слов; но происходит она в пределах готового унаследованного материала. В тех редких случаях, когда она приводит к образованию новых форм и сочетаний, последние всегда создаются при помощи и по образцу уже существующих, и успех зависит исключительно от большей или меньшей чуткости данного писателя к явлениям родного современного языка, литературного или народного. Попытки вновь оживить старинные, умершие слова и обороты, забытые современной речью, редко имеют успех, а соображения по существу дела, т. е. исходящие из научного понимания законов, управляющих жизнью языка, никогда никакой роли не играют ни в словотворческих процессах, ни в мучительной подчас работе над стилем. Мы пользуемся материалом, которым владеем бессознательно. Вопрос же о том, от-

куда он взялся, интересует нас очень мало, и в законы, действующие в языке, мы вдумываемся лишь нехотя, обычно только по принуждению, — напр. в школе, при прохождении злополучной грамматики, или при изучении иностранного языка. И человек, не зараженный филологией, вспоминает об этом не иначе, как с легкой дрожью скуки, доходящей иногда до отвращения.

Если читатель, прочтя заглавие этой статьи, почувствует приближение такой дрожи, то прошу его не поддаваться ей, а пробежать хоть ближайшие страницы. Быть может, мне удастся убедить его, что такое отрицательное отношение к вопросам языка неосновательно. Виноваты в нем школа и обычные приемы обучения языку, ведущие начало из античности и прошедшие через мертвящую полосу схоластического преподавания. Язык сам по себе тут не при чем. Если подойти к нему без предвзятости и заглянуть вглубь его, то перед нами раскроется величественный своеобразный мир, полный жизни и ярких красок, — живой организм, слагавшийся тысячелетиями и приводимый в движение мощным дыханием человечества. В нем, как в физическом и духовном строе каждого из нас, проявляются не только живые творческие силы нашего времени, но отражаются работа и переживания прошлых поколений, создавших нас. Нет эпохи в истории народа, которая не оставила бы ярких следов как в его духовном облике, так и в наиболее полном его выражении — в языке. Он не условен и не произволен; он целиком коренится в прошлом и обрисовывается на фоне этого прошлого как самое яркое и гордое создание человеческого духа в многовековой творческой работе. Вот почему и психология и история языка открывают такие просветы в духовной организации человека вширь и вглубь, каких не может дать никакая другая наука, связанная с человеческим бытием.

Я не собираюсь писать статью по вопросам общего языкознания. Из бесконечного количества тем, входящих

в него, я выбираю одну, сравнительно небольшую, и выбираю именно ее по соображениям, которые можно было бы, пожалуй, назвать лирическими.

Заемствованные слова, — слова, перенятые одним народом у другого, — явление не случайное. Оно возникает всюду, где народы входят в общение друг с другом в мирной работе, обмениваясь товарами и культурными приобретениями, а иногда и в борьбе за существование или политическое преобладание. Они — естественное выражение культурных взаимодействий. Надо помнить, что заимствуется ведь не слово одно: за ним почти всегда — а в древние эпохи народной жизни положительно всегда — стоит понятие или вещь, которая им обозначается, т. е. культурная ценность, заимствуемая вместе с ним. А чужое слово в народном лексиконе есть как бы расписка в получении этой ценности от друга-соседа. Обычно один богаче, другой беднее; первый дает больше, второй больше получает. Но никогда этот обмен не бывает односторонним, у народа-бедняка всегда найдутся ценности, которыми он может отблагодарить богача. И, по счастью, народы не считаются большим или меньшим количеством данного или полученного; они щедры, бессознательно чувствуя, что от такого обмена выигрывают обе стороны в культурной своей работе, независимо от того, много-ли или мало каждый из них получил от соседа.

Если собрать все эти «расписки», все заимствованные слова во-едино и подвести итоги, то получится любопытная и внушительная картина сотрудничества *всех* народов в общечеловеческом культурном строительстве. Это строительство, действительно, дело общее, в которое каждый народ, сохраняя индивидуальность, вносит свою лепту; один больше, другой меньше, но все в нем участвуют. И ни один народ не достиг бы высоты своей современной культуры без помощи соседа.

Вот о чем красноречиво говорят и заимствованные слова, напоминая о том, чем народы друг другу обязаны,

и не по принуждению, не в силу трактатов и договоров, а в силу круговой поруки, связывающей все народы в единую человеческую семью, в общей работе на общее благо. Шум и вопли человеконенавистнической борьбы, происходящей вокруг нас, не заслонят, не заглушат этой истины, которая *должна* восторжествовать в конце концов, когда минут «репарационные» судороги наших дней. Измученная мысль отдыхает на этой надежде, и заимствованные слова, свидетели прошлой мирной работы, поддерживают ее, доказывая, что человечество без этого обойтись не может.

Моя тема очень обширна; ее хватило бы на большую книгу. Не может быть речи о том, чтобы исчерпать ее в краткой популярной статье. Я могу попытаться лишь провести основные линии картины и наметить главные тона при помощи материала наиболее близкого моим читателям, т. е. материала немецко-французского и русско-немецкого, далеко, конечно, не исчерпывая даже его. Вдаваться в лингвистические тонкости я не стану: это отвлекло бы внимание от главного, да едва-ли и заинтересовало бы читателей. Он поверит мне на слово, что каждое мое утверждение может быть обосновано научно, и удовлетворится теми общими положениями, к которым я теперь перехожу. Они необходимы для уразумения пестроты примеров, которые составят вторую часть моей статьи.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По существу своему, заимствование слов из чужого языка одно из проявлений закономерного процесса, обусловленного самой природой человеческой речи. Язык — явление, прежде всего, общественного порядка, он возникает и развивается только в общении особой между собой, и регулируется этим общением, с одной стороны обога-

щаясь, с другой — удерживаясь им от личного произвола, который лишил бы его главного значения — быть понятным для других. Помимо органических, психо-физиологических законов, управляющих его жизнью и развитием, когда он предоставлен самому себе, он подвергается постоянному воздействию окружающей среды, обычно, при нормальных условиях, однородной и потому не вносящей в него никаких резких новшеств и отклонений от нормы. Но когда особь, почему-либо отделившись от одноязычной с ней среды, попадает в среду чужую, то это воздействие извне принимает иной характер: язык новой среды незаметно навязывает речи чужака свои звуки, формы, обороты речи, приобщает ее к себе вплоть до полного с ним слияния. Каждый из нас, конечно, наблюдал это явление, как напр. великоросс, попадая в украинскую среду, быстро приспосабливается к ней, перенимая от нее особенности ее произношения; как интеллигент, перенесенный в среду крестьянскую или фабричную, скоро усваивает ее способы и формы выражения: сначала те или иные слова и обороты кажутся ему несуразными, подчас дикими, но постепенно он, привыкнув, сам начинает употреблять их, они теряют в его глазах свою несуразность и в конце концов утверждаются в его речи, как законная часть ее. Этот процесс повторяется всюду: при переходе в новую семью, всегда имеющую свои особые «семейные» словечки, понятные и привычные только членам ее; при перемене занятий и перенесении в новую товарищескую среду; при переселении в другую область хотя бы того-же своего народа; наконец — при переезде в иноязычную страну. Процесс по существу всюду один и тот-же, разница лишь в размерах воздействия новой среды на язык пришельца, в больших или меньших изменениях, которые вносятся в его речь; т. е. разница только количественная, а не качественная. Конечно, большое значение имеют и индивидуальные особенности: один легче и скорее поддается этому влиянию извне, другой — медленнее и труднее. Но это не меняет

дела по существу: языку особи свойственна огромная приспособляемость к речи среды, а речи среды — такая же заразительность.

И вот, в рамках этого процесса, всегда и всюду одинакового, происходит и заимствование слов, как одно из наиболее ярких его проявлений. Мы редко отдаем себе отчет в нем, когда напр. перенимаем от новых товарищей собственные их кругу слова и обороты, или когда, обучаясь новому делу, усваиваем его терминологию.

Однако, не о таких «заимствованиях» мы тут говорим. Нас интересуют слова, заимствованные из чужого языка и входящие в оборот речи, либо всего народа, либо значительной его части. Только им посвящена наша статья.

2. Общественные условия, при которых происходят такие заимствования, в главнейших своих чертах довольно ясны. Наиболее нормально процесс этот развивается при длительном непосредственном соседстве двух разноязычных народов: тут по обе стороны границы известное количество лиц, если не все население, будет владеть обоими языками, — чужим, конечно, хуже, чем своим. Эта пограничная полоса и является главным базисом распространения заимствованных слов в ту и в другую сторону, а двуязычное население ее — посредником. Наряду с этим — торговцы, свои и чужие, которые уже очень рано, чем дальше — тем чаще, проникали в иноязычную среду, неся ей свой товар, отсутствующий в данной стране, а вместе с ним и чужое слово. Так, в славянский язык попали из Германии лук, редька, осел, в немецкий от славян Zobel (соболь). Вместе с предметом производства в чужую среду часто проникает новая усовершенствованная техника его, вытесняя старые приемы и старые слова. Так, напр., немцы получили свое слово Butter от романцев (лат. butyrum), очевидно одновременно с усовершенствованным способом выделки масла, хотя они раньше уже умели сбивать его, и древнее чисто германское обозначение его сохранилось и поныне в некоторых говорах (напр. в швейцарском Anke).

Точно также славяне переняли у германцев слово хлеб (герм. hlaiba-), хотя едва ли может подлежать сомнению, что они уже до знакомства с ним умели печь из муки нечто в роде хлеба.

Наряду с обменом предметами материальной культуры и их обозначениями, скоро начинается, конечно, и обмен новыми понятиями и приемами торгового обихода; наконец духовными ценностями вообще. Характерно, напр., что понятие купли и продажи заменило у славян понятие обмена лишь под влиянием германских приемов торговли: наши слова купля, купить заимствованы из германского (каупа, kaupjan). В связи с этим из того же источника были переняты лихва, мыто, пенязь (repning), как тысячелетием позже банк, вексель и мн. др.

При всем этом, как уже отмечено выше, роли дающего и принимающего распределены далеко не равномерно: народ высшей культуры дает соседу низшей значительно больше, чем сам получает: в немецком языке гораздо больше французских слов, чем в французском — немецких; германских заимствований, в славянских языках несравненно большее количество, чем славянских слов в языках германских (см. ниже).

Неравномерно распределены заимствования и по времени: ясно намечаются в истории языка периоды большего наплыва заимствований, которые сменяются эпохами, когда новых заимствований почти незаметно, и это чередование может повторяться, как мы увидим ниже.

Наряду с географическим соседством и связанными с ним торговыми и иными сношениями, особенно благоприятные условия для проникновения в язык чужих слов создаются тогда, когда в силу политических обстоятельств, завоевания, колонизации и т. п. представители двух разноязычных народов оказываются поселенцами одной и той же области. Тут получаются самые разнообразные ре-

ультаты: либо более сильный (культурно и политически) народ — обычно завоеватель — навязывает подчиненной массе свой язык, совершенно вытесняя туземный: так было во Франции и Испании, в процессе романизации кельтов и иных туземцев; так было и восточной Германии при германизации значительной части западного славянства. Либо, наоборот, более сильный туземный элемент рассасывается пришельцев: так во Франции более поздние завоеватели — германские франки — растворились в V — IX веках в местной романской массе; точно также в России шведские завоеватели — варяги — исчезли в массе славянской (IX — XI вв.). Но ни в одном из этих случаев побежденный язык не погиб бесследно: как в жилах французского народа течет не мало капель германской крови, так во французском языке и поныне немало германских слов, как в русской речи — скандинавских.

Если сожительствующие в одной территории различные народы более или менее равносильны, то в зависимости от исторических судеб данной области, иногда происходит скрещение не только этих народов, но и их языков, и в результате получается в полном смысле слова скрещенный языковый тип. Так было в Англии, язык которой состоит приблизительно в равной мере из германских (англосаксонских) и романских элементов, занесенных сюда с конца XI в. завоевателями, офранцузенными норманнами, и державшихся первоначально, главным образом, в придворной и военной среде.

Но бывает и иначе: оба народных элемента, сожительствующие в одной области, иногда сохраняют каждый свой язык, как напр. в наших бывших остзейских провинциях, где потомки средневековых немецких колонистов и поныне удержали свой язык, окруженные массой эстонских и латышских туземцев. Скрещения в полном смысле слова тут не получилось, но взаимодействие в языке все-же очень сильно: в язык «балтийских» немцев проникло много мест-

ных слов, на произношении и музыкальном акценте их речи сказались эстонское и латышское влияние; с другой стороны, эстонский и латышский языки переняли не мало слов немецких.

Наконец, наиболее слабо влияние чужого языка скажется — но все-же непременно скажется — там, где единичные личности или небольшие группы их, не облеченные никакими политическими или иными прерогативами, оказываются заброшенными в иноязычную среду. Отдельная личность, конечно, быстро всасывается окружающей средой и исчезает бесследно. Но группы могут продержаться веками, сохраняя свой особый культурный облик и свой язык. Характерным примером этого явления могут служить наши русские (не «балтийские») немцы, сплоченными группами живущие в крупных русских городах, — Петербурге, Москве, Одессе. Отдельные члены этих групп, откалываясь от метрополии, быстро тонут в русском море, оставляя по себе лишь слабый след в виде немецких фамильных имен, так часто встерчающихся в чисто русской среде. Метрополии-же остаются, поддерживаемые своей церковью, школой, семейными традициями. Языкового «скрещения» и тут также не получилось и получиться не могло; но появилась «двуязычность», редко, правда, абсолютная, т. е. одинаково безукоризненно владеющая обоими языками: от пройденной школы, степени образованности и рода занятий, наконец от индивидуальных особенностей зависит больший или меньший уклон в ту или иную сторону, как в произношении, так и в построении речи, в словоупотреблении и т. д. В языке русских немцев много руссизмов, конечно. Но, с своей стороны, и они также внесли в язык окружающих русских людей кое-какие свои слова и обороты: таковы парикмахер, кондитер, таково выражение «он плохо — или хорошо — выглядит» (er sieht schlecht aus), исходный пункт которого — немецкая колония в Петербурге.

Схожее, хотя и не одинаковое положение занимают в русской среде немецкие колонисты на Волге и в южной России, евреи в бывшей черте оседлости и вне ее и т. д.

3. Как узнать, заимствовано ли какое либо слово, или оно свое, искони родное? Вопрос далеко не лишний. Правда, слова в роде генерал, театр, бутерброд носят такой явно чужой отпечаток, что всякий, даже не филолог, признает в них «иностранцев». Но кто не вооруженный научными очками и иными приборами, скажет, что напр. в немецком *Mauer* и *Zaun*, *Kirche* и *Keller*, *Eisen* и *Silber*, *Stiefel* и даже *Kopf* слова иностранные; что в русском языке изба и хижина, плуг и скот, князь и меч, от которых так веет русской стариной — что они все-же пришельцы из чужой страны и лишь сравнительно поздно получили право гражданства в русском языке? А между тем это так. Лингвистика не только предполагает, но может доказать правильность этого суждения при помощи выработанных ею тонких и точных методов.

Критерии заимствования различны. Наиболее явный для всех, но наименее убедительный заключается в том, что все эти слова занимают как-бы изолированное положение в народном словаре, т. е. нет в нем других образований от тех-же «корней». Правда, мы иногда образуем от них новые слова: генеральша, генеральский, бутербродец, княжить, но именно от них, от готовых слов, а не рядом с ними от того-же «корня». Отмеченная особенность бросится в глаза, если мы сравним эти образования с таким рядом слов одного «корня», как братъ — беру — собирать — собор.

Второй критерий, ясный, однако, только филологу, состоит в том, что происхождение этих слов не может быть объяснено из данного языка; они «не имеют в нем этимологии», как мы говорим. Откуда напр. слово «князь»? Со славянской точки зрения оно совершенно непонятно; от слова «конь», как в свое время его объясняли, оно по зако-

нам языка произойти не могло, но вполне закономерно оно могло получиться из германского слова *kuningaz* (откуда нем. *König*), которое в свою очередь легко объясняется из германского-же: в основе его лежит германское «*kuni*» род, образовано оно с помощью обще-германского суффикса *ing-* и обозначает первоначально либо «родовитого человека», либо «главу рода». Слово-же *kuni* в свою очередь восходит, опять таки по законам германского языка, к корню *gen* «производить, родить»: это тот самый корень, от которого произошли латинск. *genus*, слав. *жен* и т. д. Вот на этом-то основании мы и говорим, что «князь» в славянском этимологии не имеет, а в германском происхождение этого слова ясно, а потому — оно заимствовано славянами у одного из германских народов.

Третий, еще более тонкий, но и наиболее доказательный критерий основан на закономерности всех языковых явлений, исключающей случайность и произвольность звуковых соответствий в разных языках. Читатель позволит мне не вдаваться в этот сложный вопрос, обсуждение которого отвлекло бы нас слишком далеко от нашей темы. Скажу только, что каждому звуку одного языка соответствует в том же слове родственного языка не какой-либо звук, а вполне определенный, точно установимый, и не может соответствовать другой. Так, если в германском слове мы находим «к», то в соответствующем славянском слове мы непременно найдем «г» или производное из него (напр. «ж», возникшее из «г» перед «е»): германскому *juka* (нем. *Joch*) отвечает славянское *иг*о; герм. корню *ken*, *kn*. (откуда *kuni*) отвечает слово *жен*-а (см. выше). Если это соответствие нарушено, как напр. в герм. *kuning* — слав. князь, где германскому *k* отвечает слав. *к*, а не «г», как следовало ожидать, то должно возникнуть подозрение, что перед нами заимствование, перенятое славянами в такую эпоху, когда чередование *g* — *k* уже потеряло свою силу, и это подозрение подтверждается иными соображениями.

Другой пример: нем. *Lauch* (род лука) звучало до VII в. по Р. Х. *lauk* (ср. англ. *leese*). Если ему в слав. отвечает *лук*, то перед нами снова соответствие *к — к*, которое не может быть закономерным; следовательно — слово это заимствовано из германского. Если бы оно не было заимствовано, а восходило бы вместе с германск. *lauk* к одному общему индо-европейскому слову, то мы имели бы в русском теперь не *лук*, а *луг*.

Таких примеров можно бы привести массу для всех звуков, как согласных, так и гласных, смена которых также подчинена строгим законам. Но достаточно указанных. Из них читатель усмотрит, что утверждение наше о заимствовании того или иного слова не произвольно или гадательно, а вполне доказуемо, и позволит мне не приводить этих доказательств для каждого слова в отдельности.

Но не всегда вопрос решается так — сравнительно — просто. Бывают случаи, когда одни только звуковые соотношения окончательного решения не дают, а между тем вероятно по тем или иным причинам говорит в пользу предположения о заимствовании. В таких случаях приходится искать решения при помощи вышеприведенного первого и второго критериев или иных соображений, или же оставлять вопрос вообще открытым.

4. Указанными в предшествующем пункте критериями обычно решается и вопрос об источнике и времени заимствования, т. е. о том, которая сторона и когда именно переняла данное слово у соседа. Обычно, говорю я, но не всегда. Бывает, что не только звуковое соотношение в этом смысле безразлично, но и прочие признаки отказывают в ответе. Таково напр., положение слав. *скот* и *плуг* по отношению к немецк. *Schatz* (древнее *skatta*.) и *Pflug* (древн. *plōga*.). Что тут на лицо заимствование, не подлежит никакому сомнению; но кто у кого заимствовал — неясно: звуковой со-

став этих слов как в германских, так и в славянских языках в общем таков, что мы могли бы с одинаковым правом искать родину их как у германцев, так и у славян. Если мы решаем вопрос в пользу германского источника, то лишь в силу общих соображений, не звуковых и не этимологических, так как *скот* и *плуг* ни в германских, ни в славянских языках «этимологии не имеют». Но при таких условиях возникает вопрос, где же родина их, откуда их получили германцы?

Таких случаев немало; к ним относится напр. и наш *хлеб*, герм. *hlaiba*-. Они не принадлежат к числу тех так сказать международных слов, которые, возникнув в одном месте, странствуют затем по всему свету, всюду оставляя след по себе, вроде слов *вино*, *осел*, *черешня* и другие. Интересующие нас здесь слова — *скот*, *плуг*, *хлеб* — принадлежат только германцам и славянам, и несомненно от последних *хлеб* напр., перешел к литовцам (*klėpas*) и латышам (*klaipas*), и от германцев к финнам (финск. *leipä*, эстонск. *leip*). Так откуда же они? Ни славяне, ни германцы придумать их не могли: никто никогда новых слов не «выдумывал», если не считать звукоподражательных, которые иногда возникают по интуиции момента, но в редких лишь случаях удерживаются в языке, обычно же исчезают из него так же быстро, как возникли*). Мы по необходимости должны предположить какую-то третью, неизвестную нам среду, из которой германцы могли получить их, чтобы передать их славянам, или наоборот, или, наконец, из

*) История человеческого языка знает только один случай, когда для нового понятия было создано действительно новое слово, а именно «газ» (*Gas*): оно придумано брюссельским алхимиком Гельмонтом (van Helmont, ум. 1644) для обозначения водяных испарений, вызываемых понижением температуры. Но и тут творческая фантазия ученого исходила, видимо, из греческого слова *хаос*.

которой и германцы и славяне могли почерпнуть их хотя бы одновременно, независимо друг от друга.

И вот, в связи с подобными случаями, перед нами встает проблема, которая теперь горячо обсуждается в лингвистике и этнологии древнейшей Европы, — вопрос о том, не застали-ли так называемые праиндоевропейцы, предки славян, германцев, кельтов и большинства прочих европейских народов, в областях, в которых их настигает история, — не застали-ли они здесь какое-то более древнее, первобытное население, из которого германцы и славяне и заимствовали спорные слова? Все более выясняется, что такое население тут было; мы, кажется, приближаемся уже к разрешению вопроса о его этнологическом характере, и относительно одного из указанных трех слов, именно плуга происхождение из этого источника более, чем вероятно. Германская форма *plōga* по созвучию очень близко к слову *plōvum*, которое римский писатель Плиний (в I в. по Р. Х.) называет ретийским: реты (жители альп), говорит он, обозначали этим словом изобретенный ими особый вид плуга. А реты, близкие родичи этрусков, несомненно принадлежали к составу этого первобытного доиндоевропейского населения Европы *). Надо думать, что дальнейшая исследовательская работа в этом направлении разрешит и ряд других неясных пока вопросов в области заимствованных слов.

5. Я указал выше, что заимствованные слова бывают разных типов: одни легко узнаются, как таковые, другие же совершенно слились с прочим составом лексикона и ничем от него не отличаются. Читатель сам без труда подберет массу таких примеров, и ему бросится в глаза аналогия с живыми людьми: мало-ли среди нас людей,

*) Об этой важной для истории древнейшей Европы проблеме см. мою статью «Первобытное население Европы» в первом книжке «Беседы», стр. 300.

русских во всех смыслах и отношениях, сохранивших от далеких предков только кличку — фамилию, да и то иногда окрашенную в русский цвет? Вспомним нашего славного академика Фаминцына (Фомин сын — Thomson) петроградского профессора Броунова и друг. Лермонтов, кажется, тоже в этом смысле «иностранец». А Аксаковы, Бильбасовы, Балабановы, Нарышкины и — даже Батюшковы? Если-б фамилия их произошла от «батюшки», то они звались бы Батюшкиными. Они, вероятно, татарского происхождения, и их фамилия только переделана на русский лад. Таких примеров бесконечное множество, и они тоже — своего рода заимствования.

Возвращаясь к теме, я должен сказать, что чужое слово никогда не перенимается в чистом виде, а всегда облекается в звуки и формы заимствующего языка. Даже такие явно иностранные слова, как студент, галстук мы произносим на свой русский лад, не как немцы (*Student*, *Halstuch*), и склоняем их по русски — студента, студенту, студенты. Мы обязательно окрашиваем их в русский цвет и тем подчиняем их русским языковым навыкам. Это подчинение может привести иногда к довольно значительным переделкам в угоду привычным сочетаниям звуков: купорос из нем. *Kupferwasser*, ярмарка из нем. *Jahrmarkt*, рыцарь из немецк. *Reiter* (древнее *riter*). Особенно сильны подобные переделки в тех случаях, когда появляется возможность или желание сблизить данное слово с похожим по звукам родным словом и тем как бы объяснить слово чужое. Так, из немецк. *Fächer* получился русский веер, потому что он сближался в сознании говорящего с глаголом веять; из *Künstler* таким же путем получился кустарь, из *Profoss* — прохвост (см. ниже). Вошедши в оборот нового языка, заимствованное слово подчиняется затем уже всем законам, действующим в этом языке, и теряет все следы своего иностранного происхождения. На основании этого

мы делим все заимствованные слова на две категории. Первая из них обнимает древние заимствования, вполне уже усвоенные перенявшим их языком, прошедшие через ряд действовавших в нем законов и потому измененных до неузнаваемости: хижина, котел, блюдо, витязь и т. под. Это — заимствования в узком смысле; они обычно древнее прочих и перешли от одного народа к другому, минуя книгу и книжную среду.

Другую категорию составляют более поздние заимствования, часто перенятые книжным путем или известной высшей средой, и отсюда уже проникшие (да и то не всегда) в широкие массы: доктор, солдат, школа. Такие слова мы, в отличие от первых, называем иностранными. Но резкой границы между этими двумя категориями нет: мы уже знаем, что всякое чужое слово приспособляется к звукам и формам воспринявшего его языка, и отличие между князь, солдат и фельдмаршал, или между думать и конструировать — отличие не по существу, а лишь по времени заимствования и по степени усвоенности их русским языком и распространенности в более или менее широких народных массах.

Бывает, что одно и то же слово заимствуется несколько раз, разной средой, народным и книжным путем: в одном случае оно «заимствованное слово», в другом — «иностранное». Так было с французским *partie*: заимствованное немцами в средние века в форме *partie*, оно дало новонем. *Partei* («заимствованное слово»). Латинско заимствованное в XVIII в. оно дало — с иным значением — немецк. *Partie* («иностранное слово»). Латинское *momentum* заимствовано немцами даже три раза, все в разных значениях: два раза через посредство французского языка — в средние века *die (diu) mōmente* (женск. рода), позже вторично *der moment*; наконец, в XVIII в. в третий раз, непосредственно из латинского пер-

воисточника, юристами, *das moment*. Во всех трех случаях оно оставалось «иностранным» словом.

Иногда слово переходит из рук в руки, раньше чем попасть в наш язык. Слово вино, которое, вероятно, переднеазиатского происхождения (из Закавказья?), прошло через много языков, раньше чем дойти до нас, как заимствование из немецкого. То же было с ослом, львом, абрикосом, персиком.

Бывает, что такое слово, совершив как-бы путешествие за границу, возвращается во-свояси, но уже с иным значением и неузнаваемое в новом костюме. Так случилось с немецк. *Faltstuhl* (складной стул), который, заимствованный французами, превратился у них закономерно в *fauteuil* и вернулся в Германию в новой форме, но уже в качестве мягкого кресла. Так было и с немецк. *Hauptmann* (диалект. *Heptmann*), который прогулялся в Польшу и Украину, превратился здесь в гетмана и вернулся в немецкий литературный язык в форме *Netman*, как специальное обозначение верховного казачьего атамана.

Еще более яркий и близкий нам пример — слово грипп: оно ничто иное, как русское хрип. В XVIII в. новая в то время форма гриппозного заболевания («инфлуенцы») перешла из России в западную Европу и принесла с собой и русское обозначение свое. В немецком словаре провинциализмов 1792 г. *Grippe* еще толкуется как «русская болезнь». Обследованная и так сказать оформленная в немецких клиниках, болезнь, однако, сохранила свое русское имя, лишь несколько переименованное на иностранный лад, и имя это вернулось на родину уже в качестве специального научного термина. Кто из нас, употребляя его, узнает в нем родное слово, просто и красноречиво выражающее один из главных признаков инфлуенцы?

6. Заимствуются не только готовые слова, но и формальные образовательные элементы, префиксы и суф-

фиксы. Так, очень распространенный немецкий глагольный суффикс *-ieren* романского происхождения. Эти вспомогательные элементы чрезвычайно живучи и обычно проявляют в новой среде большую активность, чем свои исконные, которые отмирают, удерживаясь лишь в готовых старых формах, словно они, усталые, лишены способности образовывать новые. Если немец от нового слова хочет образовать глагол, то он образует его именно при помощи упомянутого заимствованного суффикса — *ieren*: *telefonieren*, *telegrafieren*, *boykottieren* (с 1880 г.); создать новый глагол типа *binden* — *band* — *gebunden* он не в состоянии. Недавно в Германии появилось новое патентованное средство для чистки собак, под красноречивым названием «Sobaka»: изобретатель, очевидно, воспользовался русским словом, чтобы дать своему изобретению оригинальное наименование, произносимое здесь, впрочем, на немецкий лад, с ударением на первом слоге. И вот, второй пункт объявления, расхваливающего это средство, гласит: «Sobakierte Hunde riechen tagelang frisch und angenehm!» Если русскому языку нужен новый глагол, то он обычно прибегает к помощи того же чужого суффикса, осложнив его своим славянским-овать: телефони^овать, визир^овать. В известной, большей частью книжной, среде тот или иной суффикс может «войти в моду» и дать новые, часто шутливые и намеренно несуразные, но все же живые и живучие образования: по образцу таких слов, как конкуренция, инстанция возникли старушенция, распекация; по образцу протодиакона, протоиерея духовная среда образовала протобестию, по примеру архиерея — возник архиплут. Этот же греческий элемент архи- в немецкой форме *Erz*, дал не только слова как *Erzbischof*, *Erzherzog*, но и *Erzhalunke* (архи-негодяй), слово, которое, кстати сказать, состоит, как протобестия, из двух заимствованных слов, так как и *Halunke* чужого происхождения: оно

заимствовано в XVI веке из чешского *holomek* «нищий, бояк», т. е. восходит к общеславянскому прилагательному «голый».

7. Одна моя приятельница, русская девочка, два года живущая в Берлине, недавно, прощаясь с отцом, спросила его: «папа, ты вернешься к вечернему хлебу?» Русского слова ужин в данный момент в ее распоряжении не оказалось, и она бессознательно перевела немецкое *Abendbrot*. Это тоже заимствование, но своеобразное, стоящее особняком от прочих типов: заимствуется не само слово, а его содержание, дословное значение, которое — точно или неточно — переводится на родной язык. Это явление наблюдается нередко, особенно в двуязычной среде. Напомню обычные у русских немцев, совершенно бессмысленные с немецкой точки зрения выражения «was nicht ist», переводящее русское «что-нибудь», и «vieles (wenig) was», получившееся из русского «мало-ли что».

Последний пример, также как приведенное выше русское выражение «он выглядит хорошо», доказывает, что таким путем переводятся не только отдельные слова, но и обороты, целые фразы, — не всегда удачно, но прочно. Русский оборот в роде «раз я сказал, то» дословный перевод с французского «une fois que...» Русское «потерять голову» переводит немецкое «den Kopf verlieren»; «разбить на голову» очень неудачно передает немецкое-же «auf's Haupt schlagen». Бывают в этой области и курьезы. Как известно, уже Пушкин указал, что русское выражение «быть не в своей тарелке» возникло из неверного перевода французского «être dans son assiette», так как в данном случае *assiette* означает вовсе не тарелку, а сидение, место (от *asseoir*).

Такие заимствования — переводы, в особенности отдельных слов, возникают большей частью бессознательно и редко удерживаются в обиходе речи, если они сами по себе лишни. Иногда они просто — как в приведенных

примерах — плод неумелого литературного перевода. Хорошо переводить — вообще великое искусство, дающее не всякому; а на Руси, в частности, это искусство редкое. Как вам нравится, например, такая фраза в переведенной с немецкого шутовской комедии первой половины XVIII века: «Коль стара твоя дочь? — Ей теперь только 14 лет» — *wie alt ist...* Или: «Еще однажды пейте кругом!» — *noch einmal trinkt in die Runde*. К счастью, это все же исключения, которые, конечно, в обиход языка не вошли. Но в действительно трудном положении оказывается переводчик, когда ему приходится переводить мысли и понятия, до которых его народ еще не додумывался и для которых, вследствие этого, в его языке не имеется подходящих выражений. В наше время с этим справляются легко, не затрудняя себя словотворческими муками: берут слово иностранного оригинала и, слегка переделав его, по испытанному рецепту, на русский лад, спокойно пишут: метафизика, трансцендентный, трансцендентальный, волюнтаризм, витализм... понимай, как знаешь! Почти вся научная и техническая терминология создавалась таким образом, и жалеть об этом, конечно, не приходится, так как подобного рода международными словами значительно облегчается и ускоряется распространение и усвоение самого предмета. Но очень часто в заимствовании таких терминов сказывается просто творческое бессилие переводчиков. Старинные переводчики, в особенности начинатели, относились к делу серьезнее и добросовестнее: они не обходили трудностей, а боролись с ними, стараясь создать для нового понятия и новое слово. А так как всякая письменность начинается, обычно, с переводов, то в истории всякого литературного языка имеется начальный период, когда эта работа была и необходимой, и в высокой степени благодарной. Далеко не всегда созданные в то время новообразования удачны; но во многих сказывается очень верное и чуткое понимание

духа родного языка, вследствие чего они и удержались в нем до наших дней. Таким творческим периодом была для немецкого языка эпоха IX — XI веков, когда возникли, например, такие слова, как *Gewissen* — перевод с латинского *conscientia*, *Gemeinde* (*communio*), *bekehren* (*convertere*) и другие. Русской письменности предшествовала такая-же работа в области старо-болгарской, церковно-славянской, откуда много подобных слов перешло в готовом уже виде в древне-русский книжный язык, содержащий вообще массу заимствований из него. Тут возникли такие слова, как беззаконие (греч. *аномия*), согласие (симфония) и много других. Работа эта продолжалась и дальше, с большим или меньшим успехом, причем оригиналами служили и служат то латинские и греческие, то французские и немецкие слова. Мы вернемся к этому вопросу еще раз ниже.

Таковы общие положения, с которыми необходимо было познакомить читателя, чтобы дать ему возможность вникнуть в сущность разбираемого явления. Перехожу теперь к ближайшей характеристике самого состава заимствований в намеченных выше двух областях. Нам и тут, конечно, придется ограничиться важнейшими фактами, не входя в разбор спорных пунктов и деталей, как бы интересны они ни были сами по себе.

II. СОСТАВ НЕМЕЦКО-ФРАНЦУЗСКИХ И РУССКО-НЕМЕЦКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

Исторический фон, на котором происходит интересующий нас процесс в пределах немецко-французских и русско-немецких отношений, в общих чертах, следующий.

С незапамятных времен славянский мир примыкал на западе непосредственно к германскому. Граница в течение веков неоднократно перемещалась то в одну, то в дру-

гую сторону, но общее географическое взаимоотношение оставалось неизменным. Мало изменений произошло, по существу, и в западной Европе: здесь ближайшими соседями германцев в древнейшие (доисторические) времена как на западной границе, так и на юге были кельты: они занимали когда-то и всю среднюю Германию. Когда кельты, под давлением надвигавшихся с севера германцев, покинули (начиная с VI в. до Р. Х.) эти области, а затем в новых своих территориях (Франции, югозападной Германии, западной Швейцарии) были романизованы римскими завоевателями и вошли в состав романской языковой семьи, то ближайшими соседями германцев по всей линии их границ, за исключением востока, оказались романцы. Но память о древнейших соседях — кельтах — хранится в германских языках и поныне в любопытном этническом названии. Дело в том, что в нын. Тюрингии, т. е. в ближайшем соседстве с прагерманцами, примыкавшими к ним с севера, жил до V века до Р. Х. кельтский народ вóлков (Volcae), имя которых в устах соседей-германцев закономерно получило форму валхов (Walh). Этим именем своих ближайших кельтских соседей германцы стали называть всех кельтов, где бы они их ни встречали в последующих своих передвижениях: оно сохранилось в длинном ряде географических названий как в Германии, так и в других позже заселенных германцами областях. Ср. например, Walhensee, Walensee в Баварии и Швейцарии; Wales и Cornwales в южной Англии, где германцы — англосаксы — также ведь застали кельтов.

Таким образом, наследник английского престола, принц Уэльский, поныне хранит в своем титуле память о германо-кельтском соседстве в Тюрингии, прекратившемся 2½ тысячелетия тому назад. А когда место кельтов заняли романцы, т. е. те-же, но только романизованные, кельты, то имя валхов было перенесено германцами и на них: словами welsch и Welschland немец еще сегодня обозначает романцев, в частности французов и итальян-

цев. А славяне, заимствовав это имя у германцев, до сих пор называют румын — влахами, волохами.

Вывод из всего этого ясен: в сфере славяно-германских отношений мы вправе ожидать заимствований с той и другой стороны, начиная с древнейших доисторических времен, когда вообще сложились обособленные славянская и германская языковые семьи, вплоть до наших дней. В сфере же германо-романской древнейшими заимствованиями должны быть кельтские, и лишь приблизительно со времен рождества Христова их заменят латинские и вообще романские слова. Мы увидим ниже, что фактический материал вполне подтвердит эти предположения.

Выше уже было указано, что на протяжении этих долгих веков процесс заимствования слов протекал не одинаково интенсивно: в зависимости от исторических судеб соседей и менявшихся взаимоотношений их, приток заимствований то усиливался, то ослабевал: то он превращался в мощную волну, временно как-бы заливавшую всю территорию соседнего языка, то почти или даже совсем, временно, прекращался. Менялся и культурный облик ближайших соседей и, в зависимости от этого, характер заимствований. На западе, на смену кельтов, мало чем отличавшихся культурно от германцев, приходят римляне со своей высокой материальной и духовной культурой, а их сменяют снова кельты романизованные, с культурой полу-варварской, полу-античной. На западной окраине славянского мира мы сперва находим бастарнов и другие германские народности, о которых мы мало что знаем; после них появляются высоко одаренные готы, ищущие связи с античным миром и быстро воспринимающие культурные воздействия, идущие оттуда. Эти готы основывают в III в. по Р. Х. могущественное государство в югозападной России, с центром на Днестре, — государство, подчинившее себе едва-ли не все славянство и павшее в конце IV столетия под ударами

гунов. После этого в течение нескольких веков славянский мир предоставлен сам себе и пользуется этим промежутком времени, чтобы расширить свою территорию на западе, в восточной Германии, покинутой германцами в связи с общим движением так называемого великого переселения народов.

Вскоре после этого в восточно-европейской равнине, т. е. именно в позднейшей России, появляется новый германский элемент, скандинавские варяги, также как и готы основывающие здесь государство — русское, более прочное, чем готское, но скоро теряющее свой чужеземный характер. И лишь после всего этого по всей западной границе славянского мира окончательно упрочиваются, как ближайшие соседи славян, немцы, сношения с которыми уже не прерываются вплоть до наших дней.

Все эти изменения оставили ясный след и в истории заимствованных слов: в ней отчетливо выделяются пласты — в немецком языке кельтский, римский, романский, в частности французский; в языке русском — прагерманский, готский, варяжский и немецкий. По этим пластам, разнохарактерным как лингвистически, так и по культурному своему содержанию, мы в дальнейшем и расположим наш материал.

III. НЕМЕЦКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

В интересной книге Либиха*), вышедшей в 1905 г. вторым изданием, автор делает попытку разбить весь живой состав современного немецкого языка (около 48.000 слов, производных от 2.680 «корней») на рубрики по признаку происхождения из того или иного источника, и под-

*) В. Liebich, Die Wortfamilien der lebenden hochdeutschen Sprache als Grundlage für ein System der Bedeutungslehre. 2. Aufl. Breslau 1905.

водит некоторые численные итоги. Подсчет выяснил, что из указанного количества — 4.840 слов, производных от 497 «корней», ведут начало из романских языков. Если эти итоги и не могут быть признаны окончательными во всех своих частях, и если наука в будущем и внесет в них поправки, то все-же в общем численное соотношение может считаться правильным. На 48.000 слов немецкого словаря — свыше 4.800, т. е. более 10% романских. С другой стороны, во французском языке, по приблизительному подсчету, около 250 германских групп.

Эти числа красноречивы: они говорят об очень значительном культурном взаимодействии двух соседних народов в течение двух тысячелетий, подтверждая, вместе с тем, уже указанный факт, что народ высшей культуры дает соседу больше, чем сам от него получает.

Теперь вернемся к историческому изложению.

Непосредственному французскому влиянию на немецкий язык предшествуют, как мы уже знаем, влияние кельтское и римское.

Первое из них — кельтское — не очень значительно; оно, во всяком случае, не может быть выяснено теперь в более яркой форме, в виду древности, затемненности и так сказать стертости материала. Приведу лишь три примера.

Немецкое Amt (должность, присутственное место, готское andbahts, слуга) произошло из кельтского ambact-us (слуга); немецк. reich (богатый, готск. rīks могущественный) ничто иное, как кельтск. rīg (властный, богатый); наконец Geisel (заложник) повторяет кельтск. gēslo. Вспомним также об имени валхов, о котором была речь выше.

За кельтской полосой идет латинская, гораздо более значительная и яркая.

Влияние римской культуры на германский мир началось несомненно очень рано, с того времени, когда германцы — сперва через посредничество кельтской

среды, а затем (приблизительно со II в. до Р. Х.) и непосредственно — пришли в соприкосновение с римлянами. Но об этих древнейших воздействиях мы ничего конкретного сказать не можем. Из явно-латинских слов, ныне еще живых в немецком языке, самое древнее, по видимому, имя Юлия Цезаря (Caesar, читай «кайсар»), которое продолжает жить в слове Kaiser. Впрочем, решающее значение имела тут не личность самого Цезаря и впечатление, произведенное ею на варварский мир, а то обстоятельство, что имя это утвердилось в самой римской среде, как обязательный титул верховных властителей Рима, и потому стало привычным обозначением их и в глазах германцев. На варварских государей оно было перенесено лишь столетиями позже, когда, при Карле Великом, империя вновь возродилась, но уже на новых, варварских началах.

Римское влияние усилилось, когда в начале христианской эры, при первых императорах, римлянами была завоевана часть западной Германии и начата романизация ее. С этого времени в течение нескольких веков по всей линии западной и южной границы германской территории происходит оживленное общение варваров с представителями римской культуры, несшее с собой массу заимствований; и процесс этот усиливался все возрастающим количеством германских наемников в римских войсках: они возвращались на родину зачастую полу-римлянами.

Заимствованные слова, проникшие в эту эпоху в германский язык, обнимают почти все стороны общественной и частной жизни; а когда новым сильнеешим моментом воздействия с этой стороны является христианство, то влияние еще усиливается, захватывая и веру и церковную организацию. Приведу ряд примеров из ныне еще живого немецкого лексикона, чтобы отчетливее обрисовать культурный перелом, через который прошел германский мир под влиянием Рима.

От римлян германцы впервые научились возводить здания из камня и кирпичей; это доказывается заимствованием таких слов, как Mauer, Ziegel, Mörtel, Kalk. Дом получает новый вид: Fenster, Kammer, Keller, Küche: раньше дом состоял из одного, много двух помещений, и окон не было, а были лишь небольшие отверстия в стене, — глазницы, которые давали возможность взглянуть наружу: они назывались «дверями для глаз» (готск. augadorō). Меняется внутренняя обстановка комнат: Tisch, Schrein, Schemel, Spiegel, Pfühl; появляется много предметов хозяйственных, до этого неизвестных немцам: Becher, Büchse, Eimer, Flasche, Kessel, Kopf (из латинск. супа «чаша», ср.-английское сир «чашка»; лишь с XVI в. Kopf получает значение «головы», вытеснив более древнее Haupt); Mörser, Kette, Kerze, Sack, Riemen, Schraube.

Сельское хозяйство обогащается новыми культурными растениями: Pflanze, Frucht; Birne, Feige, Kirsche, Pfirsich, Mandel; Beete, Kohl, Kümmel, Lorbeer, Rettich, Senf; на столе появляется приготовленное по новому масло (Butter, см выше), и сыр (Käse), новая форма пшеничного хлеба (Semmel), растительное масло (Oel), перец (Pfeffer), уксус (Essig), вино (Wein); в круг домашних животных вступает осел (Esel), на птичьем дворе павлин (Pfau).

Новые формы принимает торговля (Kaufmann, Münze, Pfund), начинается забота об общественных дорогах: (Strasse, Pflaster, Meile), появляются врачи (Arzt, Balsam, Fieber).

Сравнительно мало слов военного и административного быта: Kaiser, Kampf, Kastell, Pfalz, Pfeil; Kerker, Zoll. Видно, в этом отношении германцы крепче держались старых бытовых форм. Зато чрезвычайно важным приобретением были письмена: до знакомства с римлянами германцы не знали их совершенно *). Этим объяс-

*) Так называемые германские руны более позднего происхождения: они возникли не раньше III века по Р. Х., вероятно у готов в южной России, из греческого курсива.

няется, почему, за немногими исключениями (нем. Buchstabe и англ. to write «писать») все относящиеся сюда слова — латинского происхождения: schreiben, Griffel, Tinte, Brief; dichten, Vers. Само собой разумеется, что и школа (Schule) из того же источника.

Появление в Германии христианства, шедшего, главным образом, из Рима, как указано, еще усилило приток новых латинских слов. Вся немецкая церковная терминология восходит к ним *): общие понятия (Kreuz, segnen, opfern, Almosen; Messe, Vesper; predigen), храм и внутреннее его устройство (Dom, Münster, Kanzel, Orgel, Glocke, Kelch), монастырь (Kloster, Zelle), обозначения духовных лиц всех рангов (Priester, Küster, Probst, Bischof, Mönch, Nonne, Abt) и другие.

Наконец, немецкий словарь обогащается из того же источника множеством слов общего характера. Так, латинского происхождения имена прилагательные, falsch, kurz, kahl, sauber, nüchtern; имена существительные Meister, Kopf, Kupfer, Pein, Plage; глаголы kosten, loben и масса других.

Многие из этих слов, конечно, книжного происхождения, но они скоро попадают в оборот живой речи и усваиваются ею вполне. Непосредственно влияет, конечно, и вульгарно-латинский язык, который является даже главным источником этих заимствований. Получая, мало по малу, местную окраску, он постепенно превращается в язык французский. Строго разграничить эти три полосы — классическую латинскую, вульгарно-латинскую и раннюю французскую, в области германских заимствований, трудно, да для наших целей и не нужно.

Так дело продолжается, в общем, до V века, т. е. до появления в Галлии германских франков и их завоева-

*) Лишь очень немногие слова — Kirche, Pfaffe, Engel, Teufel, Pfingsten — получены немцами из греческого источника, вероятно, через посредство готов.

тельного движения вглубь страны. С этого момента картина резко меняется, и преобладание не только политическое, но и языковое переходит временно (с V до IX века) к франкам. Несомненно и раньше уже кое-какие германские слова проникали в галло-романскую речь в виду непрерывного общения с германцами на восточной окраине государства. Но лишь теперь, с V века, процесс этот усиливается: главная масса германизмов перенимается французским языком именно в эту эпоху.

И они также охватывают самые разнообразные стороны частной и общественной жизни.

В виду особого положения, занятого на первых порах франками в завоеванной ими стране, неудивительно, что видное место среди заимствований из их языка занимают слова, относящиеся к войне и военному делу. Самое обозначение войны — guerre — германское слово (др. нем. wega, спор, враждебное столкновение). Кроме него назову bannière, beffroi, butin, trêve (перемирие); предметы вооружения и военного костюма baudrier, bride, dard (дротик), écharpe, épéron, fourreau, gant, hache, haubert (кольчуга), heaume (шлем). Близки по значению к этому кругу понятия meurtre и ravager (ранить).

К административной практике относятся ban, bannir, fief, gage, gagner, marche (граница) и обозначение должностей chambellan, maréchal, sénéchal. Слово rang — тоже германское.

Но германское влияние проникает и в дом (halle, loge, salle; banc, bloc, fauteuil; crèche, cruche, brosse), отражается на составе и способе изготовления еды: gruaux, rôti, soupe. Особенно любопытно, в связи с последним, слово soupe: оно восходит к герм. supa, откуда и немецкое saufen, и обозначает, собственно, только напиток. Суп в нашем смысле слова, т. е. как жидкая пища, вошел в употребление впервые во Францию и проник сюда приблизительно в XIV веке в Германию, неся с собой и слово suppe в новом значении. Это Suppe ощуща-

ется еще теперь как французское заимствование, несмотря на свое чисто германское происхождение, и в меню немецких ресторанов вы поэтому часто прочтете вместо него Brûhe (Fleisch-brûhe — бульон), означающее, собственно, отвар.

Сад около дома обозначается французами также германским словом jardin (Garten), хотя садоводство развилось у романцев гораздо раньше и богаче, чем у германцев. Немецкого же происхождения gazon, mousse; cresson, roseau; hêtre. Из царства животных bouc и chamois, épervier и héron; esturgeon, hareng, écaille, écrevisse.

Некоторые небольшие группы заимствованных слов интересны именно как группы, напр.: страны света nord, sud, ouest — все германского происхождения — указывают, повидимому, на то, что в морском деле германцы были учителями французов. В связи с этим находится заимствование из германского таких слов, как écuime, falaise, flot.

Характерно иногда отсутствие, среди заимствований, слов известной категории. Любопытно, например, отметить, что совершенно отсутствуют в числе их выражения, относящиеся к костюму (кроме военного, см. выше): видно, уже тогда во Франции руководствовались не немецкой модой*). Наоборот, в немецком языке множество французских слов для обозначения частей костюма.

Зато, с другой стороны, из германского проникло во французский язык довольно много слов, обозначающих цвета: blanc, bleu, brun, gris; blafard.

Из прочих ходких французских прилагательных, заимствованных у германцев, назову еще frais, franc,

*) Из общепотребительных французских слов, имеющих отношение к этой стороне жизни и взятых из германского, я мог бы назвать только toupet (из герм. top, нем. Zopf). Некоторое отношение к тому же кругу понятий имеет broder и feutre, которые также взяты из немецкого источника.

hardi; laid, morne, sale; riche (из др.-нем. rihhi нын. reich, которое, в свою очередь, заимствовано у кельтов, см. выше).

Из имен существительных, в том или ином отношении интересных: échine, hanche; bru; hâte, orgueil; balle; buée. Наконец, большое количество глаголов всякого содержания: bouter, broyer, choquer, taper; glisser, tomber, trébucher; guider, garder; garnir, marquer; guérir; effrayer, épier, dérober; épargner, fournir; flatter, haïr, regretter; déchirer, déguerpier, lécher, и — наконец — danser!

Такие слова могли быть заимствованы лишь в эпоху длительного мирного сожительства двух народов и полного культурного скрещения.

Но эта эпоха миновала. Пришлые франкские элементы растворились в туземной романской стихии; западная, романская часть империи каролингов все больше обособляется от восточной, оставшейся германской, и все сильнее подчеркивается национальная и культурная рознь между ними, окончательно установившаяся уже в IX веке.

Однако, хотя с этого времени каждый из двух соседей идет по своей линии развития, культурное взаимодействие между ними продолжается непрерывно до наших дней.

При всей непрерывности этого процесса все-же в языке намечаются некоторые периоды усиленного культурного влияния Франции. Первый из них начался в XI веке и продолжается до XIII века. Это — эпоха расцвета рыцарской культуры, находящейся в Германии под решающим влиянием Франции. В немецких рыцарских кругах все французское было в моде; ему подражают в костюмах, в манерах, — не мудрено, что и в язык этих кругов проникла теперь масса французских слов. Правда, они держались, главным образом, только в высших кругах, и многие из них вновь исчезли, когда отмерло рыцарство. Но немало таких «рыцарских» слов проникло и в язык народный, где они удержались до наших дней. Таковы, напр.

Abenteuer (aventure), Form, Kissen, Flöte (древн. floite из франц. fleute, позднее flûte), Forst, Pöbel; прилагательные blond, fein, hurtig; глаголы fehlen, liefern, prüfen, tanzen (первоначально герм. слово, см. выше; слово это вернулось в Германию, очевидно, с новыми, более искусными формами рыцарского танца *). К этой же эпохе относится заимствование глагольного суффикса -ieren (см. выше). «Иностранными» словами остались заимствованные тогда же Bastard, Harnisch, Juwel, Palast, Quartier и друг.

Миновала и эта пора. XIV и XV века вносят в немецкий язык мало французских слов. Новая волна их — и очень сильная — нахлынула в XVI веке, когда, благодаря исключительно блеску и силе французской государственности, Франция вновь «вошла в моду», и в особенности, когда с XVIII в. французский язык стал общепризнанным языком дипломатии. И тут также мы имеем дело преимущественно с «иностранными» словами, но их очень и очень много: Kavalier, Mosjö, Dame, Madame, Mamsell, Mode, Fasson, Manier, Reputation, delikat, delectieren, diskret и т. д. и т. д. Против этого, именно, наплыва французских слов направлен был сознательный протест немецких «пуристов» (XVII в.), о котором будет речь ниже. Соединенным усилиям ученых кругов и национально настроенных писателей удалось удержать его в известных рамках и с течением времени даже изъять из обращения большое количество таких галлицизмов; а в настоящее время, усилившее национальную рознь, едва-ли много новых французских слов проникнет в обиход немецкой речи. Но процесс сам по себе настолько естественен и необходим при вольном и невольном общении двух соседних народов, что он продолжается и теперь, несмотря на все препят-

*) Свообразную историю имеет нем. глагол turnen: он в начале XIX в. сознательно переделан из средневекового французского заимствования turnei (турнир).

ствия, — главным образом, конечно, на западной окраине немецкой территории. Недавно я слышал в югозападной Германии выражение Peteterle для — зажигалки, слово несомненно новейшей формации: оно образовано из франц. peut-être при помощи немецкого уменьшительного суффикса -le, и не лишено остроумия: когда приводишь в действие зажигалку, эту модную замену дорогих спичек, то, как известно, никогда не знаешь, не будет ли осечки: «может-быть» удастся, а может быть и нет...

IV. РУССКО-НЕМЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Славяно-германские отношения начались, как мы видели, очень рано: мы не знаем такого времени, когда западными соседями славян не были бы германцы, — либо непосредственно примыкая к ним, либо отделенные от них полосой незаселенной территории. Но какие именно германские народности? Скорее всего, предки позднейших немцев. Лишь в V в. до Р. Х., а может еще позже, между ними и славянами в бассейне Вислы появляются готы, вандалы и другие «восточно-германские» народы, перешедшие сюда из Скандинавии. Впрочем, надо иметь в виду, что в эту отдаленную эпоху германские языки еще не так сильно расходились между собой, как впоследствии, почему решение вопроса, из какого именно языка взято то или иное славянское слово древнейшей поры, становится невозможным. Для нас, вся эта эпоха, до готской включительно, в ракурсе исторической перспективы сливается в один период, который мы можем назвать прагерманским или праславянским, тем более, что почти все заимствованные в нем германские слова проникли во все славянские языки; иначе говоря — заимствование произошло еще в обще-славянскую или праславянскую эпоху.

Хронологически этот первый период заимствований тянется от неизвестного нам начала до конца IV в. по

Р. Х., т. е. до гибели готского царства в Южной России и передвижения готов на запад и югозапад.

Ему принадлежат едва ли не самые интересные и характерные для всего процесса случаи, ярко обрисовывающие разнообразнейшее влияние германцев на все формы праславянской жизни.

На первый план выдвигаются такие слова, как хижина (древн. хыз, хыжа) и изба (древн. истъба), получившиеся из герм. hūs (нем. Haus) и stuba (нем. Stube)*). По значению, они уже в германском отличаются друг от друга тем, что первое означает вообще жилой дом, а второе специально отапливаемое помещение. Очевидно, славяне научились лишь от германцев строить дома и отапливать их, а до этого жили в землянках и шалапах, подобно тому, как германцы, в свою очередь, научились строить прочные здания из камня — у римлян (см. выше). Одновременно и параллельно с этим был заимствован тын из герм. tûn (нем. Zaun).

В ту же обстановку крестьянского хозяйства вводят нас колодязь (древн. слав. кладязь из герм. kalding, — от kalda-, нем. kalt), котел (герм. katila-, нем. Kessel), блюдо (герм. biuda-) и скот, одно из любопытнейших заимствований этого периода. Соответствующее слово (герм. skatta-, нем. Schatz) во всех германских языках означает деньги, богатство, казну, клад, и только в одном из них, именно древне-фризском (sket) оно значит и скот. С другой стороны, и в славянских языках слово скот имело когда-то значение казны: вспомним Владимирову «скотницу» в Киеве, — не бабу, которая ходит за скотом, а княжеское казнохранилище. Которое из

*) Эти два слова в германском также не имеют ясной этимологии и ведут, вероятно, начало из более древнего источника. Stube обычно объясняют из предполагаемого позднелатинск. extufare (франц. étouffer) от греч. tyfos «дым, пар».

этих двух значений первоначальное, решить трудно; вероятнее всего — более конкретное, т. е. «скот»*). Но для нас это безразлично. Важнее самый факт заимствования. Быть может, новые породы скота или приемы обращения с ним и усовершенствование молочного хозяйства славяне переняли у германцев, тем более, что и молоко (древн. млѣко), повидимому, заимствовано у германцев (meluk-, melka-)**). Возможно, однако, что только способ оценки имущества посредством голов скота был перенят славянами, и вместе с ним перешло к ним и новое слово. Как бы то ни было, в дальнейшей своей истории это слово утратило у германцев значение «скота», а у славян, наоборот, значение «казны», и если вы сравните русское ругательное «скотина», с немецким нежно-ласкательным «mein lieber Schatz», то, вы поймете, как далеко, в течение веков, могут разойтись значения одного и того же слова.

В поле и в сфере земледельческой работы уводят нас плуг и хлеб, доказывая, что и в этой области на славянской жизни сказалось влияние германских призов. Об этих словах была речь уже выше.

Под германским же влиянием развивается и государственная жизнь, военный и торговый быт древнейших славян. На это указывает заимствование таких слов, как князь, (см. выше), меч (готск. mēki), броня (brunjo, нем. Brünne), шлем (герм. helma-, нем. Helm); купить, купля (см. выше), пѣнязь (герм. repninga-, нем. Pfennig) и некоторые другие.

*) Главное богатство первобытного хозяйства заключалось в домашнем скоте, служившем вообще мерилем ценности и заменявшем деньги. Вот почему так часто понятие скота и денег обозначаются одним и тем же словом. Ср. латинск. pecus (скот) и pecunia (деньги); герм. fihu (нем. Vieh), давшее в англ. fee (плата за личную услугу, на-чай), и друг.

**) Это, впрочем, оспаривается некоторыми учеными.

Наконец, укажу еще на заимствование, в том же периоде, слов думать (герм. dōma-, domjan, первоначальное значение которого «судить»), ис-кусить (готск. kausjan, «пробовать, испытывать»), худог, художогий (откуда художник! от герм. прилагательного handaga-, готск. handags, «мудрый, опытный», собственно «умелый, ловкий на руки», так как оно производное от hand «рука»); чужд, чужой (герм. thiuda, древне-нем. diota «народ», откуда прилагат. diutisk, нем. deutsch «народный», затем «немецкий»; вероятно отсюда же древне-русское название финнов чудь); лекарь (герм. lēki) и др. Этих примеров, думается, достаточно для характеристики взаимоотношений славянского и германского миров в эту древнейшую пору.

Перехожу ко второму периоду — варяжскому, оставившему след, главным образом, хотя и не исключительно, на русском языке.

Варяги явились в Россию — по преданию, призванные из-за моря самими славянами и финнами — впервые, как известно, из Швеции, около середины IX века. С этого и начинается «варяжский период» в истории как русской государственности, так и русских заимствованных слов, и продолжается он, приблизительно, до конца XI века, когда этот пришлый элемент, обрусев, уже вполне слился с туземной славянской стихией.

Этому сравнительно краткому периоду Россия обязана, прежде всего, своим наименованием: слово «Русь» произошло из шведского Rods-(lag), названия берегового круга близ нынешнего Стокгольма, откуда пришли первые князья и главная масса их ближайших сподвижников. Само название «варягов», конечно, тоже шведское (vaering, связанный присягой наемник). Вспомним затем перешедшие в русский язык шведские имена первых князей: Юрик, (шведск. Hrurek), Синеус, (Signiut), Трювор (Thorward), ближайших преемников Рюрика: Олега (Helgi), Игоря (Ingvar), княгиню Ольгу (Helga); мно-

жество других князей, княгинь и служилых людей, имена которых сохранились в древне-русской письменности, как Рогволод, Рогнеда, Аскольд, Дир, Форстен, Грим, Фрианд и друг. Перед нами широкий слой шведских имен и слов, державшихся в течение двух-трех столетий, главным образом, в придворной, дружинной среде, но в целом ряде случаев проникавших и в народный язык и державшихся здесь отчасти еще поныне: таковы, наприм., витязь (из шведск. viking), гридень, стяг, ябеда-ябедник. Последнее слово особенно интересно в культурно-историческом смысле: оно происходит от древне-шведского embætti (то-же что и нем. Amt, см. выше), и так назывались первоначально мелкие княжеские чиновники. В развитии значения этого названия ярко отразилось отношение народной массы к ним. Хороши, должно быть, были эти чиновники, собиравшие дань от имени князя.

В эту же эпоху, вероятно, заимствованы мыто (древн.-шведск. muta дань, взятка), полк (шведск. folk, нем. Volk, первоначальное значение которого именно «полк, военный отряд»), хват (древн.-шведск. hvat «смелый»), глум (глумец, глумиться, из древн.-шведск. glaum — веселый шум), кнут (древн.-шведск. knut) и другие.

Если сравнить всю эту «варяжскую» группу заимствований со словами, перенатыми славянами в праславянскую эпоху, то отличие между ними бросится в глаза: варяжское влияние держится более на поверхности, не захватывает народную жизнь так глубоко, как более мирное прагерманское.

Зато, с другой стороны, в варяжскую именно эпоху в скандинавские языки проникают первые славянские слова.

Их немного, что, конечно, понятно: к славянам заходили лишь сравнительно небольшие группы скандинавов — князья со своими дружинниками, заезжие купцы; они

то и приносили с собой на родину эти славянские слова. Постоянного же мирного общения, как на материковой славяно-германской границе, тут не было. Примерами могут служить заимствованные из славянского шведские слова *torg* (торг), *tolk* (толк), *besman* (безмен), *palta* (полотно), *гака* (рак). Многие из этих слов проникли в Скандинавию, однако, не из России, а от прибалтийских поморских славян, с которыми скандинавы также вели оживленные торговые сношения.

Последний период начинается приблизительно с X века и длится до наших дней. Он и временно наиболее длительный, и по существу дал наибольшее количество заимствований самого разнообразного содержания. Характеризуется он немецким влиянием, которое шло к славянам путем торговли, политического и общекультурного воздействия. Временами усиливаясь, оно отложилось в форме как «заимствованных» слов, большей частью, впрочем, еще теперь легко узнаваемых, так и «иностранных». К первому типу принадлежат напр. король (имя Карла Великого, ставшее титулом, см. выше Цезарь), пушка (нем. *Büchse*), рюмка (*Römer-Glas*), рыдван (средн.-век. нем. *ritwagen*; *reiten*, первоначально обозначало вообще «передвигаться»; древн.-нем. *reit* — коляска); кран, винт, дратва (нем. *Draht*), вакса, кастрюля, слесарь и др. Примерами второго типа («иностранных» слов) могут служить галстук, крендель кучер, квартира, контора и множество других. Ими можно было бы заполнить много страниц. Шли они, как уже указано, очень часто через Польшу и приходили в Россию в польской окраске.

Особенно сильная волна таких иностранных слов хлынула на Россию в эпоху Петра, когда коренное преобразование административного, общественного и трудового строя потребовало сознательного введения массы новых выражений и терминов, — не только табели о рангах,

в которой всякие генерал-майоры, адъютанты и лейтенанты, статские, надворные, коллежские советники и ассессоры еще недавно свидетельствовали о влиянии немецкого военного и административного строя на новые формы русского быта.

В библиотеке нашей Академии Наук хранится небольшая тетрадь из 22 листов, носящая заглавие «Лексикон вокабулам новым по алфавиту». Она содержит 503 иностранных слова, с русскими объяснениями, из языка военного (армия, авангардия, артиллерия...), морского (флот, фрегат, адмирал...), административного (губернатор, декрет...), научного (глобус, диспут, история...) и вообще разговорного (асамблея, интерес, комедия, люстра, минута, пардон). Составлен этот список, вероятно, по поручению Петра, и при словах на первые четыре буквы имеется много, большею частью очень удачных, поправок, внесенных рукою самого императора *). Тут шла большая сознательная работа по выработке этой новой терминологии, и если не все, то все-же очень многие из этих слов удержались в обиходе нашей речи.

Но вдаваться в разбор их мы не станем; они в огромном своем большинстве ясны. Затемнены они только тогда, когда, попадая в чисто народную среду, они иногда переделываются на народный лад, коверкаются и подчас меняют свое значение. Так, хорошей аналогией к «ябеднику» варяжского периода может служить «профос»

*) Так, наприм., было написано «Адмиралство — совѣтъ первой офицеровъ флотскихъ и чинъ флотаго хода». Петр зачеркивает и пишет: «Адмиралтейство — собраніе правителей і учредителей флота». Было «амнистіа — безпачаство», Петр исправляет: «забытие погрешений»: Таких примеров много. См. об этом книгу Н. А. Смирнова, Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху (Сборн. отд. р. яз. и сл. Имп. Ак. Наук 88 т.) СПб. 1910.

Петровского времени, — мелкий судебный чиновник, в роде судебного пристава, исполнитель судебных приговоров, в частности при войске: он в народной речи превратился — в прохвоста.

Не менее интересно и важно для литературного русского языка то влияние, которое немецкий язык оказывал на него по содержанию и составу своих слов: в XVIII и XIX веках много русских, ныне общепотребительных слов было образовано по образцу немецких. Видную роль в этом деле с'играл Тредьяковский, владевший недюжинным словотворческим талантом: он создал такие слова, как достоверный (glaubwürdig), естественность (Natürlichkeit), провидение (Vorsehung), чувственность (Sinnlichkeit) и друг. За ним первое место принадлежит Карамзину, бравшему свои образцы, впрочем, часто и из французского языка *).

Возвращаясь к заимствованиям в узком смысле слова, мы должны отметить, что по сравнению с массой немецких слов, попавших в русский язык, славянских слов проникло в немецкий довольно мало, и они гораздо менее яркие и разнообразны по содержанию. Но все-же заимствования и с этой стороны прослеживаются в течение всех веков. Сюда относятся: Dolmetsch (толмач), Droschke, dudeln (дудить), Graupe (крупа), Grenze, Grippe (см. выше), Gurke, Halunke (см. выше), Hetman, Knute, Kretscham (корчма), Nerz (норка), Peitsche (бич), Plinse (блин, блинец), Pogrom, Prahm (паром), Quark (творог), Säbel, Saffian, Schmant и Schmetten (сметана, отсюда и Schmetterling «бабочка»), Schuppenpelz (шуба), Steppe, Zeisig (чижик), Zobel (соболь) и друг.

*) Напр. влияние — influence, развитие — développement, трогательный — touchant, сосредоточить — concentrer и друг.

Этот обмен продолжался и в наши дни и будет, конечно, продолжаться без перерыва. Слова Sowjet, Sowjet-Republik вы прочтете ежедневно в любой немецкой газете, не только в применении к России: сегодня (18 окт.) одна из крупных лейпцигских газет напечатала передовую статью под заглавием «Sowjet-Sachsen».

V. БОРЬБА С ЗАИМСТВОВАННЫМИ СЛОВАМИ

Возможна-ли и нужна-ли вообще борьба с заимствованными словами? Надо-ли избегать их и заменять, по возможности, своими родными? Вопрос может быть поставлен, конечно, лишь о категории слов, которые выше названы «иностранными», т. е. которые еще чувствуются чужими. Заимствованные же в узком смысле, окончательно укрепившиеся в новом языке и вполне слившиеся с его составом, никоим образом изъять быть не могут.

В самом деле, слова генерал, солдат, театр, пожалуй еще могли бы быть заменены русскими. Но чем заменить и как перевести избу, лук, князя, без насилия над языком?

Однако, и в этих с'уженных рамках на поставленный вопрос трудно ответить сколько-нибудь решительно; да едва-ли объективное решение вообще возможно. Отношение к иностранным словам разное в различных слоях народа и областях; меняется оно, как мы видели, и во времени: одна эпоха принимает чужие слова без протеста, даже щеголяет ими, другая, более «национально» настроенная, избегает их и даже ведет с ними борьбу. Наконец, различно и индивидуальное отношение к этому вопросу, в зависимости от большей или меньшей чистоты к чистоте родной речи. Бывают, конечно, крайности, против которых протестует самое элементарное «чувство

языка»: среди берлинских россиян вас могут спросить «Вы уже анмельдовались на полицейспрезидиуме?»

Но отделить допустимое резкой чертой от недопустимого в этой области чрезвычайно трудно. Если мы спросим крупных писателей, авторитетнейших судей в этом вопросе, обладающих наиболее верным чутьем к родному языку, то ответ получится, в общем, скорее в пользу иностранных слов. Так, Пушкин, в письме к кн. Вяземскому, хвалит его за то, что он «заступился явно за галлицизмы». В этом же смысле неоднократно высказывался Гете (особенно резко в письме к Римеру от 30 июня 1813 г.), и Шиллер смеется над «пуристами», рьяно стремящимися очистить немецкий язык от всех иностранных слов. Но совершенно ясно, что все эти суждения направлены лишь против крайностей: надо помнить, что названные поэты сознательнее и успешнее многих других трудились над выработкой чистоты и правильности речи.

Отношение к иностранным словам зависит от личного такта писателя и гибкости его собственной речи. В истории немецкого языка крупнейшим словотворческим гением был, несомненно, Мартин Лютер: в его переводе священного писания встречаются всего два явно иностранных слова, притом такие, которые он, кажется, легко мог заменить чисто немецкими: именно *disputiren* и *Musika*, наряду с некоторыми другими, стоящими уже на границе «заимствованных», в роде *Psalter*, *Arche*, *Sekte*. Язык же Лютера, как известно, лег в основу дальнейшего развития немецкого литературного языка вообще.

Когда в XVI и XVII веках, как мы видели, в язык высших классов немецкого общества, а затем и в широкие круги народа массами стали проникать иностранные слова, то вскоре началась реакция и сознательная борьба против них. В XVII в. основываются общества с специальной целью организовать эту борьбу, и как ни смеш-

ны некоторые из предложенных ими замен *), все-же этому движению обязаны своим происхождением многие слова-переводы, которые теперь окончательно упрочились в языке, как напр.: *Blumenstrauss*, *Bücherei*, *Mundart*, *Statthalter*, вместо господствовавших до этого *Bouquet*, *Bibliothek*, *Dialekt*, *Gouverneur*, которые совсем или почти совсем исчезли из современного языка. Работу эту в XVIII и XIX веках продолжают писатели (Лессинг, Клопшток) и ученые с переменным успехом **). Вмешиваются в дело ученые общества и правительство. Франко-прусская война 1870 — 71 г. усилила это движение. Знаменитый преобразователь германского почтового дела Стефан ввел в 1874 г. теперь уже общепотребительные термины *eingeschrieben* (вместо *recommandiert*), *postlagernd* (*poste-restante*), *Fahrschein* и *Fahrkarte* (*Billet*) и друг. Наконец, в 1885 г. был основан общенемецкий союз (*Allgemeiner Deutscher Sprachverein*), покрывший всю Германию сетью отделов и сосредоточивший в своих руках все стремления к очистке немецкого языка от иностранных слов.

На Руси борьба с ними велась менее рьяно. До Петра над этим вопросом у нас вообще, кажется, не задумывались, тем более, что в письменности господствовал почти исключительно церковно-славянский, т. е., строго говоря, чужой язык. Ломоносов первый указал на права рус-

*) Вместо *Nase*, которое ошибочно понималось как иностранное слово (в виду латинск. *nasus*) предлагалось «*Gesichtserker*», причем не заметили, что *Erker* (балкон) само заимствовано в XII в. из франц. *arquiere* (бойница). Вместо *Fenster* предложено было говорить *Tageleuchter* и т. д.

**) Особенные заслуги приобрел в этом отношении некий *Campe* в конце XVIII в. Ему принадлежат такие слова, как *Haft* (*Arrest*), *Zeitrechnung* (*Chronologie*), *Entwurf* (*Konzept*), *Freistaat* (*Republik*) и много других. Но именно против него направлена 152-ая ксения Гете и Шиллера, иронически спрашивающих его, каким немецким словом заменить «*Pedant*».

ского языка (в своем рассуждении «О пользе книг церковных») и построил на этом свое учение о трех стилях. Но против «славянизмов» прямой борьбы не поднималось; они в большом количестве — хотя и меньшем, чем раньше, — еще теперь живы в русском языке, особенно в языке поэтическом, тогда как проза постепенно очищается от них. Это — процесс нормальный, протекающий без скачков и насилий.

Иначе — более страстно — велась борьба с иностранными словами, пришедшими с запада. Уже заглавие открывшей этот поход статьи А. Сумарокова «об истреблении иностранных слов в российском языке» свидетельствует об этом.

И тут также не обошлось без курьезов. Адмирал Шишков, президент нашей Академии и министр народного просвещения, в своем «Рассуждении о старом и новом слоге» (1803 г.) предлагал, напр., говорить доблестные (вм. героизм), тихогромы (фортепиано), баснословие (мифология), лицедей, (актер), — некоторые из этих слов мы и теперь еще употребляем, хотя бы в шутку. Вл. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» предлагает говорить книжница вм. библиотека, ловкосилие вм. гимнастика, побудка вм. инстинкт. К этой же категории курьезных замен принадлежат и пресловутые мокроступы — галоши, не знаю, кем впервые предложенные. Но наряду с этим та же работа велась с большим тактом и большим успехом напр., Тредьяковским, Карамзиным и другими. Продолжается она и поныне — тихо, бесшумно — в творчестве наших писателей, и только этим путем наш язык постепенно очищается от ненужных иностранных слов. Удачное нововведение всегда проложит себе путь к живому обиходу речи и войдет в оборот ее. Этим, и только этим определяется его ценность. Всякое же насилие более вредно, чем полезно. Живой организм языка не выносит операций, производимых извне. Внесение в него

иностранных слов, — это своего рода прививка, но не болезнетворных ядов, а живительных соков, которые укрепляют его и делают его более способным к участию в общечеловеческой культурной работе. Если этих соков в него попадет слишком много и они окажутся лишними, то он справится с ними сам, не при помощи вмешательства извне, а при содействии своих авторитетных писателей.

Им, а не теоретикам и «пуристам» мы должны доверить заботу о чистоте и красоте родной речи.

Проф. Георг Штейндорф
ГРОБНИЦА ФАРАОНА ТУТЕНХАМУНА

*Перевод с рукописи *)*

Еще в древности отец истории Геродот много и с увлечением говорил об Египте, столь богатом, по его словам, всякого рода чудесами, едва поддающимися описанию; страна эта и по настоящее время осталась в глазах всего мира страной чудес.

Но не только искусные сооружения над поверхностью земли, гигантские пирамиды, грандиозные храмы, гробницы, украшенные росписью и рельефами, все снова возбуждают наше удивление и говорят нам о высоких технических и художественных достижениях древних обитателей Нильской долины много тысячелетий тому назад: быть может, в еще большей мере нас сейчас поражают те чудеса, которые ежегодно извлекаются археологами из почти неисчерпаемых недр египетской земли.

Одна из самых замечательных находок была сделана прошлой зимой, — находка, имеющая в истории

*) Редакция считает долгом выразить искреннюю признательность издательству «Times» за предоставление ей права воспроизведения рисунков 2, 5, 6 и 7, а также автору статьи, профессору Штейндорфу, давшему ей из своей коллекции рисунки 1, 3 и 4.

археологических открытий мало себе подобных. В ноябре 1922 года английскому исследователю Говарду Картеру удалось, благодаря его неутомимому упорству и верному научному чутью, найти в Верхнем Египте, на западном берегу Нила, против нынешнего Луксора, в одинокой скалистой долине, называемой арабами Бибан-эль-мулук, нетронутую с древних времен и неповрежденную могилу фараона Тутенхамуна, чрезвычайно богато убранную всевозможными предметами. Правда, об этом открытии так протрубили по всему свету, как, кажется, никогда еще раньше в подобных случаях: газеты и журналы в течение целых месяцев не переставали описывать и иллюстрировать на своих страницах мельчайшие подробности этой находки, и сразу Тутенхамун был превращен в историческую знаменитость, о которой должен был знать каждый образованный человек, и значение которой, казалось, превосходило значение всех известных до тех пор египетских фараонов. Но у хладнокровного и здорового наблюдателя не могли не явиться сомнения, не слишком-ли преувеличены все эти известия, и действительно-ли вновь открытый клад фараона обладает тем большим художественным и культурно-историческим значением, которое приписывают ему репутные репортеры. В самом деле, кое какие научные надежды, вызванные первыми газетными известиями об этой находке, при проверке не оправдались. Так, например, сообщалось, что в могиле найден ящик со свертками папируса, в которых можно было предполагать важнейшие исторические и религиозно-исторические записи, быть может, какие-нибудь документальные сведения о преобразованиях в египетском религиозном культе, введенных при фараоне Тутенхамуне, или даже подробный отчет о важнейших событиях его царствования,

подобный тому, какой мы имеем от одного из его позднейших преемников, Рамзеса III (ок. 1280 г. до Р. Х.), в виде обширного папируса, хранящегося в Британском музее в Лондоне. К сожалению, потом оказалось, что никаких покрытых письменах листов папируса в могиле найдено не было, и что ящик, в котором их предполагали, не содержал ничего другого, кроме пожелтевших кусков полотна. Но если в будущем такие разочарования и будут еще повторяться, все же в настоящее время даже при строжайшей критике можно сказать, что клад Тутенхамуна принадлежит к наиболее ценным находкам, подаренным нам недрами египетской земли, и что те предметы, которые извлечены уже из могилы и частью переправлены в музей в Каире, по численности и по разнообразию своему, а многие и по красоте и новизне формы, превосходят все, что до сих пор было найдено в гробницах фараонов. Научный объективный отчет до сих пор еще не опубликован. Передо мною лежит более сотни газетных вырезов и иллюстраций, из которых большая часть появилась в «Times». Они принадлежат отчасти Говарду Картеру, счастливому находчику, и лорду Карнарвону (Earl of Carnarvon), по поручению и на средства которого Картер производил эти раскопки; отчасти их научным сотрудникам, египтологам Джеймсу Брестэд (James H. Breasted) из Чикаго, Алану Гардинер (Alan Gardiner) из Лондона, А. Мэсу (A. C. Mace) из Нью-Йорка (Metropolitan Museum), Жану Капар (Jean Capart) из Брюсселя и другим; отчасти же они обязаны своим происхождением чрезмерно ревностному и более чем фантастическому перу репортеров, присутствовавших при извлечении найденных ценностей из могилы. Эти, как хорошо можно себе представить, весьма разноценные сообщения дают уже теперь о гробнице и ее содержимом довольно ясную картину, которую,

правда, во многих частностях придется еще исправить и дополнить, потому что подземные помещения будут окончательно очищены и исследованы лишь ближайшей зимой. Но раньше, чем давать читателю эту картину, я хочу предпослать ей несколько замечаний об устройстве и изучении египетских царских гробниц в Фивах, а также краткие исторические сведения о фараоне Тутенхамуне и его эпохе. Только имея эти сведения, можно составить себе правильное суждение о значении вновь открытой гробницы и ее богатого содержимого.

★

Классической формой древне-египетской царской гробницы является пирамида. Но и она постепенно развивалась в течение многих столетий из более примитивных начальных форм, и потребовалось немало промежуточных ступеней, прежде, чем около 2900 г. до Р. Х. фараон Снофру создал первую настоящую пирамиду, а преемник его Хеопс — знаменитую большую пирамиду в Гизе (близ Каира). В каменном грунте под мощным массивом пирамиды, а часто и внутри ее находилась сравнительно маленькая камера, куда вела косая шахта или несколько проходных помещений; в этой камере устанавливался гроб усопшего властелина. Чтобы дать некоторое понятие о величине пирамид и о тех технических трудностях, которые представляла их постройка, скажу, что большая Хеопсова пирамида имела высоту в 147 метров при ширине около 230 метров, и что для ее постройки потребовалось около 2.300.000 камней объемом приблизительно в 1,10 куб. м., которые приходилось высекать на противоположном западном берегу Нила и оттуда на плотах перевозить через реку, а затем по пустынной рав-

нине доставлять к месту постройки. Внутренние помещения пирамиды, которые после торжественных похорон фараона делались недоступными, первоначально были — как и в Хеопсовой пирамиде — лишены всяких украшений; лишь около 2650 года до Р. Х. их начали украшать надписями, которые носят исключительно религиозный характер и говорят о потусторонней жизни умершего, — его восхождении на небо, встречах с враждебными и дружественными демонами и т. п. Однако, не из одной только пирамиды состояла египетская царская гробница древнего периода. К каждой пирамиде примыкал еще храм, посвященный культу умершего владыки и строившийся впереди пирамиды, с восточной ее стороны. Большая часть этих святилищ, воздвигнутых из тесаных камней, превратилась в развалины, и потому им не уделяли того научного внимания, которого они заслуживают на самом деле; лишь раскопки двух последних десятилетий, производившиеся до мировой войны, главным образом, немцами, познакомили нас с этими широко раскинутыми сооружениями и показали, что это были постройки, едва ли уступавшие по своей грандиозности самим пирамидам. Почти 1½ тысячелетия пирамиды оставались типичною формою египетских царских могил. Правда, их размеры постепенно становились все меньше, и могущественные цари, занимавшие трон фараонов в первые века второго тысячелетия до Р. Х., знаменитые Сесострис и Аменемес (2000 — 1788 г.г. до Р. Х.) удовлетворились довольно скромными пирамидами, выстроенными уже не из тесаных камней, а из кирпича, и пслучившими лишь внешнюю облицовку из камней. Сосредоточивать все силы страны на постройке будущей могилы фараона, как в эпоху Хеопса и его преемников, оказывалось теперь невозможным.

Когда около 1600 г. до Р. Х., после периода государственного распада и двухсотлетнего владычества иноземцев, египетское государство было снова восстановлено, столица его была перенесена в верхне-египетские Фивы. И тут, на западном берегу Нила, первые фараоны Нового Царства воздвигли себе свои маленькие кирпичные пирамиды с примыкающими к ним часовнями. При Тутмосисе I (1540 — 1500 г. до Р. Х.) наступает, однако, резкая перемена в устройстве царской гробницы. Вместо пирамиды этот фараон повелел высечь для себя могилу в отдаленной котловине Ливийской пустыни. Один из современников его хвастался тем, что он видел, «как в уединенной скале сооружали могилу Его Величеству, никто другой этого не видал, никто об этом не знал». Гробница была не велика: она состояла из четырехугольного переднего помещения, куда спускалась крутая лестница, — и откуда уже вторая лестница вела в камеру со столбами, предназначавшуюся для гроба владыки. Какие причины побудили Тутмосиса I порвать со старой традицией, по которой могилу фараона должна была быть пирамида с храмом, — в настоящее время решить нелегко. Предполагали, что постройка больших пирамид на крутых ливийских высотах около Фив была задачей, не посильной даже высокому уменью египетских архитекторов и что столь гордый фараон, как Тутмосис, не хотел удовлетвориться, подобно своим предшественникам, маленькой кирпичной пирамидой. Гораздо более вероятным является, однако, предположение, что Тутмосис избрал местом своей могилы трудно доступную пустыню по соображениям безопасности, т. е. прежние царские могилы в Фивах, расположенные в непосредственной близости к плодородной земле и ее поселениям, подвергались слишком большой опасности со стороны

алчного местного населения. К тому же, по близости нельзя было найти более величественного места, чем окруженная отвесными стенами котловина, над которой, подобно созданному самою природой надгробному памятнику, поднимался к небу пирамидообразный горный массив. (См. рис. 1 и 2). Для полагавшегося при царской могиле жертвенного храма не было, конечно, места в тесной котловине; поэтому строители оказались вынужденными отделить его от могилы и вынести, в виде самостоятельной постройки, на узкую пустынную полосу, отделявшую плодородную местность от крутых горных склонов. О том, какие шедевры строительного искусства были здесь созданы лучшими архитекторами Нового Царства для воздания почестей покоящимся в Бибан-эль-мулуке фараонам, свидетельствуют нам и по сие время развалины храма в Дер-эль-бахари, святилища Сета в Гурне, Рамесея и большого храма в Мединет-Хабу. Но и самые гробницы вскоре начали принимать большие размеры. Если горная могила Тутмосиса I была еще сравнительно мала, то уже могила его сына Тутмосиса III была несравненно величественнее и содержала, кроме ведущих вниз ходов и лестниц, подземный зал и большое помещение для гроба; к этому помещению примыкали еще камеры для вещей, дававшихся с собой умершему. Но особенно больших размеров достигли могилы фараонов во времена 19 и 20 династий, при Сете, Рамзесе II и их преемниках, когда в скалах проводились глубокие ходы и корридоры, а число подземных помещений и зал было увеличено. Так, гробница Сета I имеет длину не менее 100 метров и состоит из пяти больших, поддерживаемых колоннами, зал, стены которых покрыты великолепными изображениями и надписями религиозного содержания. Как могли древние скульпторы при слабом мерцании ма-

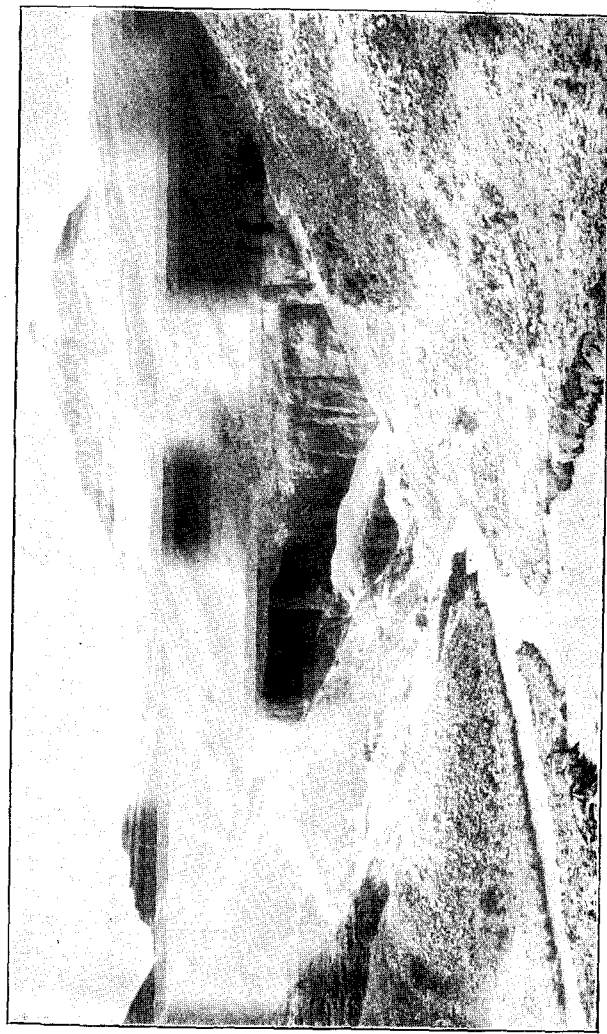


Рис. 1. Вход в долину царей, в которой находятся усыпальницы фараонов 2-й половины II тысячелетия до Р. X.

ленькой масляной лампочки и в душном, жарком воздухе высеченных в скале камер создать эти тонкие барельефы— остается для нас непонятной тайной. После погребения фараона, могила тщательно закрывалась, а вход в нее заваливался мусором, песком и камнями так, что он делался незаметным. Но если рассчитывали уберечь этим царскую могилу раз на всегда от нападений, то жестоко ошибались: слишком многие работали над ее созданием и знали таинственное место, в котором она находилась, слишком многие принимали участие в похоронном торжестве и видели, сколько золота, серебра и драгоценностей было дано с собою фараону в его последнюю обитель. Несмотря на все предосторожности, слишком часто бывало так, что вскоре после смерти властителя гробница его оказывалась взломанной, содержимое ее перерытым и наиболее ценное похищенным. Особенно учащались эти воровства и попытки взломов на отдаленном пустынном кладбище во времена политической слабости, когда власти оказывались бессильными, и полиция, которой была поручена охрана царских усыпальниц, не выполняла своих обязанностей. Наконец, власти были вынуждены отказаться от защиты наиболее угрожаемых могил и ограничиться спасением царских мумий; часть их была уже повреждена и их пришлось, насколько это оказывалось возможным, приводить в порядок. Таким образом, мумии фараонов Тутмосиса IV, Аменофиса III и некоторые другие, всех 9, были перенесены в более сохрannую гробницу фараона Аменофиса II, и там снова похоронены. Здесь они, действительно, и остались нетронутыми до настоящего времени, и здесь их недавно и нашли. Хуже была судьба, постигшая другие царские мумии: так, например, мумию великого Рамзеса II перенесли в могилу его отца Сета I; когда и этой могиле грозило

разорение, ее перенесли в могилу Аменофиса I; наконец положение стало настолько ненадежным, что решились изъять все известные в то время царские мумии из гробниц уединенного кладбища в пустыне и поместить их в трудно доступном горном ущельи недалеко от храма Дерель-бахари, на краю нильской долины. Страх перед воровскими шайками был так велик, что даже мумии царствовавшей в то время (около 1000 г. до Р. Х.) династии были вынуты из их гробниц и спрятаны вместе с мумиями прежних династий, чтобы охранить их от осквернения. Таким образом, величайшие египетские фараоны, как создатель египетского мирового могущества Тутмосе III, Сет I, Рамзес II и III, почти три тысячелетия покоились в том горном ущельи вместе со своими слабыми преемниками. Около 1875 года старое убежище было вновь открыто современными грабителями — искателями старинных кладов — и разорение мумий фараонов началось снова. Лишь в 1881 г., благодаря энергичным мероприятиям египетских властей, удалось выследить воров и вырвать у них строго хранимую ими тайну. Чиновники египетского государственного Управления древностями проникли в шахту и извлекли оттуда все мумии фараонов, которым с тех пор было отведено, правда, не слишком почетное место в музее в Каире. Все уцелевшие в гробницах вещи были помещены там же. Таким образом, и древним могилам фараонов пришлось испытать превратности судьбы.

★

Уже в поздний период древности, когда греческие и римские путешественники посещали долину Нила и осматривали интересовавшие их остатки прошлого, царские могилы в Бибан-эль-мулуке принадлежали к тем па-

Перепечатка воспроизведена

„The Times“ World copyright

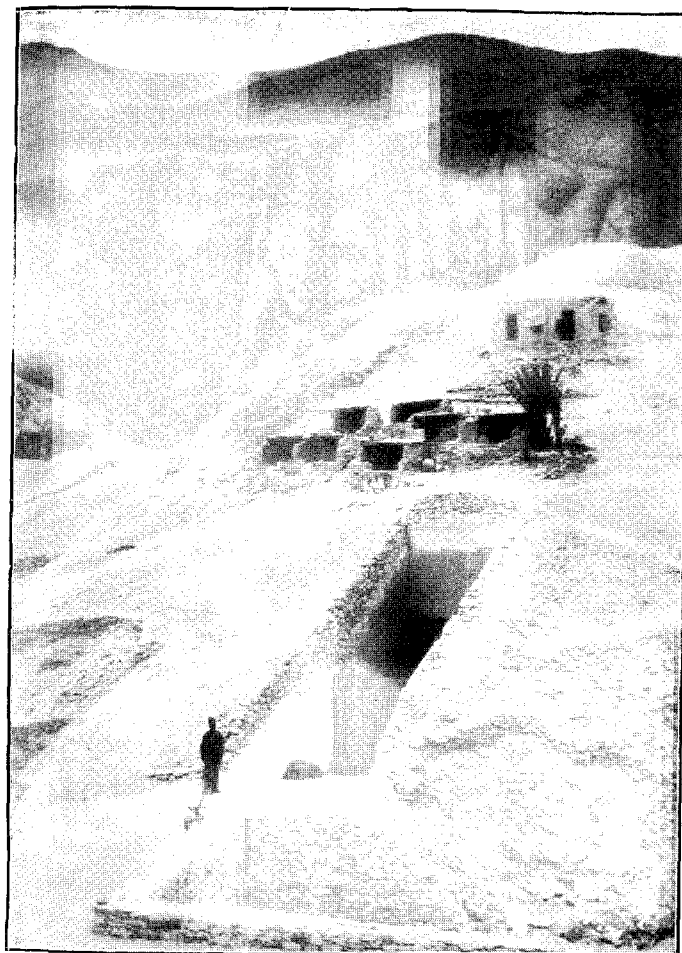


Рис. 2. Долина царей. Внизу вход в гробницу Тутенхамуна; над ним закрытый решеткой вход в гробницу Рамзеса VI

мятникам старины, которые, как колоссы Мемнона в Фивах, нельзя было не посмотреть. Их называли «сирингами», обозначая их тем же термином, как и «трубки» пастушьей свирели (syrinx), которым уподобляли длинные подземные ходы (см. рис. 4). Страбон, путешествовавший по Египту в эпоху императора Августа, знал не менее сорока «пещер», высеченных в скалах и по своему изумительному устройству заслуживающих осмотра. Когда, в 1800 году, Фивы посетили ученые французской экспедиции Наполеона Бонапарте, то было установлено еще 11 царских гробниц. В 1817 году итальянец Бельцони снова взялся за исследование котловины в Бибан-эль-мудуке, и ему удалось открыть и раскопать целый ряд царских могил, между прочим, великолепную, упомянутую уже выше усыпальницу Сета I со всеми относящимися к ней постройками. Результатом этих работ удовлетворились на многие годы. И лишь находка скрытых в Дар-эль-бахари царских мумий снова пробудила жажду новых открытий. Работу по розысканию гробниц фараонов начало в 90-х годах прошлого столетия египетское Управление древностями, и ему посчастливилось найти много могил, между прочим, первую заложенную здесь могилу Тутмосиса I и могилу Аменофиса II с укрытыми в ней мумиями других фараонов (см. выше). С немалым успехом продолжал эти работы богатый американец Теодор Дэвис (Davis). Ему и его помощникам мы обязаны, например, открытием гробниц Тейе, супруги Аменофиса III (см. рис. 3) и ее родителей, которые были почти нетронуты; из них удалось извлечь не только драгоценные гробы усопших, но и большое количество старинных вещей, чрезвычайно ценных для истории искусства и перевезенных в музей в Каир. Около 60 могил фараонов и членов царских семейств, а также некоторых важных сановников, удостоенных вы-

сокой чести погребения на царском кладбище, было уже найдено, причем удалось установить усыпальницы почти всех фараонов от 18 до 20 династий, охватывавших период времени от 1300 по 1100 г. г. до Р. Х., — когда Дэвис, который уже несколько последних лет вел раскопки без достойных упоминания результатов, в 1913 году прекратил работу. Надежда найти еще новые могилы казалась ничтожно малой, труды же и расходы были очень велики. Несмотря на это, страстный поклонник египетского искусства и владелец одной из лучших частных египетских коллекций в Англии, лорд Карнарвон, решил попытаться еще счастья в «долине царей» и поручил раскопки опытному английскому археологу Говарду Картеру, который уже с 1907 года безуспешно копал для него на западном берегу Нила около Фив, а раньше принимал участие в исследованиях Дэвиса на кладбище фараонов. Семь лет проработал Картер в Бибан-эль-мулуке, перевернув, как говорят, от 50 до 70 тысяч тонн мусора и камней, — без желанного результата. Но ни он, ни лорд Карнарвон не падали духом. Наконец, в ноябре 1922 года, Картер наткнулся непосредственно под великолепной и столь посещаемой туристами гробницей Рамзеса VI, так называемой гробницей Мемнона, на каменные ступени и дальше на вход в царскую усыпальницу (см. рис. 2). Терпеливая работа исследователя, наконец, увенчалась успехом. Лорд Карнарвон был вызван телеграммой из Англии, собрались местные власти и газетные репортеры, и 29-го ноября официально была вскрыта могила, оказавшаяся усыпальницей фараона Тутенхамуна. При дальнейшем исследовании обнаружилось, что и эта могила вскоре после смерти фараона была вскрыта грабителями; они ее перерыли, взяли наиболее драгоценные из золо-

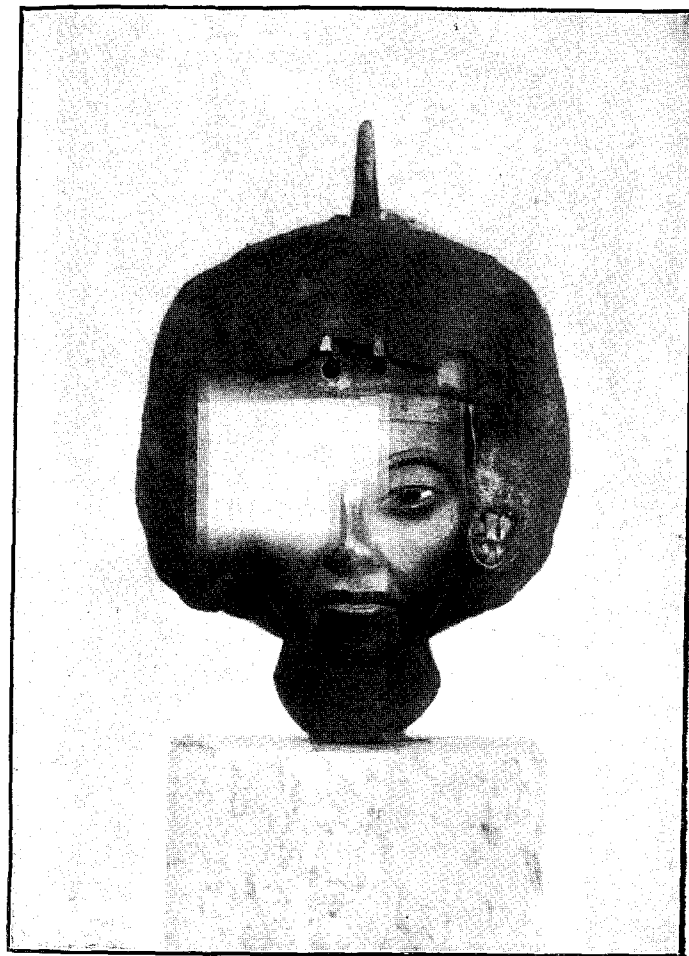


Рис. 3. Портретный бюст царицы Тейе, матери Аменофиса IV (перв. полов. XIV в. до Р. Х.)

тых и серебряных вещей, но существенного вреда причинить не успели. Взлом был обнаружен, власти привели усыпальницу в порядок, снова закрыли ее и запечатали. Около 1150 года Рамзес VI повелел высечь себе гробницу в скале над мавзолеем Тутенхамуна; массы мусора, щебня и камней, получившиеся при этой работе, засыпали вход в более древнюю гробницу и сделали ее недоступной. Это счастливое обстоятельство и спасло усыпальницу Тутенхамуна от вторжения воров и охраняло покой древнего фараона по настоящее время.

★

Кто был Тутенхамун, и что мы знаем о царствовании и эпохе этого фараона, который оказался вдруг в центре всеобщего интереса и превратился почти в всемирную знаменитость? Еще полгода тому назад имя это было известно только узкому кругу специалистов, работавших по древнему Египту; и в самом деле, древне-египетские памятники дают лишь самые скудные сведения о личности этого властителя. Первоначально его звали Тутенхатон, что обыкновенно, но едва-ли правильно, переводят как «Живое изображение Атона». Значение этого имени точнее передадут слова: «Чудесной жизнью владеет Атон». Он был одним из самых верных приверженцев знаменитого царя-еретика Аменофиса IV или, — как он позже назвал себя — Эхнатона, который около 1375 года направил египетскую религию на новые пути и вместо старых богов ввел поклонение единому божеству, солнцу, по египетски Атону. Около нынешнего Эль-Амарна, на полпути между древними столицами Фивами и Мемфисом, Аменофис построил себе новую резиденцию «солнечную гору Атона», где он, вдали от всех воспоми-

наний о прошлом, хотел всецело посвятить себя своему новому богу. Здесь, в Эль-Амарна, и вырос Тутенхатон. Был ли он царской крови (некоторые считают его сводным братом царя-еретика) — вопрос далеко еще нерешенный. Во всяком случае, он был близок царскому дому, и Эхнатон так его любил, что дал ему в супругу одну из своих шести дочерей по имени Эхесенатон («она живет Атоном»). Это единственный достоверный факт из жизни Тутенхатона до его восшествия на престол. Новая религия Эхнатона не надолго пережила своего основателя, и желание ее верных приверженцев, чтобы она была жива, пока «лебедь не станет черным и ворон белым, пока горы не сдвинутся с мест и вода не потечет вверх» — не сбылось. Когда Эхнатон, после почти 25 летнего царствования, отошел в вечность, он оставил по себе только несколько дочерей, из которых две были замужем. Ему наследовал старший зять, который, однако, занимал трон лишь очень короткое время. После этого власть перешла к мужу второй дочери, Тутенхатону. Быть может, еще до его вступления на престол началось сильное движение против новой религии; новый царь не мог и не хотел противиться ему; он порвал с учением Аменхота IV — Эхнатона и вернулся к старой, «истинной» вере. Эту перемену вероисповедания он отметил и внешним образом, отказавшись от своего прежнего имени, прославлявшего Атона, и назвав себя Тутэнхамуном, чем он показал, что ставит себя под защиту Амуна, царя богов, против которого, главным образом, и была направлена религия царя-еретика. К этому имени он прибавил еще титул: «умиротворивший снова богов», выразив этим желание вернуть милость и других оскорбленных богов. И более того: солнечная резиденция Эль-Амарна была покинута, и двор опять переведен в старую столицу — Фивы.



Рис. 4. Внутреннее устройство царских гробниц: корридор, ведущий в усыпальницу Рамзеса IV (в глубине виден гроб)

Здесь и во всей стране снова были открыты запертые храмы Амуна и других богов, запущенный культ снова восстановлен, оскорбленному жречеству возвращены сан и права: церковный мир опять был водворен, большой храм в честь Амуна в Луксоре, постройка которого была начата еще Аменофисом III, закончен вчерне архитекторами Тутенхамуна, и на стенах его, в длинном ряде рельефов, была представлена торжественная процессия во время перенесения изображения Амуна из большого храма в Карнаке в новое святилище в Луксоре. Но простым возвратом к старой вере не удовлетворились. Беспощадно, — так же как велась и борьба царя-еретика против Амуна и старых богов, изгонялось теперь всякое воспоминание о нем. Его имя и его изображения уничтожались всюду, где их только можно было найти, из списков фараонов его вычеркнули, и если о нем и упоминали в тех случаях, где без этого нельзя было обойтись, то только как о «преступнике из Эль-Амарна», не называя его имени. Амун одержал победу над Атоном; «твой город, Амун,» читаем мы в одном из гимнов — «возвышается, а тот, который посягнул на тебя, низвергнут; святилище того, который дерзнул выступить против тебя, повергнуто во мрак».

Дело контр-реформации, предпринятое Тутенхамуном против религии его тестя, он сам прославил в надписи, по счастливой случайности, сохранившейся до нашего времени. Здесь он называет себя своим полным титулом: «возлюбленный Амуна-Ра, властителя Карнака (Фивы), (бога) Атума, властителя обеих стран (т. е. Египта), находящегося в Гелиополисе, (возлюбленный) Хора (бога солнца), живущего в горизонте, (бога) Пта, живущего к югу от его стены, властителя Мемфиса, и Тота (греческого Гермеса), властителя божествен-

ных слов». Далее он говорит о себе, что «души в Гелиополисе (это полу-боги древнейшего Египта) соединились для того, чтобы создать его, чтобы сотворить фараона на веки, Хора, вечно живущего, мудрого властителя, созидającego полезное для своих отцов, для всех богов». Затем Тутенхамун хвастается восстановлением старой религии — «что он возродил снова все, что было разрушено из памятников вечности, что он грех (подразумевается еретический культ Атона) изгнал из обеих стран... Истина вечна, ложь же отвратительна. Страна (опять) та же, как в древнейшую старину». И он продолжает рисовать то печальное состояние, в котором находилась страна при его восшествии на престол, не упоминая, конечно, о том, каким горячим поклонником еретической веры был он сам. «Когда на Его Величество возлагали корону фараона, все храмы богов и богинь от Элефантины (у южной границы Египта) до болот дельты (на севере) были в разрушении, их святилищ как будто никогда не бывало, их храмы были как улицы. Боги повернулись спиной к нашей стране; если посылали солдат в Финикию, чтобы расширить границы Египта, то ничего не достигали, если зывали к какому-нибудь богу, чтобы испросить у него что-либо, он не приходил, если зывали к богине, то (и) она не приходила; ибо их сердца были разгневаны. Когда прошли долгие дни, явился царь (подразумевается Тутенхамун) на троне своих отцов; он владел всеми уделами Хора, черная и красная земля (Египет и пустыня) были ему подвластны, все страны склонялись перед его могуществом. И когда Его Величество находился в своем дворце, лежащем в округе храма фараона Тутмосиса I (в Фивах), как бог солнца на небе, он строил планы для этой страны; Его Величество совещался с сердцем своим, стараясь сделать приятное отцу своему Аму-ну, и создал его чудный образ из чистого золота. Он сде-

лал больше того, что было сделано раньше: ибо он создал для отца своего Амуна роскошное изображение из золота, ляпис-лазули, малахита и всевозможных драгоценных камней, на 13-ти пестях для переноски». Такое же изображение Тутенхамун повелел изготовить для бога Пта, покровителя древнейшей столицы Мемфис, чтобы вернуть милость и этого могущественного божества. «Его Величество создал памятники для всех богов, повелев сделать их изображения из настоящего золота, лучшего в мире, построив вновь их святилища, памятники вечности, введя для них постоянные жертвоприношения для каждого дня, сделав их пищу на земле обильной. К тому, что было раньше, он прибавил еще. Он ввел жрецов и священнослужителей из детей знатных каждого города, их доходы он безмерно увеличил золотом, серебром, бронзой и медью. Хранилища (богов) он наполнил рабами и рабынями — своей военной добычей. Не было границы всему добру. Барки, которые были на реке, Его Величество перестроил (для богов) из нового хвойного дерева, самого лучшего на всех горах, выложил их самым лучшим золотом чужих стран, так что они освещали реку. Его Величество посвятил рабов, рабынь, певиц и танцовщиц (храмовому культу)». Неудивительно поэтому, что «сердца богов и богинь радовались в этой стране», что «властители святилищ ликовали, что страны были полны веселья и благополучия, и что руки богов поднесли (фараону) полную чашу жизни и наслаждения» в благодарность за его благочестие и доброту.

Этим самовосхвалением фараона исчерпывается то, что мы фактически знаем о царствовании Тутенхамуна. Из памятников его времени сохранилась еще гробница правителя Нубии Аменхотепа или, как его кратко называли, Гея, на стенах которой яркими красками изобра-

жено, как этот высокий сановник передает своему властелину богатые подати, собранные в подчиненных Египту странах, Сирии и Судане, для двора фараона в Фивах: драгоценные колесницы, роскошные золотые и серебряные сосуды, своеобразные украшения для обеденных столов и т. д. Если и нельзя признать в сокровищах, извлеченных из могилы Тутенхамуна, те самые, которые изображены в могиле Аменхотепа, то все-же несомненно, что они изготовлены с помощью тех огромных богатств, которые в то время притекали в Египет.

Не желая ограничиваться этими немногими исторически достоверными сведениями о Тутенхамуне, ввиду его богатого могильного клада, неоднократно пытались сделать из него более сенсационную историческую личность. Так, например, утверждали, что он никто иной, как упоминаемый в Библии фараон, при котором совершился выход израильтян из Египта. Правда, фараон этот, преследуя евреев, погиб в Черном море со всеми воинами и конями; но полагали, что потом труп его был найден, тщательно набальзамирован и торжественно похоронен в Фивах, со всей подобавшей ему роскошью. Для подобного сопоставления нет ни малейшего основания, даже если принять библейский рассказ о выходе евреев из Египта и уничтожении египетского войска за историческую правду, а не за легенду.

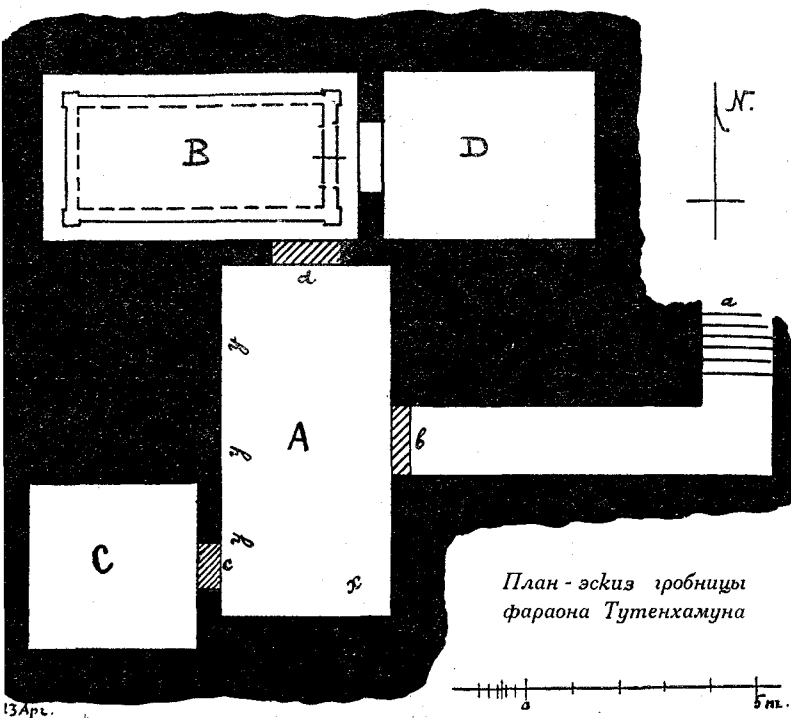
В скалистой восточной горе «солнечного горизонта» Эль-Амарна еретик Аменофис повелел соорудить для себя и для своей семьи могилу и разукрасить ее рельефами. Здесь он и был похоронен, но покоя в могиле он не нашел. Когда разразилась буря против созданной им религии, могила его была взломана, и похороненные там тела осквернены. Когда вслед за тем столица была снова перенесена в Фивы, некоторые верные — воз-

можно, что в том числе был и сам Тутенхамун — взяла к себе роскошный гроб фараона, части могильных придач царицы Нюфрететы и царицы-матери, а, может быть, и самую мумию фараона, и тайно перевезли их в Фивы, чтобы скрыть их там на царском кладбище в Бибан-эль-мулуке, в отдельной гробнице. Там и были найдены несколько лет тому назад эти печальные остатки ненавистной фамилии. В Бибан-эль-мулуке же повелел высечь себе могилу вернувшийся в Фивы и помирившийся со старыми богами фараон. Является ли открытая теперь гробница его первоначальной могилой, это остается нерешенным вопросом, к которому мы еще вернемся.



Гробница Тутенхамуна сравнительно мала (см. план-эскиз стр. 338). Она состоит лишь из двух более обширных помещений — передней комнаты (А) и собственно усыпальницы (В); к ним примыкают еще два маленьких, предназначенных для погребальных придач, помещения, которые в английских отчетах обозначены как «Аппехе» (С) и «Treasure House» (D) и которые, соответственно, коротко назову «камерой» (С) и «сокровищницей» (D). В гробнице совершенно отсутствуют длинные, далеко проникающие в скалы коридоры и залы, которые мы находим во многих более древних могилах фараонов и которые столь характерны для могил фараонов последующего времени (рис. 4). Передняя комната и усыпальница прямоугольны и имеют приблизительно одинаковую площадь: $7\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ м. Соседняя камера квадратная, длиною в $3\frac{1}{2}$ метра; пол ее, как и пол усыпальницы, опущен на 1 метр ниже уровня передней комнаты. Сокровищница также прямоугольная, несколько больших

размеров: $3\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ метра. Вход в эти подземные помещения с северной стороны (а). Здесь со дна долины ведут вниз несколько ступеней к отходящему под прямым углом подземному ходу, имеющему длину в 8 м. и опус-



кающемуся ко входу (b) в переднюю комнату. Последний был наглухо замурован и снабжен печатью Тутенхамуна и кладбищенского управления того времени. В нижней части этой двери оказалась небольшая

Перепечатка воспрещается

„The Times“ World copyright

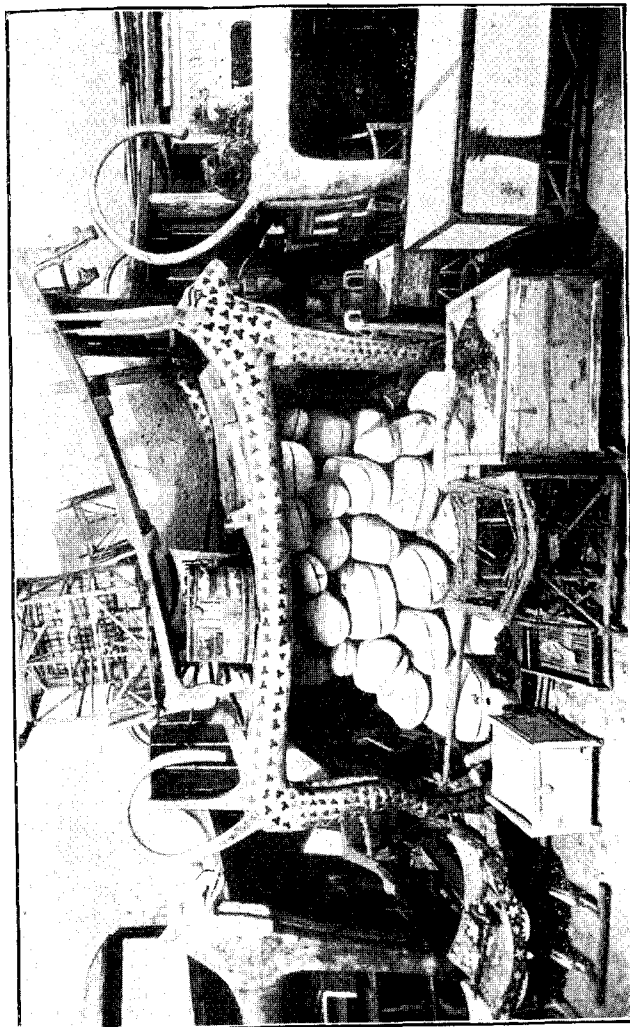


Рис. 5. Западная стена передней комнаты гробницы Тутенхамуна в том виде, в каком она была найдена при вскрытии

дыра; в нее пролезли воры, которые нанесли короткий визит могиле немного лет спустя после смерти Тутенхамуна, — как можно предполагать, во время царствования его второго преемника, фараона Харемхаба. Такое же отверстие было проделано и в замуравленной двери (с), ведущей из передней комнаты в соседнюю камеру. Оба эти помещения были перерыты в поисках золота и серебра. Но, повидимому, это был уже не первый взлом, которому подверглась богато убранная могила фараона: первоначально внутренние двери (b, c, d) были, вероятно, открыты; затем в могилу проникли воры; их занятию помешали или, может быть, они были пойманы; власти привели пострадавшие помещения в некоторый порядок и, чтобы помешать дальнейшим грабежам, велели замуравить двери и снова засыпать главный вход в могилу. Несмотря на эти предосторожности, более поздние грабители все-таки сумели проложить себе дорогу к гробнице.

Передняя комната (A), соседняя камера (C) и сокровищница (D) при вскрытии оказались заваленными драгоценностями всякого рода, большей частью в хаотическом беспорядке и многое поломано — в таком виде, в каком все было брошено ворами. Налево от двери, в углу, обозначенном на плане буквою х, сложены были части беговых колесниц (одной или нескольких); рядом стоял небольшой резной шкаф-храмик. Противоположная входу западная стена (у-у) была заставлена тремя большими кроватями (см. рис. 5). Бока одной из них (первой слева) представляют двух сказочных зверей, четвероногих с львиными лапами и головами гиппопотамов, в широко раскрытой пасти которых видны зубы из слоновой кости и также выточенный из слоновой кости и покрашенный в розовый цвет язык. Второе ложе поддерживается пят-

нистыми коровами, священными животными богини Хатор, несущими между своими рогами диск солнца. Третье ложе поддерживается львами. На ложах нагромождены всевозможные предметы — кровать, стулья, ящики; под ними — множество деревянных ящиков, наполненных кусками бальзамированного мяса для того, чтобы усопший фараон в загробной жизни не испытывал голода; спереди — тоже ящики и складной стул с ножками из головок уток.

У северной стены, справа и слева от замуравленной двери (d) в усыпальницу Тутенхамуна, стояли и по настоящее время стоят в своем первоначальном положении две статуи фараона в естественную величину, охраняя вход в священное помещение (см. рис. 6). Они вырезаны из дерева и покрыты черным асфальтом. В одной руке фараон держит эмблему своего сана — булаву, в другой — длинный скипетр, как во время жертвоприношения. Лицо обрамлено платком, заложеным складками и принадлежащим к царскому одеянию; вокруг лба обвивается священная ядовитая змея, составляющая необходимую принадлежность наряда фараона. Глаза вставные и сделаны из золота и драгоценных камней. Позолоченное украшение на груди, золотые браслеты на кисти рук и выше локтя и позолоченные сандалии завершают одежду фараона. Около правой статуи стояли в углу большие букеты из цветов, которые несли во время похоронной процессии, а также роскошный ларь.

Главное помещение гробницы, которое было открыто позднее, после осторожного и тщательного удаления замуравленной двери (см. рис. 6), есть собственно усыпальница (B). Она в то же время единственное помещение, стены которого украшены надписями и изображениями; все они исключительно религиозного содержания.

Перепечатка воспроизведена

"The Times" World copyright

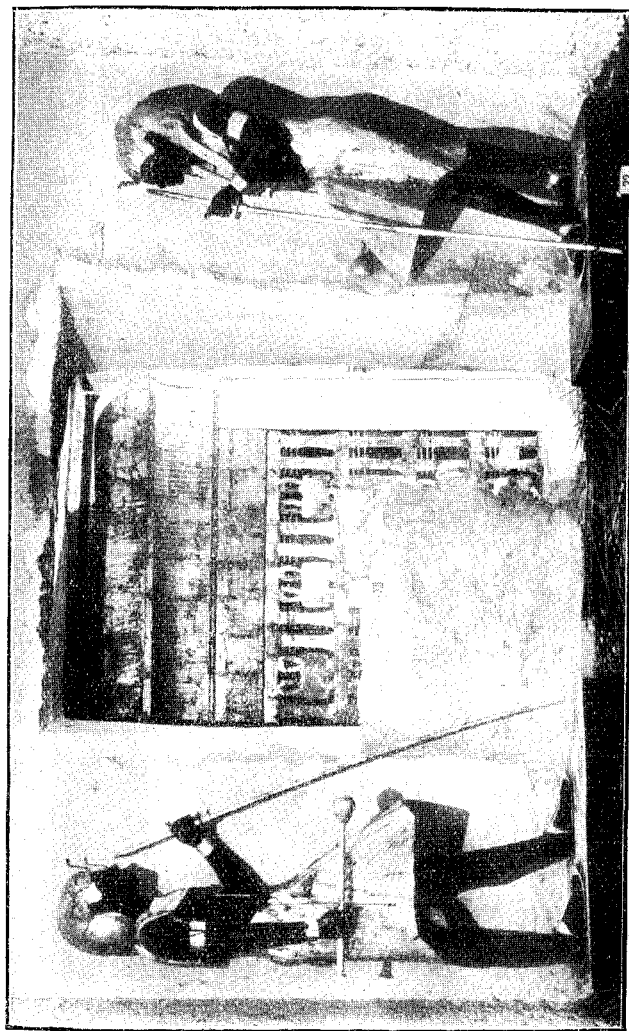


Рис. 6. Вход в недоследованную усыпальницу Тутенхамуна

В это помещение вделан деревянный храмик, который его совсем заполняет, оставляя только узкий проход вдоль каменных стен. Наружные стены храма богато позолочены и украшены фаянсовыми инкрустациями ярко синего цвета. Стены завершаются паверху выемкой, за которой идет фриз из змей и египетское изображение неба; последнее как-бы охраняет этот храмик. Всю широкую поверхность продольных стен обрамляют полосы иероглифов с подробным титулом фараона. Самые стены сделаны из ажурной резьбы и представляют ряды символов бога Озириса и богини Изиды, которые, подобно амулетам, должны обеспечить усопшему фараону в загробной жизни всевозможные блага. В этом храмике, дверь которого находится с восточной стороны, против входа в сокровищницу, заключается еще второй, а в этом, возможно, еще и третий, или даже и четвертый храмик. Самый внутренний содержит саркофаг фараона с его мумией, покой которой пока еще остается ненарушенным.

★

Богатство погребальных придал всякого рода, оставленных в могиле, совсем не соответствует небольшим размерам помещений, и трудно представить себе, как можно было разместить в порядке при похоронах фараона всю эту мебель, лари, ящики и сосуды. Поэтому явилось предположение, что весь этот могильный клад первоначально был помещен не здесь, но что фараон, вместе со всем своим имуществом, был сначала похоронен в другом месте и лишь позднее был переведен сюда. В 1908 году в Бибан-эль-мулуке найдена царская могила, в которой был похоронен упомянутый выше второй преемник Ту-

тенхамуна, фараон Харемхаб. Она состоит из подземного корридора длиною более ста метров и нескольких зал; в последней из них стоял сделанный из красного гранита и украшенный великолепными надписями и изображениями саркофаг фараона. Гробница, как и большинство других царских гробниц, была совершенно опустошена и из погребальных придач почти ничего не было найдено. Харемхаб, при царе-еретике и родственник ему преемникам, был главнокомандующим египетскими войсками. Он жил в Мемфисе и там же заказал себе на кладбище могилу, великолепные рельефы которой, рассеянные в настоящее время по музеям всей Европы, представляют нам его, как верного слугу своих властителей. Но при Тутенхамуне и его преемнике Эйе долго жданный страной мир все-таки не наступил, и правверное жречество продолжало относиться без настоящего доверия к фараонам — родственникам царя-еретика, и когда после смерти Эйе не оказалось наследника мужского пола, Харемхаб, опираясь на свою военную власть и покровительствуемый жрецами, захватил престол. Все, что Тутенхамун сделал для примирения с обиженными богами и их земными слугами, он приписал себе; в надписях, прославлявших его предшественника, он велел стереть имя его и поставить свое. В виду такого образа действий, вполне возможно, что он пожелал взять для себя и ту большую могилу, в которой был похоронен Тутенхамун, потому что, как фараон, и он также должен был быть похоронен в своей столице — Фивах. Он велел приготовить для Тутенхамуна старую, неиспользованную гробницу и перенести в нее мумию фараона вместе с его храниками и всеми погребальными придами, мало заботясь о том, найдут ли там все эти предметы достойное место. Доказать, что Харемхаб поступил

именно так, нельзя; но с известным основанием можно предполагать, что события развернулись приблизительно так, как это было здесь изложено.

Значительная часть клада Тутенхамуна уже извлечена из его гробницы и размещена в египетском государственном музее в Каире. Я не могу здесь дать подробного описания всей этой мебели, лож, стульев, кресел, ларей и ящиков, колесниц, оружия и палок, многочисленных каменных и глиняных сосудов, одежды, украшений, букетов и всевозможных других даров, которые, по древнему обычаю, были даны с собою усопшему фараону, чтобы обеспечить ему в загробной жизни возможно более счастливое существование. О ложах и больших статуях Тутенхамуна я уже говорил. Укажу еще на некоторые особенно замечательные предметы. К ним относится резной деревянный трон фараона, покрытый тонким слоем золота и украшенный львиными головами; спинка его покрыта великолепно исполненным барельефом, изображающим фараона, сидящего на корточках и протягивающего руку стоящей рядом царице. Фигуры царской четы сделаны из непрозрачного красного стекла, одежда царицы — из серебра, корона ее — из какой-то массы голубого цвета; стоящие рядом с нею на столике цветы выложены цветными камнями. Над царской четой — солнечный диск, лучи которого оканчиваются руками. Это — Атон в таком виде, как его почитал Аменофис IV-Эхнатон в Эль-Амарне, как единое божество. Изображение это ясно показывает, что трон был сооружен в то время, когда Тутенхамун был еще предан еретической вере своего тестя. Это подтверждается также и тем, что на руч-

ках трона можно прочесть первоначальное имя фараона Тут-энх-атон, выложенное стеклом и цветными камнями, в то время, как в других местах трона, на золоте, вырезано уже его позднейшее правоверное имя: Тут-энх-амун. Из царских сидений заслуживают еще упоминания несколько низких деревянных кресел (на резных боковых стенках одного из них изображены растения, составляющие герб верхнего и нижнего Египта, лилия и папирус, сплетенные вокруг гиероглифического знака, обозначающего «соединять»), а также видный на рис. 5 складной стул с ножками из утиных головок, украшенный черным деревом и слоновою костью; его деревянное сидение отделано в виде пятнистой шкуры пантеры.

Великолепен один деревянный и ярко раскрашенный ларь для одежды с выпуклой крышкой. На узких боках этого ящика изображен властелин в виде льва с головою фараона, т. е. в виде сфинкса, который своими лапами придавливает лежащих на земле враждебных негров; на других сторонах ящика он представлен победителем в сражении, настигающим в боевой колеснице, увлекаемой скачущими конями, бегущего врага; крышка украшена охотничьими картинами. Прекрасно выполненные охотничьи сцены мы находим и на маленьком ящике из слоновой кости: в одной фараон представлен во время охоты на львов, во второй — во время охоты на различных зверей пустыни: диких ослов, антилоп, страусов и гиену.

Из большого числа каменных и глиняных сосудов укажу на причудливый сосуд из алебаstra с подставкой; ручки этого сосуда образуют упомянутые уже выше растения верхне- и нижнеегипетского герба; сам продолговатый сосуд напоминает гиероглифический знак «соединять», и, таким образом, весь кувшин символически пред-

ставляет герб объединенных при Тутенхамуне областей Египта.

Очень многочисленны найденные в ящиках остатки одежды, некоторые из гладкого полотна, другие с ткаными, чрезвычайно красивыми, узорами. На многих из них нанесены орнаменты из золота, нашиты гладкие круглые пластинки и другие украшения. На жреческом одеянии, которое, быть может, носил Тутенхамун в качестве верховного жреца, изображена очень тонко сделанная голова пантеры, на другой одежде нашито имя фараона, причем изображающие его гиероглифические знаки — солнце, жук и корзина — сделаны из золота, ляпис-лазули и сердолика. Панцырь, который, вероятно, при жизни носил фараон, состоит из грушеобразных золотых частей, выложенных фаянсом; украшение на груди изображает, как бог Хор с головою сокола подводит фараона к его покровителю, богу Амуну. Великолепны башмаки, вышитые разноцветным бисером, и сандалии, пряжка которой украшена орнаментом из цветов и утиных головок, сделанным из золота и цветных камней. Все эти одежды сравнительно малы, и отсюда вывели заключение, что фараон был небольшого роста и еще очень молод, лет 17-ти — 18-ти, когда постигла его смерть. Я думаю, что это заключение слишком смело: египтяне в этом возрасте вполне взрослые. Гораздо вероятнее предположить, что, следуя какому-то обычаю, фараону положили в могилу ту одежду, которую он когда-то носил в детстве, и которую свято хранили.

С точки зрения истории религии интересна статуэтка Тутенхамуна, изображающая его усопшим; на передней стороне ее имеется запрещенная религией Эль-Амарна формула, касающаяся работ, которые нужно выполнить усопшему на полях загробной жизни. В небольшом, приблизительно 60-ти сантиметров длины, деревянном ящике

великоленной резьбы с позолотой найдено основание какой-то статуетки; самая фигура отсутствует: по всей вероятности, она была сделана из благородного металла и похищена ворами при разграблении могилы.

Первоклассным художественным произведением является деревянный портретный бюст без рук, в естественную величину, с тонко отделанными позолоченным головным убором (см. рис. 7). В этом бюсте склонны были видеть своего рода манекен, употреблявшийся для примерки царских одежд. Насколько несомненно, что это предположение не верно, настолько по имеющимся фотографиям трудно решить, должен-ли этот бюст изображать царя или царицу; можно также предположить, что это бюст бога Амуна, к которому подошел бы своеобразный, плотно прилегающий головной убор; возможно, что художник придал ему черты фараона.

Уже эти немногие художественные произведения, выбранные мною из числа тех, которые найдены в первой комнате, показывают, какой богатый клад был положен в могилу фараона. Когда же в течение будущей зимы будут исследованы камера (С) и нетронутая ворами сокровищница (D), количество драгоценностей всякого рода, без сомнения, сильно увеличится. Уже теперь хвалят найденный в сокровищнице ящик, содержащий сосуды с балзамированными внутренностями фараона и украшенный реликолепными рельефными изображениями. Если последние и не стоят на одном уровне с высшими достижениями классического искусства, и, тем более не превосходят их, как сообщалось в порыве первого увлечения, то вероятно они все же будут причислены к лучшим творениям египетского искусства.

Очень незначительна находка содержательных надписей. Кроме надписей на дверных печатях и на раз-

Перепечатка воспрещается

„The Times“ World copyright



Рис 7. Деревянный бюст Тутенхамуна, выносимый рабочими из гробницы

личных предметах, содержащих, большей частью, лишь имя фараона и его супруги с фразистыми дополнениями, важны только написанные курсивным шрифтом отметки на кувшинах для вина и ящиках. На кувшинах указано, как на наших винных этикетках, сорт вина и год его изготовления. На одном из ящиков написано, что «он содержит боковой локон Его Величества, (который он послал) еще ребенком, затем бритвы, зонды (?) и алебастровые сосуды». И здесь фараону положили в могилу нечто, связанное с его детством. Надпись на крышке второго ящика указывает на то, что он содержит различную одежду из тонкого полотна, а на третьем помечено: «серебряный кувшин для воды и шесть серебряных кружек для молока». Если бы могильные воры не тронули этих ящиков, приведенные надписи послужили бы филологам важным вспомогательным средством для точного установления неизвестных еще названий предметов египетского домашнего обихода.

*

Вероятно, всем известно, что лорд Карнарвон, который провел работы по вскрытию гробницы вместе со своим помощником Говардом Картером, вскоре после этого открытия был укушен ядовитым насекомым и умер от последствий заражения крови. Не задумываясь, его стали обвинять в оскорблении могилы, и не одни только оккультисты, спириты и прочие фантазеры считали, что его трагическая смерть была возмездием за нарушение могильного покоя фараона; он пал будто-бы жертвой древнего проклятия. Говорили о том, что уже и прежних исследователей, касавшихся египетских мумий, постигала подобная же, или еще худшая, участь. Все эти рассказы, конечно, лишены основания; они или выдуманы от начала

до конца, или совершенно исказили действительные факты и не стоят того, чтобы их серьезно опровергать. Исследователь древности, в интересах своей науки, не может пройти мимо могил прошлого; они ему дают лучшее и самое ценное вспомогательное средство для уразумения истории человечества; он будет рассматривать их и обращаться с ними с благоговением, и тихое, отдаленное от шума и сенсации вскрытие и исследование гробницы Тутенхамуна больше почтито бы счастливых находчиков, чем площадный шум газетных похвал всего мира.

★

Открытие могилы Тутенхамуна было названо величайшим археологическим открытием, когда-либо сделанным в Египте. С такими превосходными степенями нужно быть осторожнее, чтобы подобными преувеличениями не вызвать необходимости сравнений и, в конце концов, пожалуй, даже пониженной оценки новой находки. Не будем забывать, — чтобы ограничиться лишь несколькими примерами из столь богатой неожиданными открытиями истории раскопок в Египте, — ни о грандиозном открытии Серапеума в Мемфисе, могильника священных быков Аписов, удавшемся французцу Огюсту Мариетту в 1851 году и давшем множество драгоценных древностей, в особенности надписей чрезвычайно важных для истории; ни о счастливой находке царских мумий в Дер-эль-бахари со всеми их придами в 1881 году, — находке, которая, как было уже указано выше, стоит в тесной исторической связи с историей царского кладбища в Бибан-эль-мулуке и могилы Тутенхамуна. Вспомним далее, — чтобы упомянуть и

о более новых открытиях, — о находке золотого клада в Дашуре (около Каира), посчастливившейся тогдашнему главному директору египетских древностей де-Моргану (1894 — 1895 г. г.) и давшей такое обилие украшений редкой красоты, которые и сейчас относятся к самым ценным сокровищам музея в Каире; или об открытии Легрена в большом храме Амуна в Карнаке (Фивах), когда из одной и той же шахты были извлечены сотни статуй разных эпох и, между ними, экземпляры величайшего исторического значения; или, наконец, о находке немецкого Общества Востоковедения (Deutsche Orientgesellschaft) в пределах города Эль-Амарна, которая подарила нам прекраснейшие произведения египетской пластики. В самом деле, каждое из этих археологических открытий имело большое значение для истории культуры и искусств и ни об одной из них нельзя сказать, что она была ценнее других. Вместе с ними и рядом с ними — пока существует наука о древности — могильный клад Тутенхамуна сохранит свое место, и, побеждая все национальные перегородки, наука всегда будет глубоко благодарна имевшим такой большой успех исследователям, Говарду Картеру и покойному лорду Карнарвону *).

*) Проф. Штейндорф обещал редакции написать для «Беседы» дополнительную статью о гробнице Тутенхамуна, как только выяснятся результаты исследования ее, которое предполагается закончить наступающей зимой. Редакция

Франц Эллэнс

МОРАЛЬНОЕ И УМСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ БЕЛЬГИИ

Перевод с рукописи

I

Я хочу чистосердечно изложить в этом очерке современные духовные течения в Бельгии такими, какими они рисуются или начинают рисоваться. Я сделаю это по возможности в соответствии с той жаждой внутреннего, духовного реализма, которая ощущается сейчас во всем мире, даже у мистиков, и в которой не все имеют мужество сознаться. Необходимо сбросить тесную маску, в которую облекла наше лицо война, и помнить о минувшей трагедии лишь постольку, поскольку она потрясла человеческие умы. Я знаю многих, чьи лица покрылись ныне глубокими морщинами, а души закалились в этой попытке и обрели новую молодость. Подобные им должны оказаться и во всей Европе. Здесь нельзя учитывать государственную победу или поражение. Лишь победа и поражение Человека должны играть некую роль.

На чем мы остановились? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернуться ко времени начала 1914 года. В этот период умственная Бельгия находилась в состоянии дремоты; подобное состояние продолжалось, пока на-

конец резкий толчок не пробудил ее к жизни. Нужен был вулканический дым, застывший наши небеса, нужна была извергающаяся лава, начавшая нас обжигать, чтобы убедить нас в недоброкачественности нашего оптимизма и в летаргическом характере нашего сна. Великие политические волнения Европы, подготовлявшие войну, не доходили до нас. Мы были заняты нашими умственными течениями, которые понемногу начинали проявляться то тут, то там, правда, по дилетантски, ибо все мы плавали в довольстве, словно собутыльники одного нескончаемого ужина во время кофе и ликеров. Ничто нас действительно не волновало, ничто не приводило в восторг. Политика наша носила местный, провинциальный характер, и не принимала во внимание наущений иностранных государств. Материальное благополучие было конечной целью всех стремлений даже тогда, когда борьба происходила на духовной почве.

В общем Бельгия не давала себе труда подняться выше своих границ и увидеть закипавшее повсюду движение. Опыт, произведенный королем Леопольдом с Конго окончательно не удался. От этого опыта наиболее дерзкие умы ожидали многого; он должен был доказать, что предприимчивый дух бельгийцев прежних времен еще не окончательно испарился. Истина же оказалась в том, что мы не захотели выходить из своего дома. Мы предпочитали буржуазные балы — рискованным переходам, спорт на воздухе — экспедициям в неведомые земли, и рыбу ловили удочкой, а не гарпуном...

Я не преувеличиваю. Таково было состояние сознания большинства бельгийцев в ту эпоху. Тихим, спокойным шагом продвигались они по двадцать километров в час и души моих соотечественников меньше всего походили на динамо-машинны; скорее всего, на хорошо выверенные часы прекрасной фирмы. Изредка на этой тесной и глухой земле рождались предприимчивые люди, но они окружали себя стеной личного разочарования и през-

рения к миру. Самые сильные из них уходили за пограничный столб и более уже не возвращались.

Мы были нейтральны в политике. Но в интимной жизни мы были кое чем похуже. Если правительственная опека не возмущала нас, не был ли этот факт с точки зрения правственности уже доказательством нашего домогательства, нашего размягченного, слишком земного, характера, не реагирующего ни на какие порывы, ни на какие, неведомо откуда пришедшие, электрические токи? Маленькие буржуа в своих тупых гостинных? Нет, не совсем, ибо, надо сознаться, наш народ ни в верхах, ни в низах, никогда не был против работы. Но я порицаю именно род работ того времени: труд без вдохновения, без возвышенной цели, осторожный, размеренный труд; в лучшем случае, труд электрика, сохраняющего на руках изоляционные перчатки, даже находясь в безопасности.

На самом деле Бельгия страна техников и ученых, и мыслящая часть ее, несмотря ни на что, хранит печать того позитивного и механического мышления, которое движет людьми подчас умственно ограниченными. Взгляните, например, на нашего величайшего историка, Анри Пиренна, и попытайтесь в его трудах найти некую гармоничность. Попытайтесь найти в его творчестве определенную «атмосферу», тот чистый воздух, в котором мысль приобретает захватывающую силу. Сравните это воплощение науки с воплощением Тэна, — несмотря на все его ошибки, — или Лампрехта, чья школа воспитала нашего историка. Труды Пиренна свидетельствуют о знании им ремесла архитектора, об его инженерной точности. Общая культура у него, как и у большинства его соотечественников, находится на посредственной высоте. И вы ни у него, ни у других, не найдете, тех плодотворных эстетизма и реализма, которые столь свойственны европейским ученым и писателям.

За несколько лет до войны в некоторых, как политических, так и литературных, кругах ошутилась необходи-

мость доказать и определить существование «души Бельгии». Необходимо предупредить, что эти попытки не носили никакой националистической окраски. В мыслях инициаторов было противостоять распространенному убеждению, будто Бельгия состоит из двух несливаемых национальностей, которые ничем не могут быть спаяны, кроме как некоторыми общими экономическими интересами. Труды Пиренна послужили опорой защитникам «души Бельгии», и Эдмонд Пикар, юрист и общественный деятель, стал их советчиком и поверенным. Много чернил было пролито и много слов произнесено по этому поводу. Однако каждому свободомыслящему было ясно, что результат этой пропаганды, — проводившейся, признаюсь, с большим жаром, — должен будет еще более усугубить духовную буржуазность Бельгии. В самом деле, нельзя не сказать, что именно борьба наших двух разумных сущностей — латинской и германской, — поддерживала в Бельгии ту атмосферу, в которой могли дышать и двигаться настоящие интеллекты, и которая позволяла некоторым наиболее смелым осуществлять их личные стремления. Это принуждает нас заглянуть выше, подняться на ту башню, откуда взору представляются различные страны и цивилизации, которые нам легко будет обнять.

Убеждение в существовании некой «души Бельгии» роковым образом привело к ложной идее родины, возникшей от взаимных уступок, вне истинной связи, при которой индивидуальные тяготения скоро бы ступевались. Если бы в самом деле существовала эта «душа Бельгии», не нужно было бы столь упорно доказывать ее существование. Однако миф этот не выдержал испытания войны, как я покажу в дальнейшем.

В 1910 году появилась книга, льстившая самолюбию многих бельгийцев. Это работа Шаррю, «Современная Бельгия — опытное поле». Правда, она нанесла довольно жестокий удар изобретателям некой хи-

мической смеси, предназначенной для соединения наших двух национальностей в одну, ибо она доказывала историческую раз'единенность фламандцев и валлонов, постоянное существование лингвистической вражды, «единство правил приличия» этих двух, политически объединенных, областей и бессилие правительства создать единое общее отечество. Она указывала на особенности этих двух народов: фламандец — упрям, терпелив, груб; валлон — уступчив, весел, гибкого ума. Часть книги, которую большинством было принято хвалить была та, в которой автор представлял Бельгию в виде огромной социальной лаборатории. Однако, он сделал только то, что воспользовался, иллюстрируя их, мыслями Элиза Реклю, называвшего Бельгию «опытным полем Европы». Мне не хотелось бы ни останавливаться здесь на этом предмете, ни оспаривать убеждений автора. Справедливо, как я уже сказал, то, что наш народ техников и ученых, во все времена предавался постоянному труду: работе на заводах, в лабораториях, которую за границей должно быть не раз благословляли. Но не менее бесспорно и то, что до войны наиболее деятельным людям не хватало предприимчивости. Всякая работа, как бы ни была она плодотворна, протекала в четырех стенах; люди накаплили ценности, пользовались результатами работы, как муравьи в муравейнике, и мало было действительно смелых движений, могущих открыто опрокинуть существовавшую стену, проникнуть на волю, согласовать свой труд с искусством, т. е. встать выше своих материальных интересов.

Начиная с 1890 года, Ф. Нотэ, пытаясь дать верную картину усилий, приложенных группой «Молодой Бельгии», (куда с самого начала входили такие писатели, как Метерлиник, Верхари, Демольдер, Жиро, Экхунд), к тому, чтобы стряхнуть с бельгийской публики апатию по отношению ко всякому новому художественному или литературному начинанию, справедливо писал, что бельгиец скорее обзаведется хорошим винным погребом, наполненным

лучшими измышлениями Бургундии и Бордо, и полкой превосходных сигар всевозможных марок, чем библиотекой из лучших авторов.

Чтобы подвести итог, скажу, что уровень интеллигентности в Бельгии до войны был весьма убог. Не считая небольшого числа одиноко стоящих людей, взаимно не общавшихся, ученые и техники являли собой людей позитивно настроенных, мало проницательных, трудолюбивых, но относящихся с поверхностным любопытством ко всему, что непосредственно не касалось их специальности. «Опытное поле»; — что же, пусть так! в некотором смысле социального устройства Бельгия несомненно им была. Но с точки зрения чистой духовности, страна более напоминала голую равнину, над которой изредка взлетали летчики мысли и мимо которой пролетала европейская мысль, без того, чтобы ее пригласили спуститься.

II

Теперь посмотрим, как проявилась мыслящая сущность Бельгии в трагические годы, когда она лишняя раз стала «бранным полем Европы». Поверхностному взгляду иностранца покажется, что национальное чувство ожило в течении этого времени, когда обе нации были в одинаковых мундирах призваны под одно знамя, для борьбы с одним и тем же врагом одними и теми же средствами. В самом начале военных действий, по взятии Льежа, разве не писал г. Дюмон-Вильден о том, что знаменитая «Душа Бельгии» родилась в этом первом соединении, при котором получилась искра? Каких только глупостей не писалось тогда, в общей горячке, в припадке упомощательства, которым была одержима Европа! Последующие обстоятельства, наоборот, должны были решительно доказать, что более чем когда либо двойственность наша сказалась во время войны. Я не буду гово-

рить о тех, что были под ружьем: стадо ведомое на бойню испускает подобное блеяние. Но те, что оставались в занятых неприятелем областях, те, что ушли в другие места, повсюду подтверждали свои почтенные достоинства и недостатки. Оставим в стороне проявления патриотизма, организованные в союзных странах; бельгийцы, участвовавшие в этих комических торжествах, могли бы подумать, что над ними насмеваются, ибо эти самые французы и англичане, присуждавшие им награды за патриотизм, никогда до этого не интересовались ими. Что касается людей, испытавших тяготы оккупации, то они не отказались ни от одного из своих довоенных убеждений, и потому понятно, что сущность их не могла глубоко измениться. Вы думаете, что великое движение «активистов», начавшееся среди валлонов, а так же фламандцев, могло быть возможным, если бы мыслящая часть народа не оставалась раз'единенной в вопросах языка, что является знаком расового различия? Теперь доказано, что война и оккупация лишь глубже провели черту, разделяющую эти два народа. До 1914 года находилось некоторое количество свободомыслящих, открыто требовавших административного раздела Фландрии и Валлона; депутат Дестре стал одним из самых ярых поборников этого. Став после перемирия министром короля, он естественно изменил свое убеждение, но да будет позволено сказать, что защитников административного разделения стало куда больше, чем раньше. Если они не смеют открыто высказаться, то только потому, что боятся быть обвиненными в «активизме», т. е. в наибольшем преступлении, которое может быть совершено в Бельгии, в настоящее время, конечно, с точки зрения правительства.

С самого момента подписания мира в 1918 г., мало осведомленные личности, лишенные способности размышлять, могли поверить в сильный взрыв национализма в Бельгии. Победа помогла созданию партии, назвавшей себя «Комитетом Национальной Политики», чье поведение

чуть чуть не сыграло довольно скверный шутки со всей страной. Уже во время оккупации эта группа псевдо-патриотов составила целую воинственную программу. Дело шло не меньше как о том, чтобы выслать победное войско для занятия некоторых областей Голландии, признанных ими за «спорные». К счастью, здравый смысл народа одержал верх над этим неистовством, и армия, будучи в крайнем изнеможении, ни в чем не проявила такой поспешности, как в том, что бы побросать оружие и вернуться к своим очагам. Однако это не обезоружило империалистов «Комитета Национальной Политики», который с этих пор все свои надежды направил на будущие выборы в законодательные учреждения. Пользуясь полосой упадка, последовавшей вслед за перемирием, члены этого Комитета предались необузданный пропаганде; стены домов они залепили афишами, изображавшими Бельгию, обездоленную Голландией, требующую себе Лимбург, как истинно-бельгийскую территорию; они выставляли географические карты, на которых «спорные» области были окрашены в кроваво-красную краску. Их поражение при выборах было полным. С трудом провели они одного единственного депутата, да и того «с благодарностью освободили» от должности при следующем же голосовании.

Фиумского стиля авантюра «Комитета Национальной Политики», окончившаяся столь глупо, достаточно ясно доказывает, что Бельгии претит всякая националистическая политика; она хочет оставаться свободной от внутренней опеки теперь, когда она наконец освободилась от опеки общеевропейской. Однако не следует заключать из моих слов, что внутренняя политика в стране отмечена в данное время полной свободой и по отношению к самой Бельгии, и по отношению к загранице. К сожалению справедливо обратное. Если бесспорно, что никакая националистическая партия не может восторжествовать в Бельгии, и что никогда не будет этой возможности, из за различия между валлонами и фламандцами, во первых, и по

причине нашей всеобщей ненависти ко всякому принуждению, ко всякой официальнойности, ко всему что носит на себе след позы и позолоты, во вторых, одним словом, — по причине нашей реалистической природы; если это бесспорно, как я сказал, то не менее бесспорно и то, что во внутренней политике в настоящее время хозяйничают люди странного уместного склада, царящего как в левых политических группах, так и в правых.

После перемирия началась лихорадка различных процессов; разоблачения шли своим порядком, всюду видели «активизм», предатели родины встречались на всех углах; было организовано всеобщее избиение, лишь бы напасть на дичь достойную виселицы, на тех, кто проповедовал пораженчество во время оккупации. Эта деятельность, хоть вся насквозь и дутая, продолжает существовать; дошло до того, что на скамью подсудимых были посажены лучшие люди, виновные лишь в том, что посмели свободно изъять свои мысли, в то время как большинство боялось подать голос. Такие литераторы, как Е. Пикар, Экхунд и Жилькен, смело и без колебаний высказавшиеся по делу «Тадван Влаандерен'а», были обвинены, и подозрение долго не переставало тяготеть над ними.

Подобное политическое положение, исключительно политическое, — я это утверждаю, — и поэтому искусственно созданное, продолжает существовать в Бельгии, и мешает народу свободно вздохнуть. Оно парализует страну. Оно мешает интеллигенции свободно высказываться. Весь мир превосходно чувствует, что в этом режиме есть террор, от которого пора бы освободиться, но никто не смеет открыто это заявить. Особенно сильно предубеждение этой трудно разрешимой двусмысленности против социалистической партии; после двух последних выборов при всеобщем равном и прямом голосовании она пополнилась смелым, молодым элементом, с здоровыми взглядами, деятельным, реально настроенным, но эта часть подчинена

группе более старых социалистов, ловких, бывалых политиков, поддерживающих при голосованиях иезуитские способы действий либеральной и католической партий, продолжающих бряцать оружием без определенной цели, импущим такими дадаистическими терминами, как активизм, безнаказанный пангерманизм, советизм, т. е. терминами, с которыми всегда опасно обращаться к толпе буржуа, слушающих, но не размышляющих. Никогда еще слова Стендаля о «бессильной ненависти» не имели такого основания, как в современной Бельгии. Было бы хорошо всюду печатать и повторять их: «Великое несчастье современности, писал Стендаль в 1837 году, это бессильная злоба и ненависть. Я хочу, чтобы люди выздоровели от ненависти не из жалости к врагу, которому можно причинить зло, но из жалости к самому себе. Забота о нашем счастье вопиет к нам: Гоните ненависть, и в особенности ненависть бессильную».

III

Я принужден был распространиться по поводу послевоенных умственных настроений, полных двусмысленностей и которые каждому свободомыслящему хочется встряхнуть, дабы наконец рассеять сомнения, могущие явиться иностранцам по поводу истинных духовных течений Бельгии. Без страха я могу утверждать, что под тем лицемерием, которые нас прикрывает еще по сейчас, прорастают живые, многообещающие ростки. В конце этого очерка мы увидим, в каких слоях государства они наиболее интенсивны.

Весь современный вопрос духовной сущности Бельгии состоит, сегодня как и вчера, в лингвистической проблеме. От его разрешения будет зависеть возможное будущее страны. Резкая позиция, взятая фламандскими и валлонскими «активистами» во время войны, указывает на осо-

бую остроту его. Партия, названная «фламандской» и большинством членов которой являются жители фламандских городов, требует, с непобедимыми убежденностью и упорством, окончательную фламандизацию управления и образования в той части государства, где большинство жителей говорит на фламандском языке. Она уже добилась того, что первоначальное образование в казенных школах преподается исключительно на фламандском языке, тогда как раньше была свобода выбора между французским и фламандским. В данный момент вопрос вертится вокруг одной точки: быть или не быть французскому университету в Генте, основанному около восьмидесяти лет тому назад, и превосходно всегда функционировавшему.

Мне прежде всего хочется разоблачить одну двусмысленность, заботливо поддерживаемую за границей передовыми защитниками фламандского движения, и узнать, имеет ли это движение глубокие корни в населении Фландрии. В этом смысле, была произведена широкая пропаганда в Англии, дабы затронуть часть населения, расположенную к освобождению Ирландии. Вожди фламандцев стараются установить параллель между ирландским народом и фламандским. Эрнест А. Бойд, в своей книге «Литературное возрождение Ирландии» хоть и не утверждая окончательно этого тождества, пишет: «Бельгия имеет своих национальных вождей, которые боятся встретить во французском языке, язык несовместимый с их национальной сущностью». Он прибавляет к этому, что как Бернард Шоу не причислен к литературе ирландской, так и Верхарн и Метерлинка считаются фламандцами за ренегатов. В других словах ни Б. Шоу в Ирландии, ни Метерлинка и Верхарн во Фландрии, не могут быть названы народными писателями. В подобном утверждении нет основания; во всяком случае, из него нельзя вывести общего правила, ибо, в Ирландии считаются национальными писателями Сайнж и Уитс, писавшие по-английски, употребляя лишь иногда ирландское наречие, точно

также Верхарн, как и другие писатели — фламандцы, писал по-французски, употребляя иногда фламандское наречие.

Но это лишь случайное замечание. Было бы ошибкой думать, что фламандское движение находит широкий отклик в народах Фландрии. Масса все более перестает интересоваться исканиями фламандской интеллигенции. Она не разбирается в ее лингвистических требованиях; вернее, тому, кто хоть немного знает этот народ в городах и селах, ясно, что у него одно желание — научиться французскому языку, единственному, который действительно послужит им к связи со всей страной, и вырвет их из того невежества, в котором они так давно прозябают. Двадцать лет я жил во фламандской части Бельгии, и могу утверждать, что я нигде не видел истинно-народного восторга на митингах, устраиваемых вождями движения. Ирландский народ сумел пролить кровь и ради своей свободы, и ради своего языка; фламандцы не построили ни одной баррикады. Ирландские вожди умирали от голодовок по тюрьмам; вера фламандских вождей столь далеко не простиралась. Прибавлю к этому, что если бы фламандское движение было бы действительно популярным оно бы проявилось в пограничных с северной Францией областях, во французской Фландрии, в Дюнкерхене, Хазбруке и других местечках, носящих фламандские названия, и население которых говорит на фламандском языке.

На самом деле, лингвистический антагонизм существует лишь среди фламандской и валлонской интеллигенции. Это спор интеллигенции, который давным давно бы нашел свое разрешение, когда бы борцы фламандского движения не поддерживались бы большинством политиков Фландрии, в огромном количестве католиками, в чьи избирательные интересы входит сохранение невежества среди фламандского народа путем недопущения его к изучению французского языка, двигателя цивилизации и популяризатора передовых социальных идей. Странная

вещь: депутаты-социалисты из Гента, Брюгге и Остенде весьма вялые защитники фламандских требований; их блещет поток большинства депутатов — консерваторов, которые сами принадлежат к группе фламандцев лишь постольку, поскольку как я уже сказал, она защищает их избирательные интересы; их воспитание и вкусы скорее находятся под французским влиянием. Лишь в Антверпене можно найти действительно убежденных партизанов фламандского движения; отсюда исходят и приказы, и время от времени, лозунги, предназначенные к устремлению или вернее к возбуждению робеющих и колеблющихся. Если говорить об отвлеченной стороне дела, фламандское движение преисполнено самых справедливых идей. Вполне правильно, что фламандцы должны обучаться своему языку, что должны судиться и быть управляемы точно так же на своем языке. Много жалоб было по этому поводу. С 1830 г. французский язык был единственным официальным во Фландрии, среди смешанного населения, состоящего в большинстве из элемента, говорящего лишь по фламандски. Но на эти законные жалобы было легко давать ответы, не оскорбляя этим остальной части населения, говорящей по французски. Достаточно было ввести в стране двойное административное управление, предоставив всем свободу языка. В самом деле, нельзя забывать, что валлонская и фламандская части Бельгии не находятся с точки зрения языка в одинаковом положении. Самая большая ошибка вождей фламандского движения в том, что они не хотят признать тот факт, что в валлонской части говорят лишь на одном языке — французском, а во фламандском — и на французском и на фламандском. Большое число составляют жители Антверпена, Лимбурга и обеих Фландрий, владеющих фламандским языком, но предпочитающих французский язык и французскую культуру. Поэтому немислимо разделить обе части страны с языковой точки зрения. Вожди фламандского движения хотят, и видимо скоро достигнут,

уничтожения свободы языков, объявленной Конституцией и окончательного изгнания французского языка из школ, университетов и правительственных учреждений.

Все это доказывает достаточно ясно, что вопрос языка в Бельгии на самом деле является вопросом культур — французской и фламандской. Ни от кого не тайна, что при подобном положении вещей действия фламандцев представляют опасность. С точки зрения духовных проявлений Бельгии это — полнейшее падение. В конце концов, что до того, что Бельгия будет разделена на две части автономным управлением? С политической точки зрения, в этом еще не будет смертельного удара, при условии сохранения во Фландрии принципа свободы языков. Но в случае, если фламандский язык станет единственно-официальным языком в Генте, Антверпене и Брюгге, все мосты будут взорваны, ведущие к французской части Бельгии.

По крайней мере, это одно из тех последствий, которое учитывается наиболее передовыми фламандцами. Будет ли действительность соответствовать их надеждам? Здесь приходится лишний раз рассчитывать на здравый смысл того позитивизма, которым мы все одержимы. Я не говорю уже о результатах медленного и упорного просачивания латинской культуры во Фландрию в течении всей нашей исторической жизни, — но вот уже более века, как французский язык служит средством передачи мысли и между самими фламандцами и даже между фламандцами и валлонами. Неужели разделение двух народов станет столь резким, что интеллигенция Фландрии потеряет связь с интеллигенцией Валлона? Я не думаю, хотя этого и можно ожидать. Объединение в латинской культуре, благодаря общности языка, большинства мыслящей части Фландрии и всей интеллигенции Валлона было именно тем, что делало Бельгию общей для обеих областей. Благодаря именно французскому языку, интеллигенции обоих народов было доступно стать понятной всему миру.

Если фламандский язык, политическими и другими усилиями фламандцев, должен будет стать языком фламандской интеллигенции, то эта последняя все больше и больше отойдет от остальной Европы, слова ее не будут слышны, она потеряет те преимущества, которые давало ей свободное управление до сих пор.

Прибавлю к этому, что желая утвердить фламандский язык, как единственный во Фландрии, люди прежде всего задевают народный элемент, о котором, будто бы, так усиленно пекутся. В самом деле, ведь французский язык окончательно не исчезнет из Фландрии, но он останется только в буржуазной среде; народ же желающий изучить французский, чтобы выйти из тяжелых условий жизни, будет наталкиваться на препятствия, и пропасть между буржуазией и народом этим усугубится.

Понятно, что большинство депутатов — социалистов Фландрии, исключая депутатов из Антверпена, проявили скорее всего безразличие к требованиям фламандцев. Реформы осуществляются в ущерб социализму, но к выгоде клерикализма, держащего население сел и мелких городов «под сенью креста».

IV

После довольно сухого, как мне кажется, изложения важного вопроса, угрожающего все более и более разделом валлонской и фламандской интеллигенции, необходимо дать несколько более точных данных о течениях, замечаемых в Бельгии. Какова интеллигенция Бельгии после окончания войны и как проявляет она себя? Для разрешения этих вопросов необходима специальная работа, а для этой статьи мне даны определенные рамки. Со времени войны умы Бельгии глубочайшим образом изменились. В начале этого очерка я упомянул о том сонном состоянии, в котором мы почти все находились перед войной, о том

духовном бездействии, которое делало нас прилежными работниками и добросовестными подражателями, но которое мешало нам, говоря откровенно, творить, и во всяком случае, творить по вдохновению. Большая часть мыслящей Бельгии провела за границей долгие годы войны, то ли под ружьем, то ли в тылу; люди выиграли от этой вынужденной эмиграции; глаза их открылись, они переживали то, о чем с трудом подозревали, они научились наблюдать и действовать. Что касается, оставшихся в стране, то и они пережили такую же встряску; у них появилось желание повидать и понять нечто иное, а не то, что они сообщали видели и понимали. Результат и для тех и для других был одинаков: из простых механиков они стали сознательными. Чистая духовность сильно от этого выиграла. Бельгийцы увидели Европу вблизи и с этого времени европейский дух окончательно завладевает ими, сменив узкий националистический, или, еще более ограниченный, территориальный дух.

Чтобы яснее увидеть это влияние и отметить его силу в настоящее время, необходимо искать его следы в молодежи, в поколении людей от двадцати до тридцати лет. Они наиболее широко воспользовались уроком войны; если старшие и пережили некоторое изменение, то оно не прошло у них без оттенка горечи и непоправимой усталости. Бесспорно, что существует полнейший разрыв между нашим поколением и предыдущим. В литературе, такие писатели, как Метерлинк, Лемонье, Экхуд и даже Верхарн, которых большая часть молодежи уважала, как своих учителей, еще несколько лет тому назад, в данное время потеряли всякое влияние. В то время, как большинство людей сорока и пятидесяти лет замыкаются в себе и не входят в общение с новыми веяниями, молодежь открыто обращается к широкому окну, откуда ее взору представляется Европа, и старается согласовать свое мышление и ощущение с тем моментом, который приближается к ней. Во всех искусствах наблюдается то-

же стремление; прежние кумиры повержены. Молодой элемент университетов охвачен тем же возбуждением. Дух Европы широкими волнами затопляет наши границы; в то время как до войны художник или писатель едва откликался на бушевавшие движения и лихорадочные искания, волновавшие сознания в соседних странах, и заключал себя, как в монастырь, в рамки бесплодного символизма и даже пассивного натурализма; он сейчас не только поддается встающим вокруг него волнам, но сам бросается в стихию. Наконец то захватили всех смелость и честность.

Какими отличительными свойствами обладает современная бельгийская интеллигенция? В ней проявились все древние черты нашего народа, но несомненно, что ни в какую эпоху нового времени они не выявлялись с такою отчетливостью. В особенности же черта обеих наций: критический ум, нетерпящий препятствий, которого не может убедить казенное разрешение великих задач. Чуткий к восторженности и восхищению, он не рассеивается и не отступает после первых же порывов, что свойственно характеру французскому, но возвращается к ним, чтобы расширить и уяснить их и взять от них все возможное. С виду скорее тяжеловесный, с обманчивой медлительностью, интеллигентный бельгиец полон размышлений, и схож с отдаленным, легендарным предком своим Уленспигелем; за раз сосредоточенный и шутливый, он насмехается над модой и над всем преходящим и поверхностным, но не очень стоит за эту насмешку, ибо ему чужд так называемый «esprit boulevardier». Его прототипом являются Филипп де Коммин и Фруассар, и позже его можно найти у Prince de Ligne и у Пирмеца. Он сочетает в себе здравый смысл и реализм Монтэня с крепкой и здоровой философией Рабле. В высшей степени чувствительный, он навеки остается учеником Брегеля, который так чудесно умел сливать рассудок с чувством. Наконец, в мыслящей части бельгийского народа, можно найти

некую круговую поруку, создававшую некогда «гильдии» и связывавшую старых «коммунаров» в сообщества, узлы которых были прочны, но члены которых сохраняли за собой полную свободу. Она сохранила культ «ремесла», в котором сейчас особая и значительная сила.

Все эти качества, которые, казалось, дремали еще так недавно, проснулись в современной молодежи. Это хорошее предзнаменование. Надо пожелать, чтобы могущественная нить, единственная, действительно связывающая фламандскую и валлонскую интеллигенции, — общность языка, и языка французского, — водительница всех наших сил по пути великих движений Европы, осталась бы нетронутой и избежала бы риска быть разорванной.

Что бы закончить, скажу, что бельгийская интеллигенция в настоящее время пришла к важной стадии своей эволюции. Она находится в некотором смысле в положении природы в марте месяце, когда старая зима спорит с молодой весной, одна — истощенная, другая — уже надменная, но обе обезумевшие, первая от отчаяния, а вторая от первозданной дерзости, толкающей росток из темной своей оболочки к ослепительному свету.

В. Е. Петерс

АМЕРИКАНСКАЯ КУЛЬТУРА И АМЕРИКАНСКАЯ САМОКРИТИКА

Перевод с рукописи

По поводу книги: *Civilization in the United States. An Inquiry by Thirty Americans. Edited by Harold E. Stearns, New-York, Harcourt, Brace and Company, 1922, 577 pp.*

Принято презрительно относиться ко всему, что называется американской культурой. Но не следует преуменьшать ее значение хотя-бы в одном отношении. В использовании материальных средств, которыми так богата их собственная страна, для удовлетворения основных человеческих потребностей, по существу преимущественно материального и чувственного порядка, американцы превзошли все, что было сделано в этом направлении со времен Римской Империи. Хотя они и не создали собственного искусства — быть может, следовало бы добавить «до сих пор», — но они ревностно и благоговейно собирают в свои музеи художественные произведения античного и современного искусства, делают их доступными широким массам и тем самым доставляют своему народу возможность возвышенных наслаждений. Музыканты и певцы всех стран живут Америкой. Каждый писатель и ученый рассчитывает на американское издание своей книги. Но, непрерывно накапливая культурные богатства, американцы

вовсе не делают этого без всякого разбора, только из жадности коллекционерства и исключительно считаясь с денежной ценностью объекта, как это принято думать в завистливой Европе. У них есть свой особый, совершенно определенный вкус. Тот, кто в этом сомневается, пусть ближе познакомится с американскими модами, которые хотя и считаются с парижскими, но во многом их превосходят. Американки прежде других решились одеваться живописно и внесли в моду свой собственный стиль. В общем, если прав Шпенглер со своей теорией «гибели Запада», то можно сказать, что американцы, быть может, до-создают все, что еще может создать культура наших дней. Прибавим к этому, что только американские школы, университеты, библиотеки и научные институты с их грандиозным оборудованием стоят на высоте духовных заданий настоящего периода культуры, особенно в области естественных наук, медицины и прикладной психологии; что американцы, благодаря системе Тейлора и философии прагматизма уже находятся на пути к разрешению этих заданий; — и наше утверждение, что Америка стоит на высоте современной культуры, едва-ли окажется преувеличенным.

Не так относятся к фактическим культурным тенденциям Америки широкие круги интеллигенции, не столько заграничной, сколько, главным образом, в самой Америке. В развитии этой культуры они усматривают лишь грубый материализм и «долларизм», уничтожающий все душевное, все высшие функции духа ради удовлетворения самых низких массовых и стадных инстинктов при помощи чисто машинной цивилизации, в которой автомобиль, аэроплан и беспроволочный телефон, осуществляющие легкую возможность фактического общения, стремятся заменить собой недостаток каких-бы то ни было духовных связей. Такое критическое отношение к собственной культуре особенно ярко проявилось в вышеназванной, недавно появившейся в печати книге, в которой автор, между прочим, замечает, что анемия, правда, является самым характерным

признаком духовной жизни Америки, но что все-же можно уже констатировать и сильную реакцию против этого состояния.

Но несмотря на такой пессимизм целого ряда молодых американцев и их вождей по отношению к собственной культуре, они не покидают своей страны ради центров более высокой культуры, как это не раз наблюдалось прежде в мировой истории. Что же заставляет их оставаться в Америке и принимать деятельное участие в жизни страны? Прежде всего, как пишет один из них, Г. Л. Менкен, — человек, стоящий выше среды, не может чувствовать себя плохо в Америке, если только он умеет справляться с людьми и с существующими условиями и не будет сам отягощать своей жизни. Кроме того, все эти критики являются пессимистами только в той мере, в какой пессимистичен каждый молодой человек, высокие идеалы которого еще не нашли себе осуществления. Но все они воодушевлены надеждой на развитие также и духовной культуры в Америке; при помощи своей критики они борются лишь с препятствиями, которые ставит современная Америка осуществлению их идеальных стремлений. И уже сам по себе тот факт, что такие писатели решаются выступать с подобной критикой, является признаком молодости и культурного восхождения американского народа. Народы со старой культурой, живущие духовным наследием прошлого, без надежды на новый культурный подъем, и пользующиеся своими культурными богатствами для утверждения своего существования и сохранения мирового значения, воспринимают всякую критику как святотатство и прямую опасность для нации. Там, где занимаются пропагандой собственной культуры, критик этой культуры является врагом народа.

Книга, содержащая эту критику американской культуры, так богата новыми взглядами, мыслями, а отчасти и фактами, что потребовалась-бы целая диссертация, чтобы по-настоящему разобраться в ней. Кроме того, общий об-

зор затруднен распределением материала между тридцатью американскими авторами, более или менее специализировавшимися в той или другой области. Специализация, как известно, свойственна современному человеку, который мало склонен к широким обобщениям. Тем не менее, почти все 30 статей содержат в себе некоторые общие положения, полученные индуктивным путем. Наилучшим исходным пунктом для нашего общего обзора являются воззрения английского наблюдателя, также привлеченного к участию в сборнике, вместе с одним ирландцем и итальянцем.

Англичанин воспринимает Америку наиболее остро. Это и не удивительно, потому что к родству рас здесь присоединяется самая ожесточенная конкуренция в области хозяйственной жизни и в борьбе за мировое владычество. Англичанин, повидимому, убежден, что дело дойдет до конфликта с Америкой, мнение, к которому склоняются и некоторые из американских авторов. Яркий и новый свет на роль Америки в современности проливает его утверждение, что для власть имущих и собственников всего мира Америка является не только главным источником капитала, но и важнейшим оплотом самого капитализма, за который они хватаются в своей отчаянной борьбе с растущей бурей социальной революции.

Основное отличие американской жизни от европейской, переносящее нас уже в область духовной жизни, англичанин видит в том, что американское мышление оценивает все понятием величины. Он не знает другой страны, где слово «большой» в такой же мере являлось бы выражением похвалы и симпатии. Государственных деятелей и других героев общественной жизни вплоть до борцов-боксеров обычно называют «Big Bill», «Big Jack» и т. д. Этой особой склонностью ко всему большому англичанин объясняет также первоначальную симпатию Америки к огромной военной мощи Германии. Американец беспощаден к побежденным.

Ум, до такой степени склонный ко всему «большому», крупному, не может заниматься сложными явлениями. Его идеалы должны быть широки, неотесаны, как скалы в природе, примитивны и приспособлены к большому заданию. Отсюда быстрота, основательность и кажущаяся беспощадность, с которой проводятся все американские предприятия. Та же грубая природная сила звучит в речах американских вождей. Они всегда стремятся вдохновлять, воспламенять и направлять к великому. За каждым словом, за каждой интонацией чувствуется поднятая рука, сжатый кулак.

Такое примитивное направление духа соответствует той стадии развития материальных источников, в которой все еще находится Америка. Работа над этими материальными основами превращается в форменный культ, которому посвящена особая большая литература. Производство — вот бог, в честь которого слагаются тексты в почти лирическом стиле, полные религиозного подъема, стремящиеся «освятить» американскую молодежь в интенсивном преследовании материальных целей.

К сырому материалу Нового Света принадлежат и эмигранты. Англичанин хорошо отметил, как развиваются милитаристические и бюрократические стороны американского народного характера под влиянием общения с этими недисциплинированными массами, в которых еще нужно воспитать государственное и национальное самосознание. Очень много особенностей американской культуры объясняется необходимостью прежде всего создать народ из этих масс. Энергия, необходимая для овладения почвой и природой, еще более развивается, благодаря необходимости дисциплинировать приходящие массы людей. В организации рабочей силы большие предприятия заходят уже так далеко, что они регулируют и свободное время своих рабочих, предписывая им наиболее здоровое, рациональное и наиболее полезное для предприятия использование времени отдыха.

Очень характерным для американского народного духа является то обстоятельство, что вся эта большая, хорошо дисциплинированная общественность почти беспрекословно подчиняется системе коммерциализма. В этом пункте особенно ярок контраст с Англией и с остальной Европой, где рабочий класс открыто восстает против такого коммерциализма. В подчеркивании этого контраста и в предводительстве против американского порабощения человечности англичанин именно и усматривает мировую политическую задачу и роль своей страны.

Как же относятся сами американцы к этим фактам и воззрениям? Прежде всего ясно, что сами эти пессимистические критики сильно стеснены общей народной дисциплиной. Никто из них не решился заняться критикой религиозной и церковной жизни в Америке, как указано в предисловии. Приводимые здесь мотивы явно смахивают на отговорки. Хотя они и утверждают, что истинная религиозность исчезла из жизни, но все-же признают огромное общественное значение и мощь церкви. Из другого источника мы знаем, что даже богатые евреи в Америке поддерживают католическую церковь и посылают своих детей в католические учебные заведения, даже в монастыри. Тот, кто стоит на той точке зрения, что истинная религиозная жизнь неразлучна с сильной церковью и с ее социальной мощью, тот увидит в этом факте признак юношеской силы и жизненности Америки.

Второе самоограничение американских критиков сказывается в их отношении к капитализму. О духе радикализма и революционности, царящем среди американских рабочих, говорится мало. Зато подчеркивается общее враждебное настроение американцев по отношению ко всяким политическим переменам и их довольство политической системой Америки, как самой лучшей конституцией мира. Всякий радикализм занесен, по их мнению, иностранцами, итальянцами, «большевиками». Таким националистическим

подходом оправдываются меры, принимаемые против вождей рабочих. Во время войны, правда, казалось, что рабочий класс завоевал себе некоторые более значительные права, но в данный момент проведено понижение заработной платы, коммунисты подавлены и обречены на подпольную деятельность. Среди социалистов господствует убеждение, что политических завоеваний недостаточно, что необходимо сначала провести хозяйственную организацию рабочих масс. Характерным является тот факт, что теоретики народного хозяйства не решаются критиковать существующий порядок.

Связь хозяйственной жизни и политики ярко освещается упомянутым выше Г. Л. Менкеном, указывающим на то, мало кому известное в Европе, обстоятельство, что они тесно сплетены уже в самой американской конституции. По этой конституции каждый депутат и сенатор должен быть жителем того штата, который его выбирает. Таким путем, с одной стороны, способные политические деятели лишены возможности подняться над местными интересами во имя блага всего государства и народа, с другой стороны местные политические организации приобретают огромную власть, которой они, конечно, пользуются для чисто хозяйственных целей. Поэтому народные представители в Вашингтоне также занимаются исключительно интересами местной хозяйственной политики. Только выборы в президенты иногда дают способному человеку возможность достигнуть власти во имя более высоких интересов. Но и президент, как известно, при всем авторитаризме его власти, вынужден чрезвычайно считаться с крупным капиталом, с «Big Business», который в сущности объединяет отдельные хозяйственные единицы.

Из остальных статей для нас особенно интересны те, которые занимаются вопросами выявления и развития новой Америки. Характерна высокая оценка воспитания, которое один американский ученый называет «великим аме-

риканским суеверием». Несмотря на огромные суммы, затрачиваемые государством и частными лицами на воспитательные и образовательные цели, и несмотря на несомненные успехи, особенно в области практической деятельности, критики приводят два очень веских довода против американской системы воспитания. С одной стороны, специализация и вытекающая из нее механизация так велики, что утрачивается возможность выработки более общих воззрений и истинной интеллектуальной жизни. С другой стороны, такая специализация и механизация облегчают распространение всяких знаний в широких народных массах. Эта популяризация, которая особенно ярко выявляется в так наз. «Chautauquas», летних каникулярных курсах, организуемых обычно на лоне природы, ослабляет умственную деятельность всего народа.

В общем, однако, система воспитания чисто практическая и приноровлена к господствующему коммерциализму. Не только каждая семья и каждый отдельный индивидуум стремится стать возможно скорее хорошо зарабатывающим членом большой хозяйственной и социальной организации, но и самая эта организация вмешивается в систему воспитания и в управление учебными заведениями и подавляет всякое нежелательное ей направление. «Учителя, открыто или хотя бы даже тайно не симпатизирующие режиму частного контроля со стороны капитала, изгоняются из школ и университетов и всячески преследуются. Учебники, не примыкающие к господствующим взглядам на международные отношения, не допускаются». Результатом такого одностороннего общего «training» в духе господствующей системы является такое единообразие воспитания и духовной жизни, какому нет подобного нигде в мире. И в этом также проявляется стремление создать единый цельный народ, которое вообще так характерно для Америки. Товарищеские отношения и спортивная жизнь в школах и университетах также подлежат строгой регламентации.

Та доля духовной независимости, которая еще сохраняется после подобного воспитания, наталкивается на другую нивелирующую социальную силу, признанную никем иным, как Эйнштейном, господствующим фактором американской духовной жизни.

Это — женщины. До сих пор почти каждый иностранец, приехавший в Америку, замечал парализующее влияние американских женщин на свободную умственную деятельность, и автор статьи «Умственная жизнь» считает, что это суждение правильно. Он объясняет доминирующую роль женщины в умственной жизни Америки условиями исторического развития этой страны, в которой вся энергия мужчины до сих пор уходила на служение хозяйственным интересам. Разбогатевшие слои общества предоставляли женщине, освобожденной от домашней работы, заниматься искусствами и духовной стороной жизни. Неудивительно поэтому, что она приобрела доминирующее влияние в этой области и наложила на нее свой особый отпечаток.

«В виду этого едва ли кого удивит», — говорит автор статьи, — «что интеллектуальная жизнь американских женщин сводится при более близком рассмотрении не к умственной, а к социологической деятельности. Лучшие современные мыслители-женщины, — а их много — являются в Соединенных Штатах большею частью экспертами, стремящимися использовать свои знания и свой опыт для формулировки новой техники лучшего решения проблем, которые по существу своему предполагаются уже решенными. Никогда, или почти никогда не возникает вопрос об основных конечных целях, как например о ценности современной семьи, здоровых детей и моногамии. Ценности эти никогда не ставятся под вопрос, они считаются абсолютными; а то, что женщины обычно подразумевают под интеллектуальной жизнью, представляет ничто иное, как применение новых на-

учных методов к расширенному и утонченному курсу своего рода домоводства».

Этим проникновением женского влияния в духовную жизнь критик объясняет преимущественно и развитие американского мирозерцания и философии от чистого трансцендентализма Эмерсона через религиозный идеализм Ройса до прагматизма Джемса и инструментализма Девея. В то время, как прагматизм еще признает самостоятельное значение духовного начала, поскольку оно оправдывается в реальной жизни, инструментализм Девея рассматривает интеллект как простое орудие для достижения жизненных целей и утверждает, что мышление вступает в силу лишь в тот момент, когда ставятся какие-либо препятствия непосредственному действию.

При подобном миро- и жизнепонимании вполне понятно, что чисто гуманитарная наука почти совершенно отсутствует в Америке. Особенно в тех областях, которые англичанин обозначает словом «scholarship», т. е. в области истории и филологии, еще не появлялось крупных американских ученых, да они едва ли и мыслимы. Зато в области прикладного естествознания, прикладной психологии, геологии, а также и астрономии, хотя она и не имеет прямого прикладного значения, Америка дала крупных ученых. Что, впрочем, и на такой базе можно воздвигнуть большое здание, мы видим на примере географа, геолога и одновременно историка и психолога культуры Эльсворта Гентингтона (Huntington), о котором, правда, не упоминает наша книга, но который в своем последнем труде «Цивилизация и климат», исходя из учения о климатических периодах, приходит к важным выводам относительно культурной жизни всего мира и особенно Америки.

Из приведенных мыслей и фактов можно составить себе представление и о культурной жизни в более узком смысле, т. е. о литературе, музыке, изобразительных

искусствах, драме и т. д. Об этом уже много говорилось, и наша книга не дает тут ничего нового. Интересно только отметить, что один из критиков объясняет низкий уровень американского театра тем, что современный американец не в состоянии написать драму за отсутствием необходимого духовного спокойствия. Но эта неспособность, вероятно, связана также и с сильной подавленностью эротической стороны жизни, которая, как известно, является главным источником художественных вдохновений и драматических жизненных конфликтов. В этом отношении Америка все еще остается страной пуританизма, созданием которого она является и который до сих пор определяет ее развитие и ее судьбы.

Насколько пуританизм родственен капитализму англосаксонского чекана уже показал нам Макс Вебер в своей книге о «Протестантской этике и духе капитализма».

Итак, Америка в духовном и культурном отношении в сущности еще не вышла из 18-го столетия. Не следует рисовать картину американской культуры по поверхностному впечатлению от жизни больших ее городов. «Культура Америки является преимущественно культурой маленького города», говорит автор статьи «Маленький город». Отсюда вытекает прежде всего предпочтение, отдаваемое общественной жизни перед жизнью умственной и культурной. Америка — страна тайных обществ, всяких лож и мелкой вражды этих обществ между собой, и с остальной частью народа, особенно с гражданами не англосаксонского происхождения, вражды, которая иногда превращается в расовую борьбу с неграми и евреями и ведется не одними только мирными средствами.

Эта Америка широкой пашни, деревни и маленького города является задним фоном американской культуры также и во всех ее политических стремлениях и проявлениях по отношению к остальному миру. На «людей дикого Запада» был рассчитан агитационный поход против

средней Европы во время войны, и эти же люди подвергаются теперь пропаганде, которая ведется против большевистской России. Кто считается с американской культурой, как с активным фактором в деле восстановления мира, тот не должен забывать, что культура эта, как культура всякого преимущественно земледельческого народа, — чисто националистическая и иной быть не может.

Проф. О. Башин

НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

Перевод с рукописи

I

СЕВЕРНАЯ ГРАНИЦА ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ

Во времена древне-римской империи, настоящие города, защищенные естественными или искусственными укреплениями, существовали только в южной части Европы и Азии, в то время, как на севере народы более низкой ступени развития жили в примитивных жилищах, например, кочующие племена в палатках, жители лесов — в простых хижинах и т. д. Линия, идущая от Англии через устье Рейна, пересекая среднюю Европу, южную Россию и центральную Азию, до восточного берега Кореи на протяжении более чем 11.000 километров, является северной границей этих древних культурных поселений римского, парфянского, индийского и китайского государств.

На последнем собрании Британской Ассоциации в Гулле директор «Метеорологического бюро» в Лондоне, доктор Воган Коригиш, указал на интересный и до сих пор еще не отмеченный факт, что во всех местностях, лежащих по близости от этой культурной границы, средняя годовая температура воздуха приблизительно одна и та же. В Европе граница отмечена нынешними городами

Карлейль (северная Англия), Утрехт, Кёльн, Регенсбург (Бавария), Вена, Будапешт, Дебрецин (Венгрия) и Одесса. Годовая температура всех этих мест в среднем равна $9,2^{\circ}\text{C}$, с отклонением не больше чем на 1° . Города Ставрополь (Кавказ), Астрахань, а в Азии Казалинск, и Аулиата (Сыр-Дарьинская область), Нарымск и Верный (Семиреченская область), Кульджа (Китайский Туркестан) и Мукден (Маньчжурия) расположены немного севернее этой границы и обнаруживают поэтому несколько более низкую среднюю температуру, а именно только $8,5^{\circ}\text{C}$; отклонения от средней температуры здесь также несколько значительнее, но последнее, по всей вероятности, приходится объяснить тем, что имеющиеся здесь по настоящее время данные наблюдений еще не достаточны.

Во всяком случае, все говорит за то, что эта культурная граница, повидимому, обусловлена климатически, и в настоящее время стремятся исследовать точнее, какие причины лежат в основе этой связи между культурой и климатом.

II

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА НА АЭРОПЛАНЕ

Английский майор В. Т. Блэк попытался летом прошлого года осуществить полет вокруг земного шара. Из его переживаний, о которых он сообщает Королевскому Географическому Обществу в Лондоне, многие представляют интерес в том отношении, что они показывают, с какими трудностями, о которых мы и не думаем, связан такой полет через различные климатические пояса. Две попытки пересечь Альпы в направлении от Лиона на Турин потерпели неудачу, вследствие сильного скопления облаков на вершинах гор; это заставило лететь в Италию круглым путем, через Марсель,

вдоль берега Средиземного моря. В то время, как вдоль побережья Ривьеры нет ни одного местечка, пригодного, в случае необходимости, для спуска, — западный берег Италии, наоборот, представляет все преимущества для воздушного путешествия, в частности, и по причине отсутствия сильных порывов ветра. Из Неаполя Блэк полетел прямо через кратер Везувия, который находился как раз в стадии слабого извержения. На высоте 90 метров над вершиною, он попал в облако дыма с резким запахом сернистого газа, который затруднял дыхание и заставлял слезиться глаза. Над центром кратера аппарат был внезапно подброшен кверху на высоту 120-ти метров и сейчас же вслед за тем сброшен на 180 метров вниз. При перелете через Аппенины ему пришлось встретиться с такими же затруднениями, как раньше в Альпах. Правда, ему удалось перелететь, но на восточной стороне горного хребта порывы ветра сделались настолько сильными, что ему пришлось продолжать путь уже над морем, следуя за линией берега приблизительно на расстоянии $1\frac{1}{2}$ километров от последнего. При перелете через Отрантский пролив, отделяющий Италию от Греции, видны были интересные миражи. В воздухе, на высоте 2750 метров, вдруг показалось перевернутое изображение Албанских гор, которое, казалось, плыло по воздуху, повторяя, с точностью зеркального изображения, все частности и подробности очертаний. Ионийские острова совсем не проявили своей знаменитой красоты, производя скорее скучное и неприветливое впечатление, — лишнее доказательство общеизвестного факта, что при оценке красоты природы решающим является положение самого наблюдателя. Через Коринфский залив путь шел дальше на Афины, и над поверхностью земли сейчас же снова начались порывы ветра, сбрасывавшие аппарат на 180 метров вниз. Такое беспокойное состояние воздуха можно было объяснить отчасти горным характером местности, отчасти же полуденным зноем. Полет через Средиземное

море в Египет не представил затруднений, но как только аппарат достиг африканского берега, снова начались подобные же неприятные порывы ветра. Большой интерес представлял путь через дельту Нила с ее многочисленными большими озерами. Как известно, с воздушных аппаратов ясно можно различать подробности рельефа дна озер, рек и частей моря до довольно значительной глубины. В довольно мелких озерах Нила Блэк несколько раз заметил какие-то предметы громадных размеров, с правильно закручивавшимися концами. Но ему было невозможно установить природу этих загадочных образований. — В южной Палестине ветер снова усилился. Цвета земли, вода Иордана странно контрастировали с водою Мертвого моря, берега которого ярко сверкали на солнце снежно-белизною от выделившихся, благодаря испарению, наслоений соли. Во время перелета через обширную Аравийскую пустыню, однообразие которой сильно затрудняет ориентировку, аппарат направлялся вдоль следа от автомобиля, проложенного с год тому назад. Чтобы не терять его из вида, приходилось лететь довольно низко, что было нелегко, так как сильная жара, излучаемая раскаленною землею, вызывала воздушные течения в нижних слоях. К этому присоединялось еще ослепление глаз ярким светом сильно освещенной поверхности земли, и, наконец, тучи насекомых, паривших в воздухе, самым неприятным образом преследовали пассажиров аэроплана. В Мессопотамии поверхности земли почти нельзя было различить, потому что густые облака пыли заслоняли ее. По всему пространству, которое только мог охватить глаз, двигались песочные вихри, и воздух был пропитан пылью до высоты в несколько тысяч метров.

При полете вдоль берега Персидского залива открывался чудный вид на горные хребты Персии. Около Мекрана, в южной части Персидского берега, ясно можно было видеть в нескольких местах, как сквозь песок пробивалась нефть и стекала в воду.

За исключением одной грозы в южной Франции, дождя до сих пор не было. Только в Карахи, в устье Инда, начался мелкий дождь—предвестник тех мощных ливней, которые юго-западный муссон заставляет летом проливаться над Индией. Полет сначала продолжался в северном направлении вдоль границы Афганистана, до Кветты. Жара и сырость причиняли теперь большие затруднения, так как резиновые части аппарата начинали размягчаться, деревянные же искривлялись. Лопастни пропеллера от жары разошлись, и острые края его были сильно повреждены ливнем. От Кветты путешествие продолжалось в восточном направлении до Амбала, где показались предгорья Гималаев, затем вдоль долины Ганга, вниз по течению реки. Здесь дожди затопили долину на большом протяжении, многие деревни были покрыты водою, и направление дорог можно было угадать только по рядам деревьев, торчавших из воды. Около Агры снова разразился ливень, давший в течение 6 часов 127 миллиметров осадков и окончательно уничтоживший пропеллер аэроплана, вырвав из него целые куски. Запасный пропеллер оказался отчасти источенным белыми муравьями.

Несмотря на все эти препятствия, Блэк хотел продолжать свое путешествие через восточную Азию, Алеутские острова, Северную Америку и Атлантический океан. К сожалению, однако, он заболел воспалением слепой кишки, которое сделало неизбежной операцию в Калькутте, и положила полету его преждевременный конец. Тем не менее он надеется справиться потом с оставшеюся ему частью пути.

БИБЛИОГРАФИЯ

Проф. В. Сеземан

С. И. Гессен. *Основы педагогики, введение в прикладную философию.* 418 стр. Книгоиздательство „Слово“, Берлин. 1923.

То исключительное внимание, которое привлекли к себе в наш век вопросы культуры, т. е. вопросы, касающиеся ее смысла, внутреннего строения, законов развития и исторических судеб, усилило вместе с тем и интерес к строго научному освещению проблемы образования и воспитания. Однако, если обозреть чрезвычайно богатую педагогическую литературу, вышедшую за последнее время, то едва ли можно будет указать хотя бы один труд, который охватил бы действительно все то, что сделано педагогической мыслью с самого начала XX века, и подвел бы под этот конкретный материал прочный теоретический фундамент. «Основы педагогики» Гессена берутся за эту задачу и решают ее в общем вполне успешно. В этом отношении труд Гессена является не только крупным достижением именно русской педагогической мысли, но знаменует собой вообще ценный вклад в теорию воспитания, представляя, благодаря широте своего философского и исторического захвата не меньший интерес и для педагогических кругов Запада.

«Как теоретика педагогики», говорит автор в предисловии, — «меня привлекала задача показать, что даже самые частные и конкретные вопросы педагогики возводятся в последних своих основах к чисто философским

проблемам и что борьба различных педагогических течений между собой есть лишь отражение более глубоких философских противоположностей.

Эта тесная связь между педагогикой и философией, по мнению Гессена, не случайна и не является произвольной теоретической конструкцией; она вытекает из самого существа педагогики, из тех задач, которые она преследует. Действительно, педагогика наука прикладная, нормативная, устанавливающая нормы или правила воспитания и образования, должна, с одной стороны, иметь в виду природу того материала или объекта, который подвергается воспитательному воздействию, т. е. природу человека, и основываться на психологии и физиологии человека. Но, с другой стороны, задача педагогики — вскрыть и точно сформулировать цели воспитания. Эти цели, по мнению автора, сводятся в конечном итоге к одной: к приобщению человека к культуре, к совокупности тех внешних ценностей, которые определяют ее содержание, т. е. 1) духовную сторону культуры или «образованность» (науку, искусство, нравственность и религию); 2) внешнюю сторону или цивилизацию (хозяйство и техника), и наконец 3) средний слой, обнимающий право и государственность. Особенность этих культурных ценностей Гессен видит в том, что они 1) абсолютны, т. е. по существу самостоятельны и не обусловлены интересами чисто животного самосохранения человека и 2) осуществление их в жизни ставит человеку бесконечные задания, которые никогда не могут быть вполне разрешены в эмпирической действительности. Только там, где человек доходит до сознания этих абсолютных ценностей и вытекающих из них культурных задач и жизненных целей, возможна история, историческое развитие и историческое предание, как сохранение — прошлого в настоящем; и только там возможно также и образование, как культура индивидуума, как приобщение его к культурным ценностям. Поскольку же всякая жизненная деятельность определяется прежде

всего своею целью, а применяемые ею средства выбираются уже в зависимости от намеченной цели, постольку и педагогика, в качестве теории воспитания, должна найти свое последнее основание не в психологии и философии, определяющих собой материал и средства воспитания, а в той науке, которая исследует цели воспитания, т. е. автономные культурные ценности, их смысл, состав и законы. Этой наукой является философия. Вот почему — по мысли Гессена — педагогика, в сущности ничто иное, как прикладная философия, и каждой философской дисциплине соответствует особый отдел педагогики: логике — теория нравственного образования; эстетике — теория художественного образования и т. д. Такое философское обоснование педагогики не исключает, а, наоборот, даже требует для установления конкретных педагогических норм привлечения также психологического и физиологического материала.

Чтобы подкрепить и исторически осветить эти исходные исторические положения, Гессен переходит в первой главе своего труда к критическому рассмотрению тех педагогических теорий, которые как будто противоречат защищаемому им взгляду и строят воспитание как раз на противоположном принципе — на полном отрицании культуры. Это — теории Руссо и Л. Толстого, провозглашавших идеал свободного образования. В сжатом, но очень полном и убедительном анализе этих учений Гессен показывает, что между их замыслом и конечным результатом обнаруживается непримиримое противоречие. Свобода, которою ребенок пользуется при методе свободного воспитания, оказывается мнимой; она сводится лишь к тому, что воспитанник «сознает отсутствие принуждения со стороны воспитания». На самом же деле он находится в полной зависимости от воздействий и влияний окружающей его среды. Это противоречие объясняется, по мнению автора, двумя ошибками указанных учений. Прежде всего они незаконно суживают понятие принуждения,

ограничивая его исключительно тем организованным принуждением, которое ученик испытывает со стороны учителя и которое известно под именем дисциплины, и совершенно забывают при этом о неорганизованном менее заметном, но именно потому еще более сильном принуждении, исходящим «от тысячи воздействий и впечатлений, которые обступают ребенка и от которых он не может быть избавлен никакими внешними мерами». А с этой первой ошибкой связана еще другая, не менее глубокая. И Руссо и Толстой понимают свободу, как факт природы, и вместе с тем чисто отрицательно — как отсутствие принуждения. «Ребенок уже свободен; необходимо лишь сохранить за ним эту свободу». Между тем более глубокие наблюдения убеждают нас, что именно этого факта нет и не может быть. Ребенок по самой природе своей, по свойственной ему внутренней неустойчивости и несопротивляемости всегда был и будет рабом окружающей его среды. Принуждение поэтому есть «неустрашимый факт природы и только признание этого факта открывает путь к свободе». Свобода достижима для ребенка не через внешнюю отмену всякого принуждения, а через внутреннее преодоление его самим ребенком. Иначе говоря, свобода не факт, а задание или цель, которое должно быть осуществлено образовательным процессом. Правильность такого понимания свободы подтверждается тем, что только исходя из него возможно раскрыть положительное содержание самой свободы. В самом деле, свобода, в отличие от произвола, характеризуется тем, что поведение человека определяется не внешними случайными обстоятельствами, а исключительно изнутри, им самим, и постольку обладает известной внутренней необходимостью и закономерностью. Иначе говоря, свобода совпадает с самозаконностью или автономной личностью. Эта автономия достигается однако не тем, что человек заботится об осуществлении своих личных эгоистических интересов, а тем, что он служит превышающим его личность, сверхиндивидуальным целям.

тем целям, которые определяются высшими ценностями культуры. Такое служение сверхличным началам отнюдь не умаляет и не упраздняет его личности; наоборот, только таким путем он обретает свою подлинную индивидуальность, т. е. делает себя незаменимым в целом культурной жизни, осуществляя свой особый, только ему свойственный и только им выполнимый нравственный долг. Отсюда явствует неразрывная связь между личностью (индивидуальностью) человека и его свободой. Личность не дана человеку, как ему дан его «темперамент», т. е. совокупность наследственных от рождения полученных свойств. Нет, она творчески создается им по мере осуществления им своего внутреннего призвания, она есть продукт самовоспитания. Поскольку же это самовоспитание обусловлено следованием своему индивидуальному долгу или закону поведения, оно основано на внутренней дисциплине. Таким образом свобода не только не исключает принуждения в смысле дисциплины, а, наоборот, предполагает его как необходимое условие. Точно также и дисциплина, в отличие от дрессировки предполагает свободу дисциплинируемого, представляя ему выбор средств для выполнения поставленной задачи.

Этой внутренней связью и взаимной обусловленностью свободы и принуждения должно руководствоваться образование.

«Принудительное по природной необходимости образование должно быть свободным по осуществляемому в нем заданию». С этой существенной поправкой идеал свободного образования сохраняет свою полную силу.

Раз цель образования установлена, дальнейшая задача педагогики сводится к выяснению того, «как эта конечная цель последовательно осуществляется в жизни человека». Автор характеризует основные ступени образования, как аномию, гетерономию и автономию. Эти ступени проходят в своем развитии, как отдельный человек, так и все человечество. «Человек рождается в стадии без-

закония для того, чтобы осуществить в себе идеал самозаконности. При этом он необходимо проходит ступень чужезаконности или гетерономии». Задача воспитания связать эти стадии между собой таким образом, чтобы каждая предшествующая, преодолевая себя в своем внутреннем развитии, подготавливала переход к следующей. — Так детство представляет собою, по сравнению со следующими ступенями, стадию аномии; оно не знает еще закономерности природы. Характерная для детства деятельность — это игра, главная особенность которой в том, что в ней «продукт деятельности, не имеет самостоятельного значения, а важен лишь самый процесс деятельности, как таковой». Этим характером игры определяется задача дошкольного воспитания: оно должно «так организовать игру, чтобы в ней уже просвечивал будущий урок, т. е. работа, имеющая своей целью определенный продукт, как результат деятельности». Это не значит, что игра должна быть превращена преждевременно в урок; она должна остаться игрой; но из игры — забавы она должна стать игрой — занятием. Именно в этом преобразовании игры и заключается — правильно понятая задача детского сада. Точно также обстоит дело и с вопросом о дисциплине на ступени дошкольного воспитания. Ребенок первоначально признает лишь одну власть — это сила, или объективная необходимость природы. С ребенком поэтому необходимо «говорить языком силы». Но за этой силой он должен чувствовать нечто высшее — это авторитет, которому он добровольно подчиняется. В этом добровольном подчинении уже просвечивает момент свободы, к которой воспитание ведет ребенка. Смысл «естественного наказания» и заключается именно в том, что оно облегчает ребенку постепенный переход от подчинения силе к подчинению авторитету. — Исходя из этих общих положений теории дошкольного воспитания, автор вскрывает затем коренные недостатки двух главных систем, применяемых сейчас на практике: систем — Фребеля - Монтессори. У Фребеля

слишком подчеркивается символический характер игры, ребенок пребывает исключительно в сфере воображения. Благодаря этому игра «совершенно отрывается от будущей работы и остается простой забавой, не имеющей серьезного воспитательного значения».

С другой стороны в системе Монтессори роль воображения в игре недооценивается. Игра трактуется здесь исключительно, как упражнение органов чувств, подготавливающее их к работе (письму, чтению), т. е. игра преждевременно превращается в урок, что неизбежно ведет к мертвящей механизации.

Переход из детского сада в школу знаменует, с одной стороны, переход от игры к труду, преследующему определенные и устойчивые цели, — с другой стороны, переход «в мир внешне урегулированной общины, в которой каждый член имеет свои права и обязанности». Это — ступень *гетерономии*, ибо задания, выполняемые в школе учеником, предписываются ему — другим учителем. Но так как эта чужезаконность должна в общем плане образования служить лишь переходной ступенью к самозаконности (автономии личности), то урок должен быть «пронизан творчеством», т. е. в уроке уже должно подготавливаться будущее самостоятельное творчество ученика. А для этого необходимо: 1) чтобы цели урока (задания) были своей конкретностью близки и понятны ученику, т. е. исходили из его первоначального только прагматического интереса к знанию и искусству. 2) чтобы ученику по возможности была предоставлена свобода в выборе средств, необходимых для решения поставленной уроком задачи. Эти два требования содержат в себе всю программу так называемой *трудовой школы*. Хотя трудовая школа и делает ту или другую узко практическую деятельность исходным пунктом учения, однако, в отличие от профессиональной школы, она «полагает в центре даваемого ею образования не интересы самой профессии (приобретение определенных изолированных сведений и навыков), а интересы *всей*

личности образующегося, т. е. рассматривает всякую практическую деятельность как органическую часть всей целокупной жизни природы и человечества и постольку как источник общего образования личности. Из этого основного положения проистекают все отличительные особенности трудовой школы, а также ее главнейшие преимущества не только перед профессиональной, но и перед старой общеобразовательной школой. Так, например, наглядность обучения понимается здесь не как «живость и яркость одинакового для всех образца, пассивно повторяемого всеми учениками за учителем, а как активный совместный труд всего класса над решением общего задания», отводящего каждому ученику свое индивидуальное место в трудовой общине — классе и делающего его работу равноценной с работой товарища. При такой постановке дела все школьные предметы имеют одинаковое образовательное значение: различие между общеобразовательными и специальными предметами, проводившееся старой школой, тем самым исчезает; устраняется также опасность многопредметности. Ибо каждый предмет изучается в трудовой школе не в изолированном виде, а в его живой конкретной связи со всеми остальными областями культуры. Все возражения, которые встречает трудовая школа, по мнению Гессена, объясняются неправильным пониманием ее истинного смысла. Для трудовой школы отнюдь не существенны такие моменты, как самообслуживание школы (исполнение учениками всех необходимых в школе домашних работ, как уборка помещения и проч.) или преобладание в ней именно ручного или производительного (напр. индустриального) труда. Все это частности, которые оправдываются лишь постольку, поскольку они служат главной цели трудовой школы — целостному развитию личности. Там, где об этой цели забывают, урок, хотя бы он был основан на ручном труде, вырождается либо в чисто механическую работу, лишенную образовательного значения, либо в практику повер-

стного дилетантизма, удовлетворяющегося неточным, приблизительным исполнением заданного урока.

Полную аналогию с проблемой урока, по мнению Гессена, представляет и проблема школьной дисциплины. Если урок должен готовить ученика к самостоятельному творчеству, то и дисциплина должна быть организована так, чтобы воспитывать к свободе, т. е. к свободному подчинению внутреннему закону долга. С одной стороны это значит, что в школе (т. е. на ступени гетеронимии) дисциплина и авторитет неизбежны, что они здесь не могут и не должны быть отменены. Всякая попытка к их отмене и к предоставлению школьной молодежи полной самостоятельности приводит в конечном итоге либо к разрушению школы, либо же к признанию тех же начал дисциплины и авторитета лишь в иной, более замаскированной форме, (как это показал опыт «свободной школьной общины» Ванекона в Германии). С другой стороны эта пронизанность дисциплины свободой означает, «что правила поведения, предписываемые ученику, должны быть таковы, как *будто* ученик сам их себе поставил», иначе говоря, они должны быть понятными и вразумительными для ученика, они должны оправдываться условиями совместной работы, т. е. иметь правовой характер, связывая в одинаковой мере, как подвластных, так и властвующих. Только в таком случае признание учащимися авторитета школьного начальства будет свободным, т. к. предписания этого авторитета будут соответствовать требованиям автономного разума.

Отсюда вытекает, что и наказание — должно прежде всего носить характер, правового акта, имеющего целью воспитать в ученике «чувство объективности должного». При этом, однако, как правильно замечает автор, выявление правового характера школьной дисциплины отнюдь не обусловлено школьным самоуправлением, т. е. привлечением учеников к участию в управлении школой, передачей дисциплинарных вопросов ведению товарищеского

суда и т. п. Начало самоуправления, конечно, связано с идеей трудовой школы, поскольку оно «претворяет распыленную ученическую среду в целостный расчлененный организм, внутри которого каждый школьник приучается к добросовестному выполнению определенной общественной функции».

Однако, опыт американских, английских и других западно-европейских школ показывает, что самоуправление является скорее завершением, чем началом и основой трудовой школы. Успешное его проведение возможно только там, где «уже широко развита общественная жизнь учащихся» и где она осуществляется в союзах, кружках, организациях, преследующих жизненные интересы самой молодежи (научные, художественные, спортивные и т. п.). Содействуя этим кружкам и союзам и включая их в свою собственную организацию, школа тем самым становится средоточием всей жизни молодежи и благодаря этому в гораздо большей степени способствует развитию общественной самостоятельности учащихся, чем это может сделать введение радикального демократического самоуправления, часто выражающегося в пустую игру в парламентаризм.

В связи с анализом правового характера школы Гессен рассматривает также проблему так называемой «единой школы». Идея единой школы явилась результатом признания за индивидом права на образование, как необходимого условия для достижения им личной свободы. Из этого права индивида вытекает обязанность государства озаботиться об его обеспечении, т. е. об осуществлении такой системы школьного обучения, которая открывала бы ему путь не только к низшему, но и к среднему и высшему образованию. Однако, чтобы удовлетворить многообразие жизненных потребностей учащихся, это единство школьной системы, не должно иметь характера полной одинаковости или однообразия всех входящих в нее учебных заведений. Оно должно выражаться лишь в единстве

или равенстве исходного пункта, т. е. в том, что на общем базисе элементарной школы возвышается несколько различных типов, школ открывающих своим питомцам доступ к самым разнообразным жизненным профессиям. На этом сочетании принципов единства и многообразия и построены наиболее совершенные системы школ в Швейцарии и в Соединенных Штатах Америки. — По самому существу своему задача единой школы — «предоставить каждому соответствующее его дарованию образование, так, чтобы было обеспечено правильное и своевременное раскрытие каждой способности в человеке — не допускает полного и исчерпывающегося решения. Она столь же бесконечна, как и задача образования свободной личности вообще.

Правда, бесконечность этой задачи раскрывается вполне только на высшей ступени нравственного образования на ступени автономии, когда урок и предписания авторитета сменяются самостоятельной творческой работой. Урок всегда ограничен, между тем как творчество по самому существу своему бесконечно. К идеалу внутренней свободы возможно поэтому лишь большее или меньшее приближение. Бесконечности идеала автономии соответствует и бесконечность той среды, в которой он осуществляется, той целостности человеческой культуры (человечности в смысле) «Humanität, к которой человек приобщается, покидая школу. Самый процесс образования менее всего поддается на этой высшей ступени какой либо определенной регламентации; он, по меткому выражению Гессена приобретает характер духовного странствия, в продолжении которого личность через ознакомление с противостоящим ей целостным миром культуры познает себя самое и находит свое индивидуальное призвание. Педагогика должна поэтому здесь ограничиться указанием тех главнейших «путей духовного сообщения», которые облегчают это странствие; таковыми являются библиотеки, музеи, журналы и высшие учебные заведения.

Краткой, но очень содержательной характеристикой этих «путей духовного сообщения», отмечающей основные моменты их современной эволюции заканчивается первая часть труда С. И. Гессена.

Вторая часть посвящена теории научного образования, составляющая столь же существенный момент общего образования, как и воспитание личности. Остановившись подробнее на вопросе о цели научного образования, автор подвергает критическому рассмотрению противоположности теорий формального и реального образования, из которых первая видит цель научного образования в развитии мышления, а вторая в приобретении полезных для жизни сведений.

Противоположность этих теорий коренится, по мнению Гессена, в гносеологической противоположности рационализма и эмпиризма, которая была преодолена критической философией. Точно также и критическая дидактика преодолевает антиномию формального и реального образования тем, что провозглашает целью научного образования — усвоение живого метода. Метод не есть простая сумма сведений, но он не представляет собою также обособленную от знания формальную способность мышления (анализа или дедукции). Метод — это закономерный и вместе с тем творческий «путь» научного знания, овладеть которым учащийся может лишь на сведениях и через сведения, т. е. лишь открывая и строя их заново самостоятельными усилиями мысли. Вот почему овладение методом знания сопровождается, как приобретением новых сведений, так и изощрением мыслительных способностей.

Из такого понимания цели научного образования вытекают для педагогики два существенных практических вывода: 1) в центре подлинного преподавания стоят не учебник и задачник, а «учитель, применяющий метод, как живое орудие мысли». Ибо «метод научного мышления передается не через книги, а непосредственно от человека к человеку, т. е. путем устного предания, носителем кото-

рого является не мертвое слово, а всегда живой человек». 2) Наиболее пригодным материалом преподавания должны служить те науки и отделы наук, в которых метод научного исследования проявился особенно ярко и отчетливо.

Вместе с тем в интересах полноты образования в учебном плане должны быть представлены основные направления научного метода. Установить эти направления и их различия — задача методологической классификации наук. Предлагаемая Гессеном классификация повторяет в общем, хотя и с существенными поправками и дополнениями, классификацию Риккертской школы: она различает естественные науки с их формальной основой — математикой; исторические науки с обосновывающей их точность филологией и, наконец, философские науки с логикой во главе. Каждая из этих групп должна быть представлена в научном образовании какой-нибудь дисциплиной — какой именно — это вопрос отчасти методического совершенства данной дисциплины, отчасти практической целесообразности.

Наконец, возникает еще вопрос, который особенно настойчиво выдвигает современная педагогика: какие этапы или ступени должен пройти процесс научного образования для того, чтобы достигнуть своей цели — овладения научным методом? Исходя из результатов педагогической практики последних десятилетий Гессен устанавливает три основных ступени преподавания, различающиеся между собой не объемом и количеством материала (как это было в старой школе), но самым способом и задачей преподавания. Первый из них характеризуется *«эпизодическим курсом»*, который, сообразуясь с жизненно-практическим интересом ребенка к знанию, исходит из «эпизода, из того, что ему в окружающем мире близко и понятно. Средоточием элементарного обучения является поэтому «родноведение», которое следует понимать не как особый предмет, а «как систему начального образования, связывающее в единое жизненно-практическое целое все предметы

первых лет обучения». Однако, эпизодический курс имеет лишь вводное, пропедевтическое значение; в нерасчлененности его должны уже предчувствоваться, просвечивать единство расчлененности и полнота *систематического курса*, представляющего собой вторую ступень научного преподавания. Задача его двоякая: с одной стороны, он объединяет, упорядочивает и завершает результаты предыдущей ступени обучения; с другой стороны, подготавливает познание того, что выше системы, что ее порождает и непрерывно преобразовывает и совершенствует: т. е. научный метод. Этими двумя задачами определяется характер подлинно систематического курса: органическая связанность входящих в него предметов, прохождение их на конкретном материале, применение так называемого «лабораторного метода» и других. — Наконец, завершающей ступенью научного образования является собственно *научный* или *университетский курс*, имеющий целью приобщение учащегося к самому «методу открытия истины». Здесь он становится участником исследовательской работы. «Высшая научная школа или университет есть поэтому нераздельное единство преподавания исследования. Это есть преподавание через производимое на глазах учащихся исследование», которое никогда не может считаться законченным. Из бесконечности научного исследования проистекают, по мнению Гессена, три принципа, характеризующие «идеальное существо» университета: полнота научного знания, свобода преподавания и самоуправление. В исторической действительности они, правда, подвергаются существенным ограничениям и частично подчиняются практическим интересам, однако, университет выполняет свое подлинное назначение лишь в той мере, в какой эти принципы в основе своей остаются неприкосновенными.

Последние главы труда С. Гессена посвящены двум вопросам, которым в педагогической литературе уделялось всегда много внимания, но которые как будто выходят за пределы проблематики, строяемой автором педагогиче-

ской системы: это вопросы национального и физического воспитания. — Национальность, по мнению Гессена, не есть нечто исторически данное и готовое; национальность означает для народа то же самое, что свобода личности для индивида; это — его самобытность в культурном творчестве, его историческое призвание, которое осуществляется им лишь постепенно. Антагонизм между «национальным» и «общечеловеческим» только кажущийся. Также как развитие личности обусловлено реализуемыми ею сверхличными целями, также и национальность народа коренится в тех общечеловеческих ценностях, которые он осуществляет в своем культурном творчестве. При этом внутреннее единство и самобытность культурного творчества народа возможны лишь на основе непрерывной связи между его историческим прошлым (преданием) и настоящим (заданием). Вот почему национального воспитания, как особого вида воспитания, нет и не может быть. Это лишь «стиль» или характер, свойственный всякому хорошему воспитанию.

Несколько иначе обстоит дело с физическим воспитанием. Обычное сопоставление его с воспитанием нравственным, художественным и научным, по справедливому указанию Гессена, не выдерживает критики. Ибо у физического воспитания нет своих собственных целей в том же смысле, в каком они имеются у вышеуказанных видов воспитания. Либо — это нечто иное, как «сочетание нравственного, художественного и научного образования в применении к телу человека, как к своему материалу, когда, например, цель физического воспитания определяется как победа человека над его собственным телом, либо же физическое воспитание по своим задачам выходит за пределы педагогики в строгом смысле слова (как науки о целях образования) и представляет собой часть гигиены и притом часть, которая является по отношению к педагогике вспомогательной дисциплиной. В этом смысле теория физического воспитания есть *физиотехника*» т. е. учение о

сохранении и повышении жизнеспособности и работоспособности человеческого тела, как необходимым базисе нравственного, научного и художественного образования. Необходимым дополнением к ней служит, *психотехника*, которая и составляет главное содержание того, что обычно принято называть более громким именем экспериментальной педагогикой.

Таковы — главные мотивы «Основ педагогики» Гессена. Однако, значение этого труда не исчерпывается ими. Помимо большой ясности основных систематических линий конструктивной убедительности педагогика Гессена отличается также большим богатством конкретного материала, который привлекается для иллюстрации и подкрепления обще-теоретических положений и получает, благодаря этому, надлежащее философское освещение. Весьма ценны также многочисленные исторические справки, которыми автор снабжает анализ отдельных педагогических проблем, и рассеянные по всему труду замечания, касающиеся непосредственно вопросов педагогической практики. — Дух современной педагогики, господствовавший в ней в течение последних десятилетий, руководящие тенденции, во всяком случае, верно уловлены автором. А потому и возражения, которые вызывают некоторые стороны педагогической системы Гессена в значительной степени относятся вообще к современной педагогике в целом.

Прежде всего, и это симптоматично для современного культурного сознания, неясным остается вопрос о значении и смысле *религиозного* воспитания..

Хотя автор, повидимому, склонен считать религию самостоятельной областью культуры, а постольку и признавать правомерность и необходимость религиозного образования, однако, из данного им систематического обобщения различных сторон образования не видно, какое место могло бы в общей системе образования занять именно религиозное воспитание.

Раз в качестве высшего идеала и руководящей нормы человеческой жизни установлена свобода и автономия личности, осуществляющая в процессе культурного творчества, то возможны лишь два взгляда на религию; либо нужно признать, что религия — лишь преходящее историческое явление и должна в конечном итоге раствориться в нравственности (точка зрения Фихте первого периода, Когена и других), либо же объявить предметом религии то Абсолютное начало культуры (целое культуры), которое, по словам Гессена, может быть лишь «интуитивно почувствовано в множественности культурных ценностей», но которое само по себе непознаваемо. И в том и в другом случае о самостоятельной задаче религиозного воспитания также мало может быть речи, как о самостоятельном философском познании религиозного предмета. Между тем для религиозного начала характерно — и это как будто теперь уже в достаточной мере выяснено феноменологическим анализом — что, несмотря на его внутреннюю органическую связь с культурой, она остается все же всегда чем то пребывающим вне и над сферой культурной жизни.

Другое возражение касается самого существа того метода, которым автор пользуется для построения отдельных этапов процесса образования. Как ни убедительна и объективно верна диалектика, раскрываемая им в основных понятиях педагогики, однако, возникает все же сомнение, улавливает ли эта диалектическая схема все существо образовательного процесса? И действительно ли, здесь все обстоит благополучно, как это выходит в построении Гессена? В самом деле, те конфликты, на которые, по признанию самого автора, наталкивается воспитание, касаются не только разных его сторон (т. е. воспитания нравственного, научного и пр.), но и переходов от одной ступени образования к другой. Ссылка на конечное единство культуры, на наш взгляд, не может педагогику избавить от обязанности войти в принципиальное рассмотрение этих конфликтов. Ибо само по себе сознание такого

единства ведет лишь к попыткам их фактического разрешения, но отнюдь не предпринимает возможности их принципиального преодоления. Между тем более углубленное изучение душевной структуры детского и отроческого возраста показывает, что каждый из этих возрастов имеет свои духовные дарования и преимущества, которые при переходе в следующий возраст безвозвратно утрачиваются. Прогресс в процессе развития человеческой личности покупается таким образом ценою известного регресса. Всякое воспитательное воздействие еще усугубляет это явление. Ибо для воспитания первые ступени развития *eo ipso* является уже высшими ступенями, подготовляющими высшие.

Между тем эта точка зрения односторонняя. Игра, переходя в урок, не только выигрывает, но и утрачивает нечто. И игра - забава не есть *только* продукт вырождения игры занятия. И поэтому для педагогики возникает вопрос: не должно ли воспитание для того, чтобы быть хорошим воспитанием в известном смысле отрицать само себя, и не смотреть на настоящее только с точки зрения будущего? Во всяком случае подлинно трагический характер конфликта между настоящим и будущим в человеческой жизни и в воспитании не поддежит сомнению и педагогика должна считаться с этим фактом и отказаться от оптимистических иллюзий, будто правильно поставленное воспитание может его по существу ликвидировать*).

*) В связи с этим рационалистически окрашенным оптимизмом общей философской концепции Гессена находится также и то, что предлагаемое им решение вопроса о нравственном прогрессе не может считаться вполне удовлетворительным. Гессен совершенно прав, утверждая, что современная культура в силу своей сложности предъявляет к личности гораздо большие требования, чем культура более ранних эпох, и что для овладения этой культурой необходим соответствующий ее сложности рост внутренних сил личности. Но «трагедия» культуры заключается именно в том, что рост внешней куль-

Эти требования настоящего должно учитывать и физическое воспитание. Оно должно, конечно, регулироваться указаниями гигиены и физиотехники, также как и соображениями нравственного и эстетического характера, но отнюдь не следовать им как определяющим его всецело началам и не подчинять телесно-витальную жизнь учащегося исключительно интересам будущего, забывая о ее особом самодовлеющем значении в период молодости.

Вот почему с обще-педагогической точки зрения спортивные игры и состязания, как естественные и в известном смысле автономные проявления этой телесно-витальной стихии всегда будут иметь преимущество перед самыми рациональными и гигиеническими системами гимнастики (напр. шведской гимнастики).

Несколько упрощенной нам представляется также в изложении Гессена проблема национального воспитания, хотя страницы, посвященные этому вопросу, принадлежат к самым лучшим во всей книге.

Автор глубоко прав, утверждая, что понятия «национального» и «человеческого» — по существу не противоречат, а дополняют друг друга, что осуществить свое культурное «задание», народ может лишь исходя из своего исторического предания, и что всякое хорошее воспитание тем самым уже является воспитанием национальным. Тем не менее характер национального воспитания должен существенно меняться в зависимости от того, как понимается существо нации: считается ли она индивидуальностью только в том же смысле, в каком таковою является всякий человеческий коллектив, или же она рассматривается как «личность» в каком то высшем смысле, т. е. как личность, которая имеет свою историческую «судьбу», и которая ценна именно в своем живом индивидуальном бытии, а не

туры значительно опережает рост внутренней свободы и цельности личности одного усиления культурного творчества недостаточно.

только как проводник известных общечеловеческих ценностей. Недостаточность предлагаемой автором концепции национальности, как нам кажется, является следствием его одностороннего понимания личности и как индивидуального культурного должностования. Долг индивидуально характеризует как личность - индивида, так и личность-нацию, но не исчерпывает ни того ни другого понятия.

Если основы педагогики Гессена, несмотря на свою содержательность, производят местами впечатление некоторого схематизма, то это, как нам кажется, естественное следствие того методологизма, к которому автор явно тяготеет, следуя традициям неокантианства. А методологизм неизбежно связан с схематизмом и рационализмом.

Раз признано, что метод «порождает» или «построляет» предмет знания и что различия между разными группами наук обусловлены именно их методической направленностью, то тем самым решение всех философских проблем переносится в логическую плоскость. Такой «логизм», однако, ведет в конечном итоге к меньшему упрощению и сужению философской проблематики, чем предшествующий ему и низверженный им психологизм.

Э. Э р к е с

Антология Китайской Лирики VII-IX вв. по П. Хр. —
Перевод в стихах Ю. К. Щуцкой, редакция, вводные об-
общения и предисловие В. М. Алексеева. Москва-Петроград 1923.
Государственное Издательство.

Известный знаток китайской поэзии эпохи Танг, профессор Петроградского университета В. М. Алексеев дает здесь хорошую выборку стихотворений китайских поэтов указанной эпохи. Они переведены его учеником Щуцким, прекрасным языком и, насколько я мог сверить их по оригиналам, в общем — очень точно. Сам Алексеев сообщает в предисловии нужные ориентирующие сведения об изданиях текстов, лежащих в основе переводов, а также и о вышедших до сего времени, большую частью мало удовлетворительных переводах на немецкий, английский и французский языки. Лучший, на мой взгляд, перевод Otto Hauser'a остался ему, к сожалению, неизвестным; с другой стороны, он своей критикой оказывает слишком много чести старому переводу (антологии) Judith Gautier, посящему бесспорно фиктивный характер. Нельзя не сожалеть о том, что предисловие не дает критической оценки поэзии данной эпохи, а также не характеризует ее связи с общей культурой времени. Краткие замечания более эстетического характера, которые предшествуют каждому отделу, да и самое распределение материала по отделам на основании европейских точек зрения, наконец, и названия этих отделов: «Природа и я», «В храме», «Женщина» и т. д., — все это, на мой взгляд, слишком напоминает Европу и не поможет читателю вни-

кнута в настроение китайского поэтического творчества. Но, быть может, редактор выбрал этот путь намеренно, желая дать более широкой публике возможность художественного наслаждения, которое было бы ей недоступно, если-б стихотворения были предложены ей в строго-китайской форме.



КАТАЛОГ ИЗДАТЕЛЬСТВА Э П О Х А

№ 4 * НА 1 НОЯБРЯ 1923

BERLIN SW 68, ZIMMERSTRASSE 7/8
TELEPHON AMT ZENTRUM 59-61

Ц Е Н А
в золот. в сев.-амер.
марках долларах

Александр Блок, Собрание сочинений

Том первый, брошюр.	1.50	0.36
” ” в перепл.	2.25	0.54
Том второй, брошюр.	1.50	0.36
” ” в перепл.	2.25	0.54
Том третий, брошюр.	1.50	0.36
” ” в перепл.	2.25	0.54
Том четвертый, брошюр.	1.50	0.36
” ” в перепл.	2.25	0.54
Том пятый, брошюр.	2.00	0.48
” ” в перепл.	2.75	0.66
Том седьмой, брошюр.	2.00	0.48
” ” в перепл.	2.75	0.66
Том девятый, брошюр.	2.00	0.48
” ” в перепл.	2.75	0.66
Андрей Белый, Петербург, брошюр.	3.00	0.72
” ” ” в перепл.	4.00	0.96
Андрей Белый, Серебряный Голубь, брош.	3.00	0.72
” ” ” ” в пер.	4.00	0.96
Андрей Белый, Стихи о России	0.30	0.07
Андрей Белый, После разлуки	0.80	0.15
Андрей Белый, Глоссалалия	0.70	0.16.8
Владимир Волькенштейн, Черный Рыцарь	0.40	0.09.6
Ф. М. Достоевский, Петербургская Летопись	0.45	0.10.8
Владимир Гиппиус, Лик Человеческий ...	1.50	0.36
М. О. Гершензон, Судьбы еврейского народа	0.40	0.16.8

Ц Е Н А
в золот. в сев.-амер.
марках долларах

<i>Михаил Зощенко, Рассказы Назара Ильича</i>		
господина Синябрюхова	0.40	0.16.8
<i>Дж. М. Кейнс, Пересмотр Версальского</i>		
договора	1.50	0.36
<i>Александр Кусиков, В Никуда</i>	0.20	0.04.8
<i>Алексей Ремизов, Мара</i>	0.90	0.24.6
<i>«Пчелы», Петербургский Альманах (В.Ире-</i>		
кий, Ник. Никитин, Ник. Тихонов,		
Всеv. Иванов)	0.90	0.24.6
<i>Мария Шкапская, Кровь-руда</i>	0.20	0.04.8
<i>Марина Цветаева, Царь-Девуца</i>	1.20	0.28.8
<i>Корней Чуковский, Книга о Блоке</i>	0.90	0.24.6
<i>Очерки по поэтике Пушкина (сборник ста-</i>		
тей и диаграмм В. Томашевского, П.		
Богатырева и В. Шкловского)	2.00	0.48
<i>«Беседа», книга I</i>	2.50	0.60
<i>«Беседа», книга II</i>	2.50	0.60
<i>«Беседа», книга III</i>	3.00	0.72

ДЕТСКИЕ КНИГИ

<i>Корней Чуковский, Крокодил, рис. Ре-ми</i>	1.50	0.36
<i>Род. Киплинг, Слононок рис. Крафта</i>	0.75	0.18
<i>Л. Мительсон, Медвежья шуба.</i>	0.25	0.06
<i>Л. Мительсон, Бесхвостый воробей</i>	0.25	0.06
<i>Л. Мительсон, Лисенок.</i>	0.25	0.06

★

В ближайшем будущем выйдут в свет:

Владимир Лебедев, Улица революции, художественный альбом. Текст Владислава Ходасевича. Роскошное издание in 4° в пергаментных переплетах, выпускаемое в количестве 200 нумерованных экземпляров.

Проф. Ф. А. Браун, Первобытное население Европы.

Ромэн Роллан, Махатма Ганди.

С мая 1923 в Берлине выходит журнал литературы и науки

Б Е С Е Д А

при ближайшем участии

ПРОФ. Б. А. АДЛЕРА, АНДРЕЯ БЕЛОГО, ПРОФ. Ф. А. БРАУНА, МАКСИМА ГОРЬКОГО и В. Ф. ХОДАСЕВИЧА

★

Журнал выходит раз в два месяца книгами
в 25 — 30 печатных листов (400 — 480 стр.).

★

В журнале принимают участие: Проф. В. М. Алексеев, Ю. Балтрушайтис, проф. О. Башин, Н. Берберова, К. Брейтфус, проф. О. Винер, проф. К. Войле, М. О. Гершензон, А. Глоба, Дж. Голсуорти, Андра Жермен, М. Зощенко, Н. Каверин, В. Казин, Баррет Кларк, А. Костиньерос, прив.-доц. Ганс Лейзеганг, проф. Теодор Литт, Лев Лунц, А. Лютер, О. Мандельштам, Г. Мергард, Николай Никитин, Николай Оцуп, София Парнок, С. Л. Рафалович, Алексей Ремизов, проф. А. Рюль, проф. Ф. Ринне, Ромэн Роллан, С. И. Сергеев-Ценский, М. Слонимский, проф. С. И. Созонов, Ф. А. Степун, Мартинец Снерра, Николай Тихонов, Герберт Уэллс, проф. М. Ферстер, Ольга Форш, проф. Г. Фрейер, проф. Л. Фробениус, С. Черниковский, Николай Чуковский, прив.-доц. Шеффлер, проф. Штейнах, Мария Шкапская, В. Б. Шкловский, Франц Элленис и др.

★

Книгопродавцам обычная скидка.

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОЙ КНИГИ

В. Ходасевич — Зимние стихи. — М. Горький — Отшельник. — Лев Луц — Вне закона. — Ник. Чуковский — Козленок. — Н. Берберова — Стихи. — Виктор Шкловский — Цоо или четыре письма из книги не о любви. — Проф. В. Алексеев — Царевна заоблачных плющей (перевод с китайского). — М. Горький — Заметки. — Андрей Белый — О «России» в России и о «России» в Берлине. — Д-р. Ганс Лейзеганг — Антропософия. — Проф. Ф. А. Браун — Первобытное население Европы. — Ромэн Роллан — Махатма Ганди, перевод с рукописи. — Проф. О. Винер — Рентген. — Проф. Т. Литт — Эрнст Трельч. — Франс Элленс — Французская литература в Бельгии, перевод с рукописи. — Баррет Кларк — Евгений О'Нейл и американская драма, перевод с рукописи. — Мартинес Сиерра — Хасинто Бенавенте — перев. с рукоп.

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОЙ КНИГИ

Александр Блок — Последние стихотворения. — М. Горький — Из дневника. — Николай Оцуп — Дон-Жуан. Стихотворение. — Андрей Белый — Из воспоминаний. — София Парнок — Стихи. — Грегорио Мартинес Сиерра — Дневник девочки. Рассказ. Перевод с рукописи. Владислав Ходасевич — Поэтическое хозяйство Пушкина. А. Лютер — Немецкая литература последних лет. — Ромэн Роллан — Махатма Ганди. (Окончание). Перевод с рукописи. — Проф. Ф. Ринне — О тончайшем строении материи по образцу кристаллов. Перевод с рукописи. — Д-р Ганс Презент — Экспедиции на Эверест 1921—1922. Перевод с рукописи. — Андрей Белый — Антропософия и д-р Ганс Лейзеганг. — Проф. Б. Ф. Адлер — Д. Н. Анучин. — Материалы — Письма В. В. Розанова к М. Горькому.

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ

Федор Сологуб — Стихи. — М. Горький — Рассказ о безответной любви. — Алексей Ремизов — Россия в письменах. — С. Киссин — Крапива. — Стефан Цвейг — Переулочек лунного света. Перевод с рукописи. — Владислав Ходасевич — Поэтическое хозяйство Пушкина (Продолжение). — Готтфрид Август Бюргер — Ленора. Перевод Нины Берберовой. — Лев Луц — На запад! — Проф. Ф. А. Браун — Заимствованные слова. — Проф. Георг Штейндорф — Гробница фараона Тутенхамуна. Перевод с рукописи. — Франц Элленс — Моральное и умственное состояние современной Бельгии. Перевод с рукописи. — В. Е. Петерс — Американская культура и американская самокритика. — Проф. О. Башир — Научные заметки. — Библиография. — В. Сеземан — С. Гессен. Основы педагогики. — Э. Эркес. Антология китайской лирики VII-IX вв. до Р. Хр.

С заказами обращаться
в ИЗДАТЕЛЬСТВО ЭПОХА
Berlin SW 68, Zimmerstrasse 7-8

ИЗДАНИЕ ОРЭСО СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

Редакти. Коллегия: В. И. Власьев,
С. А. Водов, А. А. Воеводин,
М. С. Ильяшевич, Б. Н. Неандер.

Главная контора:

Praha-Smíchov, Premyslova 16
Телеф. 1708. Почтов. счет — účet u post. sekov. úradu 26017

Склад издания: **LOGOS**
Berlin SW 68, Markgrafenstr. 87

5—10 ноября выходит из печати № 6 (16) журнала

КРАСНАЯ НОВЬ

СОДЕРЖАНИЕ:

М. Горький: Автобиографич. рассказы. О первой любви.
А. Толстой: Не рыбной ловле. Рассказ.
Б. Пильняк: Speranza. Рассказ.
Н. Никандров: Проклятые заигалки. Повесть.
М. Шагинян: Перемена (окончание).

Стихи: *С. Есенин, В. Инбер, П. Орешин,
В. Александровский, М. Герасимов, Н. Тихонов.*

Н. Бухарин: Енчмениада.
Л. Аксельрод (Ортодокс): Курс лекций по историческому материализму. Лекция 4.

П. Виноградская: Последние „откровения“ тов. Коллонтай.
И. Вардин: Развал меньшевизма.

Вильсон: Физические основы жизни.

Иоллос: Учение о подборе и образовании видов.

Я. Шатуновский: Научная организация труда и ее анархическое выявление.

За рубежом:

М. Танин: Англо-французская борьба.

Внутри Сов. России:

М. Пришвин: От земли и городов.

Литературные края:

А. Воронский: Литературные заметки.

Г. Якубовский: Практика и теория в творчестве „Кузница“, как проблема материалистического искусства.

С. Бобров: Новые иностранцы.

Библиография.

Адрес редакции:

Покровка, Б. Успенский пер. д. 5, кв. 36

Телеф. 19-82.

Общественно-политический и литературный журнал

„Современные Записки“

(3-й год издания)

издаваемый при ближайшем участии:

Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка,
А. И. Гуковского, В. В. Руднева.

В вышедших по настоящее время XV-ти книжках „Современных Записок“ напечатаны беллетристические произведения: Леонида Андреева, М. А. Алданова, К. Д. Бальмонта, Андрея Белого, Г. Д. Гребенщикова, Б. К. Зайцева, Е. И. Замятина, С. Р. Минцлова, А. М. Ремизова, Ив. Соколова-Микитова, Ф. А. Степуна, Ильи Сургучева, гр. А. Н. Толстого, Софьи Федорченко, Ив. С. Шмелева. — Стихотворения: Амири, К. Д. Бальмонта, Максимилиана Волошина, З. Гиппиус, Вячеслава Иванова, Н. Крандиевской, Сергея Маковского, В. Познера, В. Сирина, Федора Сологуба, Тэффи, В. Ходасевича, Марины Цветаевой — Дневники и воспоминания: Е. К. Брешковской, Ел. Джанумовой, В. М. Зензинова, А. Ф. Керенского, В. Г. Короленко, кн. В. Оболенского, Т. И. Полнера, И. Е. Релина. — Статьи по вопросам литературы, искусства, философским, политическим, экономическим и социальным: Н. Д. Авксентьева, М. А. Алданова, П. Н. Апостола, А. А. Аргунова, А. Байкалова, К. Д. Бальмонта, В. Брейтвейта, И. И. Бунакова, проф. П. Г. Виноградова, М. В. Вишняка, кн. С. М. Волконского, М. О. Гершензона, Б. Гефдингга, М. Л. Гофмана, М. Л. Гошиллера, К. К. Грюнвальда, А. И. Гуковского (А. Северова), Ю. Делевского, И. Демидова, Дионеа, проф. С. О. Загорского, Ст. Ивановича, О. А. Иванова, Л. П. Карсавина, прив.-доц. С. И. Карцевского, К. Р. Качоровского, А. Ф. Керенского, проф. А. А. Кизеветтера, С. Кобыкова, А. А. Койранского, В. Г. Короленко, проф. С. А. Корфа, Е. Д. Кусковой, В. Ладженского, проф. М. Лазерсона, А. Я. Левинсона, З. Ленского, Г. Ловцакого, С. В. Лурье, Г. М. Луица, А. Н. Мандельштама, Д. С. Мережковского, проф. С. И. Метальникова, Н. М. Минского, В. О. Миркина-Геневича, А. М. Михельсона, П. П. Муратова, В. М., Л. Неманова, проф. бар. Б. Е. Нольде, А. С. Орлова, М. А. Осоргина, А. Б. Петрищева, С. Л. Полякова-Литовцева, проф. М. И. Ростовцева, В. В. Руднева, М. Л. Слонима, Б. Ф. Соколова, П. А. Орокина, Ф. А. Степуна, П. Тюрина, В. И. Талина, А. Н. Ульянова, проф. А. А. Чупрова, И. М. Хераскова, М. О. Цетлина, проф. Б. Е. Шацкаго, Л. И. Шестова, Б. Ф. Шлепера, Ив. Якушева и др.

Журнал выходит книжками об'емом около 400 страниц.

Адрес редакции.

9^{bis} rue Vineuse, Paris (XVI^e) Téléphone: Passy 86-61

Склад издания:

LOGOS Buchervertrieb A. G., Berlin SW68.

Markgrafenstrasse 87.

Telegr.-Adr.: Logoskniga.

Тариф объявлений: страница — 300 фр.; пол-стр. — 160 фр.

РУССКИЙ ГОЛОС

САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ В СОЕДИН. ШТАТАХ
И КАНАДЕ ЕЖЕДНЕВН. КООПЕРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

RUSSKY GOLOS
CORPORATION 66 EAST SEVENTH STREET
NEW YORK

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА В НЬЮ-ИОРКЕ И ЗА ГРАНИЦУ
НА ГОД 10.— ДОЛЛАРОВ, НА 1 МЕСЯЦ 1.— ДОЛЛАР

Русская еженедельная газета

„ЖИЗНЬ“

Редакция и контора: Львов, Валовая ул. 14, III эт.

Подписная цена:

4000 м. в месяц, в Америку и Канаду 2 долл. в год.

Цена отдельного номера 1000 м.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА РУССКУЮ ГАЗЕТУ

НОВЫЙ МИР

ЦЕНА ПОДПИСКИ:

НА ГОД 6 п., ПОЛ ГОДА 3,50 п., НА 3 МЕС. 2 п.
ДЕНЬГИ МОГУТ ПОСЫЛАТЬСЯ ПЕРЕВОДАМИ,
ЧЕКАМИ И МАРКАМИ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ АДРЕСУ:

SEMANARIO NUEVO MUNDO
BUYACA 619 — BUENOS AIRES

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

NOVOYE RUSSKOYE SLOWO

178 — 2nd Ave., NEW-YORK

Подписная плата:

на год — \$ 10.00; на 6 мес. — \$ 5.00; на 3 мес. — \$ 2.75;

на 1 мес. — \$ 1.00

Продолжается подписка на 1923 год

на журнал политики и культуры

„ВОЛЯ РОССИИ“

под редакцией В. И. Лебедева, М. Л. Слонима и В. В. Сухомлина.
Выходит два раза в месяц книжками, разм. по 100 стр. больш. форм.
В каждом номере отделы: **Беллетристика, Политика, Иностранная жизнь, Русская жизнь, Литература и культура, Систематические обзоры, Экономическая жизнь, Русские за рубежом.**
Условия подписки: Чехословакия на 1 мес. — 10 ч. кр. Франция, Бельгия, Турция — 6 фр., Англия — 3 шил., С. Штаты С. Америки — 1 дол., Финляндия 2 фин. м., Германия, Польша, Латвия, Эстония — основная цена 1½ мк. — умножается на коэффициент дня.
Адрес главной конторы и редакции для телеграмм и писем: „Volja Rossii“, Uhelny trh c. 1. Praha I, Tschechoslovakei,

З А Р Я

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

выходит утром и вечером

ГОД ИЗДАНИЯ IV

Редактор-издатель М. ЛЕМБИЧ
ХАРБИН, КИТАЙСКАЯ № 5

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ЗА ГРАНИЦУ:

на 1 мес. — 3 иены
на 3 мес. — 7 иен. 50 сен.
на 12 мес. — 27 иен.



*Рис. 1. Вход в долину царей, в которой находятся усыпальницы фараонов
2-й половины II тысячелетия до Р. Х.*

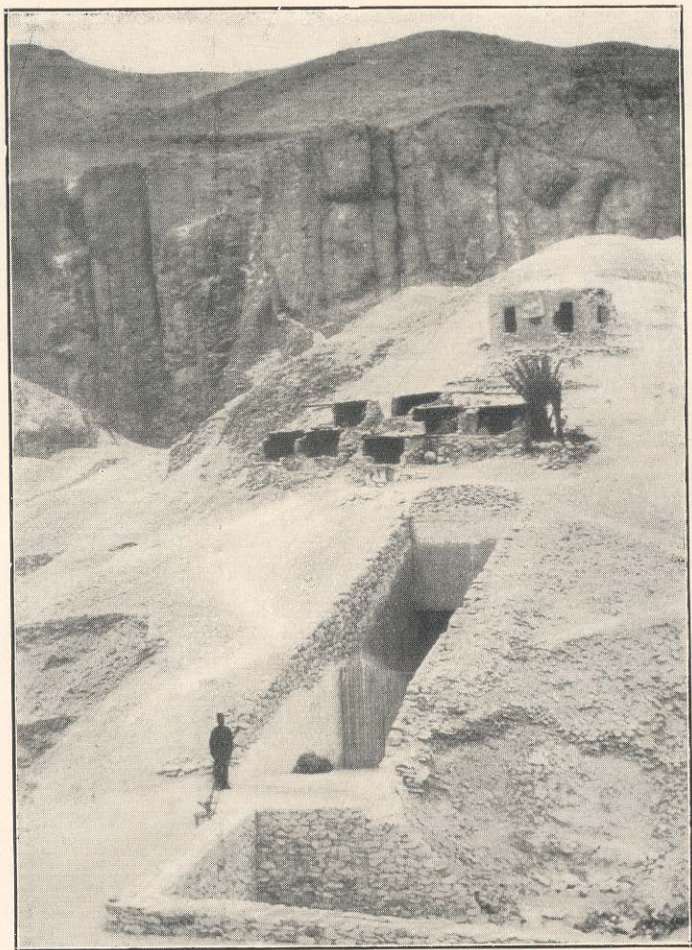


Рис. 2. Долина царей. Внизу вход в гробницу Тутенхамуна; над ним закрытый решеткой вход в гробницу Рамзеса VI



Рис. 3. Портретный бюст царицы Тейе, матери Аменофиса IV (перв. полов. XIV в. до Р. Х.)



Рис. 4. Внутреннее устройство царских гробниц: корридор, ведущий в усыпальницу Рамзеса IV (в глубине виден гроб)

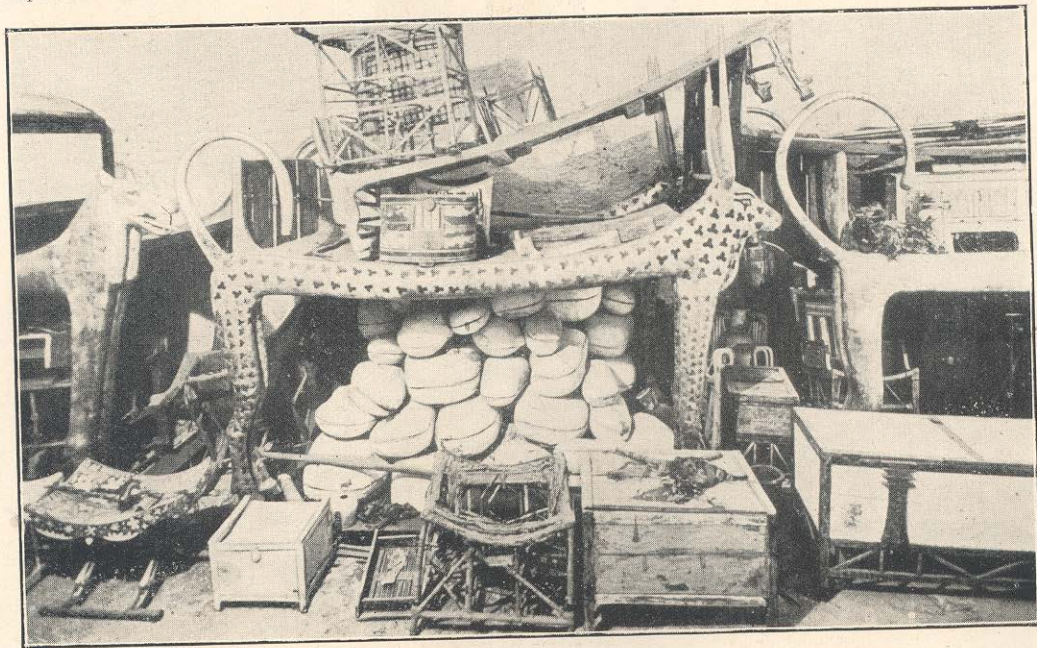


Рис. 5. Западная стена передней комнаты гробницы Тутенхамуна в том виде, в каком она была найдена при вскрытии

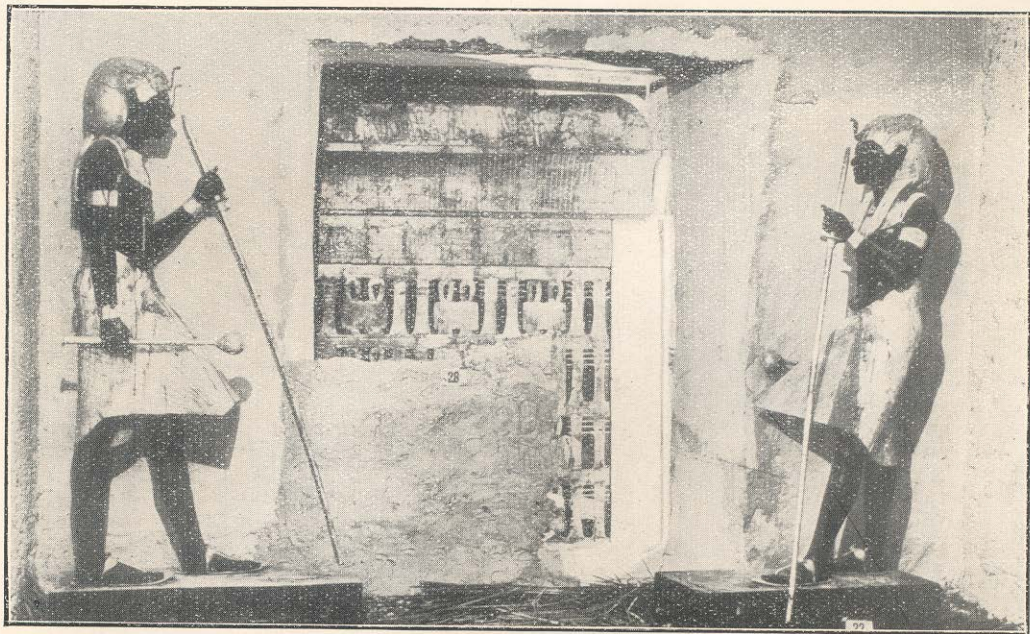
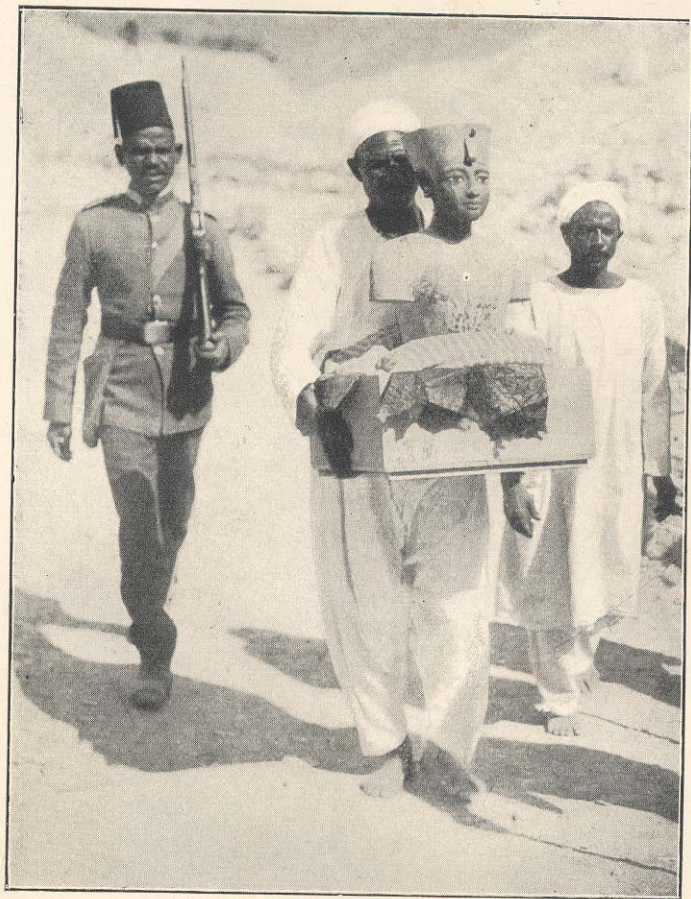


Рис. 6. Вход в недоследованную усыпальницу Тутенхамуна



*Рис. 7. Деревянный бюст Тутенхамуна,
выносимый рабочими из гробницы*